

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ОТДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ ПО ОБЩЕМУ
И СРАВНИТЕЛЬНОМУ ЯЗЫКОЗНАНИЮ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1952 ГОДА

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

3

МАЙ - ИЮНЬ

« НАУКА »
МОСКВА — 1990

Главный редактор: Т. В. ГАМКРЕЛИДЗЕ

Заместители главного редактора:

Ю. С. СТЕПАНОВ, Н. И. ТОЛСТОЙ

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

АБАЕВ В. И.
АРИСТЕ П.
БАНЕР В. (ГДР)
БЕРНШТЕИН С. Б.
БИРНБАУМ Х. (США)
БОГОЛЮБОВ М. Н.
БУДАГОВ Р. А.
ВАРДУЛЬ И. Ф.
ВАХЕК Й. (ЧССР)
ВИНТЕР В. (ФРГ)
ГРИНБЕРГ ДЖ. (США)
ДЕСНИЦКАЯ А. В.
ДЖАУКЯН Г. Б.
ДОМАШНЕВ А. И.
ДРЕССЛЕР В. (Австрия)
ДУРИДАНОВ И. (НРБ)
ЗИНДЕР Л. Р.
ИВИЧ П. (СФРЮ)
КЕРНЕР К. (Канада)
КОМРИ Б. (США)
КОСЕРИУ Э. (ФРГ)
ЛЕМАН У. (США)
МАЖЮЛИС В. П.

МАЙРХОФЕР М. (Австрия)
МАРТИНЕ А. (Франция)
МЕЛЬНИЧУК А. С.
НЕРОЗНАК В. П.
ПИЛЬХ Г. (ФРГ)
ПОЛОМЕ Э. (США)
РАСТОРГУЕВА В. С.
РОБИНС Р. (Великобритания)
СЕМЕРЕНЬИ О. (ФРГ)
СЛЮСАРЕВА Н. А.
ТЕНИШЕВ Э. Р.
ТРУБАЧЕВ О. Н.
УОТКИНС К. (США)
ФИШЬЯКЯ. (Польша)
ХАТТОРИ СИРО (Япония)
ХЕМП Э. (США)
ШВЕДОВА Н. Ю.
ШМАЛЬСТИГ В. (США)
ШМЕЛЕВ Д. Н.
ШМИДТ К. Х. (ФРГ)
ШМИТТ Р. (ФРГ)
ЯРЦЕВА В. Н.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

АЛПАТОВ В. М.
АПРЕСЯН Ю. Д.
БАСКАКОВ А. Н.
БОНДАРКО А. В.
ВАРБОТ Ж. Ж.
ВИНОГРАДОВ В. А.
ГАДЖИЕВА Н. З.
ГЕРЦЕНБЕРГ Л. Г.
ГАК В. Г.
ДЫБОВ В. А.
ЖУРАВЛЕВ В. К.
ЗАЛИЗНЯК А. А.
ЗЕМСКАЯ Е. А.
ИВАНОВ ВЯЧ. ВС.
КАРАУЛОВ Ю. Н.
КИБРИК А. Е.
КЛИМОВ Г. А. (отв. секретарь)

КОДЗАСОВ С. В.
ЛЕОНТЬЕВ А. А.
МАКОВСКИЙ М. М.
НЕДЯЛКОВ В. П.
НИКОЛАЕВА Т. М.
ОТКУПЩИКОВ Ю. В.
СОБОЛЕВА И. В. (зав. редакцией)
СОЛНЦЕВ В. М.
СТАРОСТИН С. А.
ТОПОРОВ В. Н.
УСПЕНСКИЙ Б. А.
ХЕЛИМСКИЙ Е. А.
ХРАКОВСКИЙ В. С.
ШАРБАТОВ Г. Ш.
ШВЕЙЦЕР А. Д.
ШИРОКОВ О. С.
ЩЕРБАК А. М.

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волконка, 18/2. Институт русского языка,
редакция журнала «Вопросы языкознания», Тел. 203-00-78

СОДЕРЖАНИЕ

Мартине А. (Фонтене-о-Роз). Континуум и дискретность	5
Фрайдхоф Г. (Франкфурт-на-Майне). К вопросу о значении логики и грамматики в русских всеобщих грамматиках начала XIX в.	11
Шелов С. Д. (Москва). Об определении лингвистических терминов (Опыт типологии и интерпретации)	21
Северская О. И. (Москва). К описанию семантики паронимической аттракции	32
Подольская Н. В. (Москва). Проблемы ономастического словообразования (К постановке вопроса)	40
Чуглов В. И. (Вологда). Категории залога и времени у русских причастий	54
Помирко Р. С. (Львов). Альтернатива звуков и типы вариативности словоформ в испанском языке	62
Венсалов Ф. Е. (Баку). Проблема варьирования фонем в современной фонологии	72
Шервашидзе И. Н. (Тбилиси). Фрагмент древнетюркской лексики. Типулатура	81
Таривердиева М. А. (Москва). Латинский конъюнктив в сложноподчиненных предложениях (Типология значений)	92
Завьялова О. И. (Москва). О суперсегментных морфо-но-логических процессах в китайских диалектах	104

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

Н. С. Трубецкой. Общеславянский элемент в русской культуре (Окончание)	114
--	-----

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

Петров В. В. (Москва). Метафора: от семантических представлений к когнитивному анализу	135
--	-----

Рецензии

Кибрик А. А. (Москва). <i>Tomlin R. S. Basic word order. Functional principles</i>	147
Арзикулов Х. А. (Самарканд). <i>Герд А. С. Основы научно-технической лексикографии</i>	150
Рассадин В. И., Шагдаров Л. Д. (Улан-Удэ). <i>Буреев И. Д. Становление звукового строя бурятского языка</i>	152
Попов Р. Н. (Орел), Кругликова Л. Е. (Ярославль). <i>Жуков В. Я., Сидоренко М. И., Шкляров В. Т. Словарь фразеологических синонимов русского языка</i>	155
Потапова Р. К., Крюкова О. П. (Москва). <i>Kanfer J. A. Системный анализ речевой интонации</i>	159

CONTENTS

Martinet A. (Fontenay-aux-Roses). Continuum and discreteness; Friedhof G. (Frankfurt-am-Main). On the importance of logic and grammar in Russian universal grammars of the early XIX c; Selov S. D. (Moscow). On defining linguistic terms (An attempt of typology and interpretation); Sevejskaja O. I. (Moscow). On describing semantics of the paronymic attraction; Podol'skaja N. V. (Moscow). Derivational problems in onomastics (Towards the statement of a question); Cuglov V. I. (Vologda). The categories of voice and tense of the Russian participles; Pomirko R. S. (Lvov). The alternation of sounds and the types of word-form variation in Spanish; Vejsalov F. E. (Baku). The problem of phoneme variation in modern phonology; Shervashidze I. N. (Tbilisi). A fragment of old Turkic word-stock. Titulary; Tariverdieva M. A. (Moscow). Latin conjunctive in complex sentences (the typology of meanings); Zavjalova O. I. (Moscow). On suprasegmental morphonological processes in Chinese dialects; **From the history of science:** Trubecokoj N. S. The common Slavonic element in Russian culture (the end); **Surveys:** Petrov V. V. (Moscow). Metaphor: from semantic representation to cognitive analysis; **Reviews:** Kibrik A. A. (Moscow). *Tomlin R. S.* Basic word order. Functional principles; Arzykulov X. A. (Samar-kand). *Gerda S.* The foundations of natural-science lexicography; Rasadin V. I., Sagdarov L. D. (Ulan-Ude). *B uraevl. D.* The formation of the Buryat sound system; Popov R. N. (Orel), Kruglikova L. E. (Jaroslavl'). *Zukov V. P., Sidorenko M. I., SkVarov V. T.* A dictionary of phraseological synonyms of the Russian language; Potapova R. K., Kr'ukova O. P. (Moscow). *Ranter L. A.* Systemic analysis of speech intonation.

МАРТИНЕ А.

КОНТИНУУМ И ДИСКРЕТНОСТЬ*

Всегда возможна ситуация, при которой самые просвещенные умы поддаются соблазну обратиться к бинарности противопоставления даже в том случае, когда речь идет уже не об элементе какой-то системы, а о сложившемся у них представлении об отношениях между человеком и окружающим миром. Поэтому можно утверждать, что проблема бытия (existence) предстает перед нами именно в терминах дуалистической системы «человек — мир»; человеку, однако, кажется, что он не может преодолеть субъективное восприятие вещей и постичь их подлинную сущность.

После того как лингвисты открыли возможность вычленять в процессе языкового функционирования определенные дискретные единицы, получившие название фонем, им захотелось эту дискретность фонем — подтверждение дискретности означающих — противопоставить континууму доязыкового опыта, т. е. такому континууму, в котором отдельные элементы упорядочивались бы только на основе референции по отношению к значащим единицам языка, предназначенным для сообщения об этом опыте другим. Итак, вначале перед нами всего лишь неопределенность, и только наложение языковой сетки (*grille langagiere*) дает возможность установить дискретные единицы. Если даже впоследствии мы и подвергнем сомнению наше представление о данных реалиях, следует признать, что оно тем не менее уточняет то восприятие языковых фактов, которое сыграло положительную роль на том или ином этапе исследования. По крайней мере для некоторых из нас такой подход дает возможность восстановить процесс постепенного построения в нашем сознании картины мира, при этом всякий раз, когда тот или иной элемент действительности выделяется из своего окружения, он получает наименование. Я мог бы в этой связи привести одно мое личное наблюдение. Был последний день июля 1914 г. В нашем городке в горах Савойи уже весьма отчетливо ощущалась та международная напряженность, которая вскоре завершилась всеобщей мобилизацией. В тот день занятий в школе не было; учителя и ученики разбрелись по лугу перед школой. Мне было тогда шесть лет. Сидя в траве, я внимательно рассматривал какое-то растение с широкими плоскими листьями. И вдруг кто-то рядом со мной произнес слово *подорожник* (франц. *plantain*). Собственно, эта трава не была для меня чем-то неизвестным, и ее название не было для меня неожиданностью. Однако это растение как бы выделилось для меня среди зеленого ковра луга лишь с того момента, когда было произнесено его название. Разумеется, сам этот факт запечатлелся в моей памяти только благодаря ощущению серьезности момента.

Из сказанного не следует, однако, делать вывод, будто знание наименования предмета позволяет человеку идентифицировать предмет или вос-

* © Melanges en l'honneur d'Alphonse Juilland // Stanford French and Italian studies. 1988. 53.

становить его место в ряду смежных понятий. Конечно, если вам покажут какой-то незнакомый инструмент, то потребуется определенное усилие, чтобы вызвать в уме если не точный термин, то по крайней мере какое-то уже известное родовое наименование, *machin*¹, а это не что иное, как способ, не затрудняя напрасно память, пожертвовать при необходимости означаемым для определения знака. Впрочем, имеются примеры осознания сущности предмета без опоры на соответствующий термин. Когда утом я бреюсь, я прекрасно знаю, что на моем лице есть определенное место, требующее особой осторожности при бритье. Речь идет о пространстве, которое сверху ограничено основанием челюсти, а ниже на уровне гортани переходит в шею. Я слышал, что в немецком языке австрийцев есть специальный термин, обозначающий это пространство. Но вот уже почти шестьдесят лет, как при бритье я обрабатываю это место, спокойно обходясь без какого-либо особого термина, обозначающего его.

Л. Прието не раз напоминал, что наше восприятие мира опирается на множество ассоциаций, которые мы легко устанавливаем без всякого специального обозначения. Итак, вовсе не нужно слов, чтобы действовать; все должно быть в сознании, если, например, нам надо понять поведение животного. Для животного, как и для человека, дискретный «произвольный» знак в соссоровском значении термина возникает тогда, когда исчезает мотивированная обусловленность жеста: кошка знает, что стоит ей вонзить когти в обивку кресла, как последует соответствующая реакция окружающих ее людей; и кошка усвоила, что эта реакция состоит в том, что тут же открывается окно, через которое она может выскочить в сад.

Если очевидно, что членораздельная речь является самым эффективным средством для проникновения в неопределенность опыта, то усматривать в ней единственную возможность для достижения этого все же было бы неверно. Прежде всего наряду с членораздельной речью имеется множество иных средств — плодов изобретательного человеческого ума, — функциональная тождественность которых является результатом осуществления тех видов деятельности, обучение которым, как и применение, не обязательно предполагает использование речи: вспомним хотя бы о плетении корзин, т. е. о деятельности, которая предполагает овладение некоторыми приемами, которым можно научиться скорее путем подражания, чем при помощи самых обстоятельных объяснений.

Однако наибольшей ингерентной прерывностью характеризуется функционирование самого мира. Вспомним, в частности, о разнообразии видов, о том факте, что биологическое воспроизводство возможно только в рамках определенных групп. Так, имеется биологический вид «лошадь», который существует и выделяется не только потому, что человек умеет обобщить те особенности, которые отличают одну лошадь от другой, но и потому, что род лошадей может воспроизводиться как таковой. На первый взгляд, ничто как будто не мешало объединить под одним термином и осла, и лошадь, которые различаются, казалось бы, только ростом. Однако тот факт, что при скрещивании лошади и осла получаются бесплодные гибриды, мулы, заставляют настаивать на различиях между ними, что и находит отражение в языках.

Здесь, как кажется, побеждает здравый смысл, в соответствии с которым классы обозначаемых предметов возникали раньше слов, которыми их именуют. Против этого упрощенного взгляда, как известно, и была

¹ *Machin* (франц.) — предмет, название которого в данный момент не приходит в голову (*Примеч. перев.*).

направлена теория Сэпира — Уорфа, к которой примыкают неогумбольдтианские концепции. Не может быть сомнений в том, что каждое общество так организует свой мир, чтобы удовлетворять свои потребности в самом широком значении слова, потребность в пище, обзаведении потомством, в защите от ненастья, хищников, скрытых страстей, и свидетельства этого хранятся в языке. Нельзя, однако, и отрицать, что реализоваться все это может только в зависимости от условий среды обитания, ее фауны, флоры, земных и подземных полезных ископаемых. И всюду природные дары и плоды культурной деятельности человека предстают в тесном единении. В любом языке можно найти обозначение и первых и последних, т. е., с одной стороны, обозначение реалий, при появлении которых человек выступал лишь в роли свидетеля, с другой — плодов его рукотворного или умственного труда. С одной стороны, и инертная материя, и живая природа предстают в своей специфике. С другой стороны, предметы и понятия, задуманные и созданные для определенных целей, обретают свою ценность только в соотношении с этими целями. Отсюда в словаре каждого языка два полюса: на одном место для банана, на другом — для демократии.

Идентификация банана не представляет никаких трудностей. Если даже цвет его может меняться в зависимости от сорта или степени зрелости, его форма остается характерной, а вкус и запах не забываются. Ассоциативная связь между наименованием и предметом или, если хотите, формирование знака *Banan* возникает проще всего при непосредственном контакте с предметом. Образ предмета будет возникать отныне при произнесении слова *Banan*, а восприятие означающего /*baˈnan*/ немедленно вызовет представление о предмете. И никогда, в каком бы контексте говорящий субъект ни услышал этот термин, он не усомнится в правильности своей первоначальной интерпретации его.

Очертить, значение термина *democratie* — это задача более трудная. Демократия, как говорится, не есть что-то осязаемо материальное. Стоило бы, может быть, для объяснения термина *демократия* воспользоваться дефиницией: «La democratie est le gouvernement du peuple par le peuple» («Демократия — это управление народа народом»). Но вполне возможно, что раньше чем говорящий услышал это ясное определение, он встречал указанный термин в контекстах, столь ярко окрашенных эмоционально (одобрением, сдержанностью, отвращением), что он не сможет приписать слову точного значения. Неясно, как в подобной ситуации сделать термин *демократия* понятным, а такой способ, как формирование значения термина на основе контекстов, привносит столь разнообразные коннотации, что термин становится почти непригодным для точного обозначения понятия.

Большинство лексических элементов языка располагается, как мы видели, между двумя крайними полюсами.

В том случае, когда речь идет о названии такого хорошо знакомого вида животных, как, например, лошадь (франц. *cheval*), то не известно еще, свяжет ли ребенок, услышавший *Dʒuːal*/, данное наименование именно с этим животным, а не с каким-нибудь другим объектом окружения, даже если он видит перед собой лошадь. Вполне возможно, что те или иные обстоятельства могли оставить неизгладимый для говорящего след в значении, которое соответствующий знак будет нести для него отныне. Если использование того или иного слова должно сопровождаться строго определенными реакциями любых слушающих, то у последних сохраняются его коннотации. И все же скорее не новые обстоятельства, в которых го-

ворящий снова столкнется с референтом имени, а речевые контексты, в которых он обнаружит знак *cheval*, дадут ему возможность выделить общепринятые значения этого слова.

Для каждого из нас, впрочем, речь идет не столько о том, чтобы «описать эти значения», сколько о том, чтобы выделить типы контекстов, в которых можно по праву употреблять упомянутое слово. Только лингвист ставит перед собой задачу выделения соответствующих значений. Обычный же говорящий употребит данное слово потому, что именно оно в данном случае кажется ему наиболее подходящим, а по опыту он знает, что в приведенном контексте собеседник поймет это слово так же, как он сам его понимает. Или другой пример: франц. *rouge* «красный». Обращаясь к слушающему, говорящий, который произносит фразу *Mets ta robe rouge* («Надень твоё красное платье»), чтобы обозначить именно тот вид одежды, который он хочет видеть на своем собеседнике, выбирает слово *rouge* из целого ряда определений, которые не обязательно обозначают цвет: наряду с *verte* «зеленое» или *no ire* «черное» могло бы быть *gayée* «в полоску», *longue* «длинное», *montante* «закрытое» или синтема типа *apois* «в горошек», *a volants* «с воланами». Тот же человек в ресторане закажет *un picket de vin rouge* («бокал красного вина»), когда возможен выбор между *Blanc* («белое») и *rose* («розовое»). Можем ли мы отождествлять *rouge* в сочетаниях *robe rouge* «красное платье» и *vin rouge* «красное вино»? Выбор между *rouge* и *verte* в первом случае и между *rouge* и *Blanc* во втором не выходит здесь за пределы обозначений цвета. И на соответствующие вопросы собеседник, конечно, ответит, что в первом случае речь шла о цвете платья, во втором — о цвете вина. И такой ответ мог бы оправдать тот факт, что в синхронии мы не воспринимаем эти два слова *rouge* как омонимы. В то же время синтаксический статус сочетаний *robe rouge* и *vin rouge* не одинаков: *robe rouge* «красное платье» — это синтагма, состоящая из двух свободных монем, тогда как *vin rouge* «красное вино» — это синтема, состоящая из двух присоединенных монем, образующих единое целое, которое само по себе способно распространяться определениями: вино не может быть более или менее красным, но цвет красного вина может быть более или менее насыщенным. Равным образом, перед нами только одна синтема во фразеологизме *Il a vu rouge* «Он вспылil», букв. «Он увидел красное»: нельзя сказать **Il a vu plus/ moins rouge*. Более того, *rouge* здесь уже не может коммитироваться или использоваться с такими наречиями, как *blen* «хорошо», *mal* «плохо» или *clair* «ясно». Так что же, кроме весьма стабильного означаемого, /ruʒ/, позволяет сохранять тождественность монем во всех приведенных употреблениях, если не тот факт, что визуальный характер восприятия красного остается маркированным даже в синтеме *voir rouge*, хотя здесь скорее реальна связь с *colere* («приступ гнева»), чем с видением в красках.

Но если нам удастся доказать тождественность значений *rouge* в приведенных контекстах, можем ли мы утверждать то же самое (в синхронии и для всех носителей языка) в отношении слова *table* «стол /мебель/; еда; скрижаль; дека; таблица; реестр» и т. п., где это оправдано этимологически, но отрицать в отношении слова *fraise*, где формальная идентичность — результат неоднократной паронимической аттракции — приводит некоторых носителей языка к смутному представлению о некотором семантическом единстве даже при столь разных значениях лексемы *fraise*, как 1) «ягода клубники», 2) «брыжейка теленка», 3) «подвесок под клювом индюка», 4) «бур» и даже «лицо», а также «(неуместное) вторжение» во французском фразеологизме *ramener sa fraise*. Лексикограф, задача которого сооб-

шить нечто читателю, непременно должен выйти за пределы информации, поступающей из речевого поведения или ощущения рядового носителя языка. Лингвист же, который стремится понять, как функционирует язык, не может, видимо, удовлетвориться реакцией на то или иное использование языка со стороны ученого или интеллигента. Ему нужно выяснить, прежде всего, с точки зрения лингвистики, каким образом могут общаться говорящие, совершенно не отдающие себе отчета в том, каков механизм общения. Естественно, что для говорящего формальная тождественность означающих является основой организации значащих единиц, ХОИН это не мешает ему видеть функциональную тождественность столь внешне разных означающих, как *va*, *all-*, *aïlle* и *i-* — моремы *aller* «идти», а также и не заставляет объединять омонимы и многозначные лексемы. Французский язык прекрасно функционирует как в устах говорящих, которые не осознают супплетивизма форм глагола *aller*, так и говорящих, которые никогда не задумываются над тем, чтобы сблизить значения лексемы *table* «кухонный стол» и *table* «таблица умножения».

Конечно, мы понимаем значение всего этого, когда мы говорим о возможности парадигматической структуризации означаемых. Любое усилие обнаружить здесь тот тип организации, который был выявлен для означающего с его последовательностями фонем, морем или, шире, различительных единиц и значащих единиц, естественно, встречает сопротивление, ибо функция различения здесь не имеет места. Подобное усилие вполне может оказаться безуспешным; исключение составляет разве что область сигнификативных единиц, которые могут достигнуть самой высокой степени абстрактности. Мы относим к ним так называемые «модальности» (*modalites*), которые представляют собой нечто конечное, к которому не может быть никаких добавлений. Сюда можно отнести, например, множественное число в категории числа, прошедшее время в категории времени, совершенный вид в категории вида. Мы снова оказываемся в сфере дискретного, которая была вскрыта на основе фонологического анализа: перед нами фиксированное число единиц, которые, по Соссюру, суть именно то, чем не являются другие единицы того же класса замещения.

Еще один тип элементов, которые вместе с «модальностями» относят к области грамматики, — это коннекторы, или индикаторы функции, т. е. элементы, возникновение которых обусловлено наличием двух сегментов речи, связываемых друг с другом. Как и «модальности», они могут иногда достигать высокой степени абстрактности: можно указать в этой связи на франц. *a* как обозначение приближения, *de* как обозначение отдаления. Однако они не свободны от свойственного любому языку стремления отразить бесконечное разнообразие в окружающем мире. И если при этом мы начинаем обычно отсчет с элементов, которые как бы самодостаточны в высказывании: англ. *up* \ «вверх!», *down* \ «вниз!», франц. *dehors!* «вон!», *oustel* «брысь!», то вскоре отсчет начинается уже не только с адвербиальных конструкций (т. е. определений предикатов), но с совершенно новых элементов связи. Иными словами, нельзя, видимо, ставить вопрос о том, чтобы раз и навсегда определить число связей, поддающихся объяснению: наряду с шестью падежами латинского языка или четырьмя немецкого используется целый набор предлогов, которые их дополняют или даже заменяют, обрстая в свою очередь синтематическими комбинациями, нередко избыточными: *au cours de* «во время», *en depot de* «вопреки», *histoire de* «ради», что ведет к неизбежной потребности отразить в языке, в его лексиконе бесконечное разнообразие опыта. И даже если этот опыт — еще до сопоставления его с ресурсами данного языка — не может, по-види-

тому, рассматриваться как завершенный континуум (поскольку простое восприятие имплицитно начало анализа), этот опыт будет вносить путаницу в языковой материал, который может служить его выражением. Перед лицом такой перспективы формалист, возможно, растеряется, если, конечно, не оставит это просто и решительно без внимания. Откажутся, конечно, все те, кто настаивает на том, что только синхрония, объективно представленная, должна быть динамичной и точно отражать изменения, возникающие в языковом поведении. Многие же утешатся тем, что сочтут невозможным свести к определенному числу смысловых категорий все множество означаемых языка.

Перевела с французского *Лухт Л. И.*

© 1990 г.

ФРАЙДХОФ Г.

**К ВОПРОСУ О ЗНАЧЕНИИ ЛОГИКИ И ГРАММАТИКИ
В РУССКИХ ВСЕОБЩИХ ГРАММАТИКАХ НАЧАЛА XIX в.**

1. В 1660 г. во Франции выходит первое издание Всеобщей и рациональной грамматики Пор-Рояля [1], а всего два года спустя Логика Пор-Рояля [2] — труды, которые следует рассматривать во взаимной связи. Оба сочинения оказали решительное влияние на развитие грамматики и логики в Западной Европе, особенно во Франции (см. [3, 4]) и Германии. Можно думать, что их влияние (прямое или косвенное) распространялось и на некоторые славянские страны, хотя этот вопрос до сих пор еще недостаточно исследован (см. [5—7]). Научная заслуга в установлении связей между грамматикой и логикой принадлежит в первую очередь А. Арно, автору Логики [8], и, наряду с ним, К. Лансело, соавтору труда по общей грамматике (см. [9]).

Развитие исследований, посвященных Грамматике Пор-Рояля, можно считать весьма успешным; последняя обширная монография вышла в свет всего несколько лет тому назад [10]. Поэтому я не считаю своей задачей излагать здесь свое мнение о французском оригинале. Целью моего исследования является скорее рассмотреть, в каких прямых или косвенных связях с ним находятся понятия грамматики и логики в русских всеобщих грамматиках нач. XIX в., и выяснить, с какими влияниями западноевропейских или самих русских грамматических учений следует считаться.

Пути развития русской всеобщей грамматики можно рассматривать как особенно сложные. Как правило, оказывается невозможным предположить влияние только одной грамматики; лишь грамматика Язвицкого [11] составляет исключение, но ее можно считать просто переводом или обработкой Грамматики Пор-Рояля. Формулировки в грамматиках являются слишком отрывочными и поэтому недостаточно специфичными для того, чтобы можно было говорить о влиянии одной определенной грамматики. В данном случае мне представляется более важным описать совпадения трактовки категорий и определений и лишь затем указать имена авторов грамматик. Именно с этой точки зрения я и подхожу к предмету исследования в своих предыдущих работах о русских всеобщих грамматиках (см. [12, 7]). Определить влияния, оказываемые на русские всеобщие грамматики, сложно еще и потому, что авторы, естественно, хорошо знали сочинения М. В. Ломоносова, в которых, в свою очередь, сходятся некоторые линии развития западноевропейского рационализма. Особенно Орнатовский подчеркивает значение взглядов Ломоносова на русский язык и литературу, а это значит, что Грамматика и Риторика Ломоносова были к тому времени уже хорошо известны [13, с. 32—33].

Известными из логики операциями человеческого разума являются понимание, рассуждение и заключение. Язвицкий в своей грамматике пишет:

«Понятие есть не что иное, как простое воззрение ума нашего на предметы совершенно умственные, каковы суть: *протяжение, твердость, мысль, Бог*; или телесные, как то: *квадрат, круг, зверь, лошадь* и проч.

Суждение есть утверждение того, что в вещи находится, и что она может быть так, а не иначе. Напр.: когда я знаю, что есть *земля*, и что есть *круглость*, утверждаю: что *земля кругла*.

Умозаключение есть такая способность нашей души, посредством коей сравниваем мы два суждения между собою и выводим оттуда третье...

Таким образом, *понимать, судить* и *заключать*, суть три должности разума человеческого» [11, с. 30].

Можно установить, что Язвический здесь строго придерживается оригинала, в котором описаны известные еще со времен Аристотеля три операции в их последовательности и возрастающей рациональной сложности. В Грамматике Пор-Рояля говорится:

«Tous les Philosophes enseignent qu'il y a trois operations de nostre esprit: CONCEVOIR, IVGER, RAISONNER.

CONCEVOIR, n'est autre chose qu'un simple regard de nostre esprit sur les choses, soit d'une maniere purement intellectuelle; comme quand je connois l'estre, la duree, la pensee, Dieu; soit avec des images corporelles, comme quand je m' imagine un quarre, un rond, un chien, un cheval.

IVGER, c'est affirmer qu'une chose que nous concevons, est telle, ou n'est pas telle. Comme lors qu'ayant conceu ce que c'est que la terre, & ce que c'est que *rondeur*, j'affirme de la terre qu'elle est *ronde*.

RAISONNER, est se servir de deux jugemens pour en faire un troisieme. Comme lors qu'ayant juge que toute vertu est loiable, & que la patience est une vertu, j'en conclus que la patience est loiable» [1, т. I, с. 27].

По Язвическому, понятиям логического уровня соответствуют понятия грамматического уровня: «Когда сии три рода мыслей выражаются словами: то они переменяют имена; *понятие* — называется *словом*; *суждение* — *предложением*; *умозаключение* — *доводом*» [11, с. 30].

Язвический исходит из почти беспроблемной параллельности понятий логики и грамматики, что на самом деле не так-то просто реализовать, особенно в отношении сопоставления последней пары понятий.

2. Понятие как «...мысль, отражающая в обобщенной форме предметы и явления действительности и связи между ними посредством фиксации общих и специфичн. признаков, в качестве к-рых выступают свойства предметов и явлений и отношения между ними» [14] является простейшей рациональной операцией, т. е. абстракцией и усвоением человеческим мозгом суммы определенных признаков, которые можно приписать референту. С другой стороны, в понятии отражается целостность всех суждений, которые могут быть отнесены к этому референту как представителю определенного класса во внеязыковой действительности [15, с. 393]. Из этого следует, что понятие можно было бы определить и на основе рассмотрения операции более высокого ранга.

В соответствии с Грамматикой Пор-Рояля Язвический указывает на то, что понятия образуются как по отношению к физически-конкретным, так и по отношению к умственно-абстрактным «предметам». Понятие, таким образом, можно рассматривать как *Begreifen* (Betasten «чувственно») в конкретном смысле (абстракция следует за ним) и как *Begreifen* (Verstehen) в переносном смысле (что непосредственно является абстракцией).

Переход от конкретного ощущения/представления к «понятийному» пониманию становится еще яснее у Орнатовского, который приписывает

человеку два источника, две способности получения познаний: чувствование/чувственность и разум. Для «телесных» предметов образованию понятий предшествует чувственное восприятие («quod est in sensu»), и лишь за ним следует «quod est in intellectu». Для чисто абстрактных понятий, которые образуются без внешних впечатлений, такой возможности не существует: «Чувственность есть способность посредством зрения, слуха, вкуса, обоняния, и осязания] принимать впечатления от предметов, вне нас находящихся.

Впечатления, производимый посредством чувств в душе нашей, называются ощущениями (perceptio, Empfindung). Взгляд души нашей, обращенный на сии ощущения, есть представление (intuitio, Anschauung). Когда многообразный представления, возбужденный внешними чувствами, начинают упражнять наш разум, тогда они превращаются в понятия (conceptus, Begriff). Таковы суть: *дерево, зелень, солнце, огонь, человек*, и проч.

Но душа наша производит также понятия собственной своею деятельностью, не зависимо от внешних впечатлений. И так все то, что делается предметом мыслящей силы, есть *понятие* (idea), напр. время, свобода, и проч.» [13, с. 39].

В определенном смысле здесь, кажется, сливаются позиции рационализма и эмпиризма, т. е. образованию понятия, с одной стороны, не может предшествовать чувственное восприятие (крайняя рационалистическая позиция), а с другой стороны, оно должно ему предшествовать (позиция крайнего эмпиризма).

При переходе от логики к грамматике обозначения меняются (см. [11, с. 30]). В грамматике понятиям соответствуют слова, которые как «знаки наших мыслей» ([16, с. 58—59]) могут выступать или в фонетически делимой форме, или как соединение письменных знаков. Орнатовский формулирует такое положение следующими словами: «Слово (vox, terminus) есть понятие, выраженное членораздельными звуками, или письменными знаками изображенное, напр.: солнце, человек, река, дерево: по сему звуку, не представляющие никаких понятий, не суть *слова*, напр. тре, тринь, тра» [13, с. 43].

Понятие рассматривается как связующее звено между фонетическим звуком (исходя из позиции речи) и референтом внеязыковой действительности; лишь через посредство понятия становится возможным кодирование (производство) и декодирование (восприятие) речи при актах коммуникации (см. [16, с. 61—62]): «Таким образом переходя от слов к мыслям, а от сих к вещам, и по рассмотрении последних обратным путем доходя до слов, открыл существенный и повсеместный их принадлежность».

И. Тимковский указывает на одно интересное положение, которое и в наше время дает повод для многочисленных споров в лингвистике. Имеется в виду вопрос об однозначности понятия, которое прикреплено к слову. Тимковский высказывается в том смысле, что выяснение значения и понятия возможно Столько тогда, когда точно известны условия употребления, т. е. контекст. Другими словами: понятие как системной единице противопоставляется понятие в актуализированном тексте: «Каждое слово дает собою некоторое понятие. Но когда оно сопряжено с другими словами, сверстными с ним, или управляющими, либо управляемыми оным; тогда его значение, а потому и понятие в речи становится *определенным*. Произходящая из сего состав и выражение мыслей дают правила Словосочинения, как общия так и особенно Российскому языку свойственный» [17].

Всеобщие грамматики отличаются тем, что в них связывается понятие и слово (знак). Уже в 1660 г. во французских и немецких сочинениях (например, в грамматиках Й. В. Мейнера и Й. С. Фатера) можно найти такие утверждения. Мейнер говорит о единице понятия как о предпосылке единицы слова [18], у Фатера слово включено в общее учение о знаках (он говорит и о семиотике), которое понимает как самостоятельный раздел прикладной логики [19, с. 140]. Слово является для Фатера носителем понятия, но в ряду возможных классов знаков (естественные и искусственные знаки) слова образуют лишь один подкласс: «[Die angewandte Logik] unterscheidet mit Recht natürliche Zeichen, bei welchen man mehr oder weniger unmittelbar von der Beschaffenheit des Zeichens auf die des Bezeichneten schließen kann, von den willkürlichen, wo kein Bezug jenes auf dieses sichtbar ist»... [19, с. 140]. В русских всеобщих грамматиках наряду с возможными и действительными западноевропейскими философскими влияниями на учение о понятии следует учитывать и собственно русское. Первая Академическая грамматика 1802 г. [20] не могла претендовать на общетеоретическую значимость, а обширная грамматика Барсова [21] к этому времени еще не была опубликована и, следовательно, не могла играть значительной роли в распространении теоретических положений. Поэтому в вопросе о влияниях следует в первую очередь остановиться на трудах М. В. Ломоносова, при этом ломоносовская Риторика несомненно имеет большее значение, чем его Грамматика. Напомним, что с 1736 по 1741 г. М. В. Ломоносов учился в Германии, где на его формирование как ученого особое влияние оказали годы занятий в Марбурге у Хр. Вольфа. Известно, что в личной библиотеке Ломоносова уже в 1738 г. находился ряд сочинений Вольфа и среди них логика (см. [22]). Однако учение Вольфа о понятии и суждении следует рассматривать в тесной связи с воззрениями Лейбница и французских рационалистов (см. [23]), из чего можно заключить, что на Ломоносова в какой-то форме оказала влияние западноевропейская философия языка. Поэтому возможное воздействие Ломоносова на русские всеобщие грамматики позволено в какой-то мере связать с западноевропейскими идеями, что ни в какой мере не умаляет самобытности Ломоносова и значения его трудов.

Как в русских всеобщих грамматиках, так и у Ломоносова устанавливается соотношение между понятием и словом. В своей Грамматике (1755 г.) Ломоносов подчеркивает значение того и другого для коммуникации вообще: «Слово дано для того человеку, чтобы свои понятия сообщать другому... Множество понятий и поощрение к скорому и краткому их сообщению привело человека нечувствительно к способам, как бы слово свое сократить и выключить скучные повторения одного речения» [24, с. 406].

Дифференциация частей речи основывается, по Ломоносову, на принятой классификации понятий, т. е. грамматическое различие между «главными частями слова» и «служебными частями слова» обусловлено понятийно [24, с. 408]. Исходным пунктом определения частей речи является, таким образом, классификация самих знаков.

Интересно заметить, что терминология в ломоносовской Грамматике и Риторике (1748) не идентична. Под французским ли влиянием (Декарта, Грамматики Пор-Рояля) или под влиянием Лейбница в Риторике Ломоносов использует понятие идеи: «Идеями называются представления вещей или действий в уме нашем ...» [24, с. 100]. Но не может быть исключено и влияние Вольфа: в отличие от так называемой немецкой логики [25], где употребляется немецкий термин «Begriff», в латинской логике Вольф

использует 1; латинские термины «notio» и «idea»: «Rerum in mente repraesentatio Notio, ab aliis Idea appellatur» [26, т. II, с. 127].

Вольф, так же, как и Ломоносов, трактует «слово» и «понятие» как соотношение, что очень ясно определяется в латинской логике. При этом важно, что для обозначения связи между словом и понятием используется глагол (*significare*), отличающийся от глагола, используемого для обозначения связи между словом и предметом (*denotare*). В этом и проявляется различие между значением и обозначением: «Notidnes, quas habemus, vocibus alteri indigitamus. Sunt adeo Voces soni articulati, quibus notiones significantur. Voces autem istae *Termini* appellantur. Unde Terminus definitur, quod sit vox notionem quandam significans... *Termini denotant res, quorum notiones habemus, out habere possumus*» [26, т. II, с. 128—129].

Следует принять во внимание, что понятие идеи в ломоносовской Риторике приобретает дополнительный оттенок, обусловленный жанром этого сочинения. Идеи рассматриваются как понятия, отвечающиеся от одного тематически исходного слова на основе ассоциаций и находящиеся от него на различных расстояниях. Таким образом, понятие идеи открывает путь для других ассоциаций, не связанных с понятием. В разделе «О избрении простых идей» у Ломоносова говорится: «От терминов темы произведены быт могут чрез силу соображения ... многие простые идеи, которые мы разделяем на первые, вторичные и третичные. Первыми называем те, которые от терминов темы непосредственно происходят, вторичными, которые от первых, третичными, которые от вторичных идей рождаются» [24, с. 110].

Иными словами, когда речь идет об идеях, имеются в виду понятия в определенном процессе поиска. Поэтому «идея» имеет скорее динамический, а «понятие» — статический характер.

3. Более сложной ступенью умственной деятельности является суждение, о чем Кант в предисловии к «Критике практического разума» говорит, что дело состоит в том, чтобы познать, что относится к определенному предмету [27]. Это значит прежде всего, что признается двучленность предикативного процесса, т. е. — по Аристотелю — соотношение между логическим субъектом (*hurokeimenon*) и логическим предикатом (*katego-гошпепоп*) или, говоря словами Э. Гуссерля, соотношение (*Deckung*) между субстратом «S» и определяющим «P» [28, с. 242].

Нет никакой необходимости отдельно рассматривать категории суждения (см. [29, 30, 28]), поскольку их разделение в общих грамматиках еще очень незначительно. Важной, однако, является ссылка на копулу (*copula*) в суждении, которая теперь определяется так: «Слово есть (или суть, когда речь идет о многих предметах) называется связкой. Суждение можно изобразить символически в виде такой формулы:

S есть (не есть) P,

где S и P — переменные, вместо которых можно подставлять какие-то определенные мысли о предметах и их свойствах, а слово „есть” — постоянная» [15, с. 503]. В значительной мере вопрос о том, признавать ли за предикативной двучленную или трехчленную структуру, зависит от определения. В известной мне литературе можно увидеть некоторые отклонения в определениях, которые, однако, не ведут к различным оценкам самой сути. В качестве исходного пункта для всеобщих грамматик можно принять Грамматику Пор-Рояля, где сказано «... & ainsi toute proposition enferme necessairement deux termes: l'vn appelle *sujet*, qui est ce dont on affirme, comme *terre*; & l'autre appelle *attribut*, qui est ce qu'on affir-

me, comme *ronde*: & de plus la liaison entre ces deux termes, *est*» [1, т. I, р. 29].

Многие немецкие общие грамматики придерживаются Грамматики Пор-Рояля, например, грамматики И. Мерциана и Й. С. Фатера. У Мерциана субъект, предикат и копула имеют немецкие соответствия «Stand, Umstand, Bindstand» [31, с. 111]. Фатер говорит о субъекте, предикате и утверждении (Subjekt, Prädikat, Assertion), причем утверждение реализуется при помощи копулы (Copula) [19, с. 145]. Сочинение Язвицкого соответствует французскому оригиналу, грамматики Орнатовского и Якоба содержат сравнимые определения: «Части суждения суть первое: понятие главного предмета, занимающего наш ум, или (подлежащее); второе: понятие его свойств или состояний (сказуемое) и третье: понятие связи между предметом и свойствами или состоянием его, или связь» [13, с. 48]. «К суждению принадлежит 1) понятие, представляющее определяемый предмет — *подлежащее*, 2) понятие, которым сие подлежащее определяется — *сказуемое* и 3) действие соединения — *связка* (copula)» [32, с. 40].

Едва ли можно доказать, находятся ли русские всеобщие грамматики начала XIX в. и под влиянием идей Аристотеля; мне это представляется маловероятным. Мысли Аристотеля, которые содержатся прежде всего в сочинении «Peri hermeneias» (см. [33]), были развиты впоследствии схоластами и западноевропейскими (прежде всего французскими) рационалистами и косвенным путем вошли в русские всеобщие грамматики. Гуссерль передает идеи Аристотеля следующими словами: «Was aber von Anfang an, von der Aristotelischen Stiftung unserer logischen Tradition an feststeht, ist dies, daß für das prädikative Urteil ganz allgemein charakteristisch ist eine zweigliedrigkeit: ein «Zugrundeliegendes» (hypokeimenon), worüber ausgesagt wird, und das was von ihm ausgesagt wird: kategoroumenon; nach anderer Richtung, hinsichtlich seiner sprachlichen Form unterschieden als onoma und thema. Jeder Aussagesatz muß aisi diesen beiden Gliedern bestehen. Darin liegt: jedes Urteilen setzt voraus, daß ein Gegenstand vorliegt, uns vorgegeben, worüber ausgesagt wird» [28, с. 4-5].

При этом спрашивается, действительно ли под понятиями «*onoma*» и «*thema*» следует видеть чисто языковые формы, т. е. части речи «существительное» и «глагол» как грамматические категории. Английский перевод Х. Аренса дает повод к сомнению, поскольку он оставляет без перевода соответствующие выражения греческого оригинала: «Proton dei thestai ti onoma kai ti rhema, epeita ti estin apophasis kai kataphasis kai apophasis kai logos. First we must determine what onoma and what rhema is, and after that, what negation, affirmation, statement (or: proposition), and sentences» [34, с. 18, 21].

Я согласен с интерпретацией Й. Циглера, который так оценивает это место: «Das „rhema“ erscheint so als sprachlicher Ausdruck des Urteilsprädikats. Als solches ist es nicht ein „einfaches Sagen“, sondern Aussagen: nicht die „noesis“ als Verstandestätigkeit liegt ihm zugrunde, sondern die „synthesis“ des Urteils. Die Bestimmung des „thema“ erfolgt von der höheren Einheit des „logos apophantikos“ her...» [35, с. 21–22].

В пределах собственно русских влияний следует опять-таки принять во внимание ломоносовскую Риторику, где он дает подробное объяснение соотношению между суждением и предложением. Согласно Ломоносову, предложение соответствует логическому суждению, состоящему из двух частей: субъекта и предиката, которые соединяются при помощи копулы:

«Таким образом, сложенные идеи по-логически называются рассуждениями, а когда словесно или письменно сообщаются, тогда их предложениями называют. Оне имеют две части — подлежащее и сказуемое. Оное значит вещь, о которой рассуждаем, а сие показывает самое то, что рассуждаем о подлежащем... Глагол существительный *есть* или *суть* называется связка, которую подлежащее и сказуемое сопрягаются» [24, с. 117].

На теорию суждения Ломоносова оказали определенное влияние идеи Вольфа, который очень подробно рассматривает этот вопрос в латинской логике и указывает, с одной стороны, на различие между суждением и предложением, а с другой — на параллелизм логических и грамматических понятий: «*Patet adeo, differre propositionem sive enunciationem a iudicio. Etenim iudicium est actus mentis, quo ideae, quibus res in mente repraesentantur (...), vel coniunguntur, vel a se invicem separantur (...): propositionis vero sive enunciationis non sunt nisi combinationes terminorum, ideis istis respondentes, quibus earum conjunctio, vel separatio significatur. Quomodo itaque differunt notiones & termini, quibus istae indignantur, cum se habeant termini ad notiones ut signa ad res significatas (...); ita similiter differunt etiam enunciationes & iudicia ut signa & res iisdem indigitatae» [26, т. II, с. 131]. Теория суждения Вольфа, однако, гораздо сложнее ломоносовской. Теория Вольфа, подробно исследованная В. Лендерсом (см. [23]), основывается на принятии трех умственных операций, что несомненно указывает на влияние Лейбница. 1) Референту или придается (tribuere) нечто отличное от него, или от него отнимается (remove): «*Atque actus iste mentis, quo aliquid a re quadam diversum eidem tribuimus, vel ab ea re removemus, iudicium appellatur» [26, т. 2, с. 129]. 2) Два понятия, которые придают какой-то вещи и чему-то от нее отличному, соединяются (conungere) или отделяются (separare): «*Dum igitur mens iudical, notiones duas vel coniungit, vel separat» [26, т. II, с. 130]. 3) Переход от уровня мышления к речи принимается за третий вид деятельности, т. е. предложение (propositio/enunciatio) становится грамматическим соответствием суждения (iudicium): «*Solemus etiam efferre, tumque illud enunciarere vel proponere dicimus. Est igitur Enunciatio sive Propositio Oratio, qua alteri significamus, quid rei conveniat, vel-non conveniat» [26, т. II, с. 131].****

Самым важным исходным пунктом для различия между предложением и суждением во всеобщих грамматиках несомненно является Грамматика Пор-Рояля («*Le jugement que nous faisons des choses, comme quand je dis; la terre est ronde, s'appelle PROPOSITION*») [1, т. I, с. 28—29]. Данное различие является общим как в универсальных грамматиках Франции и Германии, так и в России. Можно привести два примера: «Совокупление двух или трех понятий, по какому-нибудь их между собою отношению, составляет суждение, которое будучи выражено живым голосом, или письмом, называется предложением» [13, с. 48] и «...ежели посредством одного, или многих слов в совокупности выражается суждение, то сие называется предложением (propositio)...» [32, с. 9].

Всеобщая грамматика не является описательной грамматикой определенного языка. Это скорее — теоретическая грамматика, в которой описываются принципы, принятые более или менее во всех естественных языках. Поэтому в ее задачи не входит классификация предложений (например, русского языка) и определение всех типов предложений с формальной точки зрения.

Общая грамматика в состоянии обнаружить такие явления, которые не может обнаружить ориентированное на синтаксис описание отдельного языка. Одним из этих явлений можно считать, например, тот факт, что

в естественных языках связка как грамматическое соответствие копуле структуры суждения вовсе не должна быть представлена,— она не представлена при «нормальных» глаголах («*verba mixta*») [32, с. 41] в индоевропейских языках. У таких глаголов логический предикат и копула слились в неразделимую единицу. Немногим связочным глаголам (речь идет почти всегда о *esse* и о соответствующих реализациях его в отдельных языках) противостоит большая группа «смешанных глаголов». Лучше всего это явление описано в грамматиках Якоба [32, с. 41] и Орнатовского: «*Глагол, как самое наименование показывает, соединяет в себе сказуемое и связку; поелику же сказуемое состоит или в состоянии вещей, или в их действии и страдании, или в свойствах их: по сему глагол есть часть речи, означающая состояние, действие, или страдание предметов, и вообще приписываемая подлежащему сказуемое, напр. дерево стоит*» [13, с. 53]. Эта интерпретация восходит к Грамматике Пор-Рояля. Вот одно место, которое решающим образом повлияло на способ трансформации в порождающей трансформационной грамматике Н. Хомского: «*lis y ont joint celle de quelque attribut: de sorte qu'alors deux mots font vne proposition: comme quand je dis, Petrus vivit, Pierre vit: parce que le mot de vivit enferme seul l'affirmation, & de plus l'attribut'estrevi\ant; & ainsi c'est la mesme chose de dire Pierre vit, que de dire, Pierre est vivant*» [1, т. I, с. 96].

Сходные определения и примеры встречаются в других всеобщих грамматиках (ср., например [31, с. 113]). При этом нельзя забывать, что эти идеи могли принадлежать Ломоносову, чья Риторика в этом пункте совершенно очевидно опирается на Грамматику Пор-Рояля: «... [Связка] часто в разных случаях потаена бывает, как: *богатство и честь побуждают к трудам*. И посему называются такие предложения косвенными, которые, однако, можно привести в чистые логические, изобразив сказуемое чрез иную часть слова, например, в сем предложении *огонь горит*, глагол перемены в причастие и приложив связку, будешь иметь *огонь есть горящий*, где подлежащее, сказуемое и связка изображены явственно, хотя в российском языке сия речь несвойственна» [24, с. 117].

В своих замечаниях Ломоносов совершенно неосознанно затрагивает и проблему, которая в настоящее время постоянно играет роль в спорах о трансформационной грамматике, а именно: применение метаязыковых объяснений в предполагаемой функции языковых примеров как объекта анализа. По вопросу о суждении и предложении вряд ли могло иметь место влияние, идущее от Грамматики Ломоносова (в противоположность Риторики), ни в отношении терминологии, ни в отношении определений. Различие между суждением и предложением в его Грамматике упомянуто лишь вскользь, когда он проводит разграничение между понятиями «снесение» и «сложение». Первое понятие употребляется для соединения понятий (у Вольфа, соответственно, «*combinatio notionum*»), а второе — для соединения слов (у Вольфа «*combinatio terminorum*»). Ломоносов формулирует это положение следующим образом: «Сложение знаменательных частей слова, или речений, производит речи, полный разум в себе составляющие чрез снесение разных понятий» [24, с. 418].

4. В качестве дальнейшей, более сложной умственной операции в логике называется заключение, а в грамматике — сложное предложение. Однако между этими двумя единицами уже не существует соответствия.

То, что силлогизм в логике имеет другое качество, чем подчинение или сочинение на уровне синтаксиса (т. е. грамматики), легко можно установить при изучении той логики, которая имела большое значение для общей грамматики [2], где сложное предложение рассматривается в главе,

посвященной суждениям (см. [2, т. 1, с. 101, 129 и сл.]). Заключение (copulatio) представляет собой доказательный вывод из двух предыдущих суждений (propositio maior, propositio minor; см. [36]). Соответствуя условиям суждения, признак импликации не принадлежит per se сложному предложению. Другими словами: заключение (на логическом уровне) по сравнению со сложным предложением (на грамматическом уровне) является «особым» в сравнении с «общим»; а это означает, что заключения следует рассматривать лишь после описания сложных предложений (как это и делается в цитируемой здесь французской логике).

Отношение между заключением и сложным предложением в русских всеобщих грамматиках также не подвергается дискуссии. Прочитываемое выше соответствие между «умозаключением» и «доводом» [13, с. 30] следует оценивать как мнимое определение. В связи с отсутствием действительного коррелята довод принимает замещающую позицию: речь идет не о грамматическом понятии, а о перифразировании заключения на уровне логики.

Становится ясно, что заключение и сложное предложение не могут быть прямо соотнесены друг с другом, речь не идет о соответствиях единиц в разных научных дисциплинах (логика и грамматика). На основе этого факта в общей грамматике следует развивать эти понятия независимо друг от друга. Можно заметить, что подробное рассмотрение заключения происходит, как правило, в логике, а сложного предложения — в грамматике.

Поскольку в общих грамматиках нельзя описать период (сложное предложение) в качестве соответствия какой-то логической единице, то я и не обращаюсь здесь к этому вопросу. Единица периода в конечном счете служит «строительным материалом» для составления устных или письменных текстов, так называемых дискурсов (см. [32, с. 9 и 101]) *.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Grammaire generate et raisonnee ou La Grammaire de Port-Royal/ Edition critique presentee par Brekle H. B. Nouvelle impression en facsimile de la troisieme edition de 1676. I—II. Stuttgart; Bad Cannstatt, 1966. (Grammatica Universalis, 1).
2. L'art de penser. La logique de Port-Royal/Ed. par Bruno Baron von Freytag Loringhoff et Brekle H. E. I—III. Stuttgart; Bad Cannstatt, 1965.
3. Ricken U. Sprache, Anthropologie, Philosophie in der franzosischen Aufklarung. В., 1984.
4. Бокаторова Н. Ю. Французская лингвистическая традиция XVIII—начала XIX века. Структура знания о языке. М., 1987.
5. Florczak Z. Europejskie zrodla teorii jezykowych w Polsce na przelomie XVIII i XIX wieku. Wroclaw, 1978.
6. Biedermann J. Grammatiktheorie und grammatische Deskription in RuBland in der 2. Halfte des 18. und zu Anfang des 19. Jahrhunderts. Frankfurt-am-Main; Bern, 1981.
7. Freidhof G. Begriffe der logischen und grammatischen Ebene in den russischen Universalgrammatiken. Eine vergleichende Betrachtung// Texts and Studies. III. Munchen, 1988.
8. Arnould A. Die Logik oder die Kunst des Denkens. Darmstadt, 1972.
9. Stengel E. Chronologisches Verzeichnis franzosischer Grammatiken. Amsterdam, 1974. S. 46.
10. Pariente J.-C. L'analyse du langage a Port-Royal. P., 1985.
11. Язвицкий Н. Всеобщая, философическая грамматика. СПб., 1810 (Переиздание: Texts and Studies on Russian Universal Grammar 1806—1812. V. II. / Ed. in three volumes by Biedermann J. and Freidhof G. Munchen, 1984).

* Работая над этой статьей, я пользовался советами А. В. Бондарко (Ленинград), который в летнем семестре 1988 г. читал лекции во Франкфуртском университете, и Г. Гайер (Франкфурт-на-Майне). Названным лицам я приношу искреннюю благодарность.

42. *Freidhof G.* К вопросу о понятии «суждение» у Ломоносова, Барсова и Якоба // *Russian linguistics*. 1987. 11.
13. *Орнатовский И.* Новейшее начертание правил Российской грамматики. Харьков, 1810. (Перездание: *Texts and Studies on Russian Universal Grammar 1806—1812*. V. I. / Ed. in three volumes by Biedermann J. and Freidhof G. München, 1984).
14. *Философский энциклопедический словарь*. М., 1983, С. 513.
15. *Кондаков Я. И.* Логический словарь. М., 1971.
16. *Рижский И.* Введение в круг словесности. Харьков 1806. (Перездание: *Texts and Studies on Russian Universal Grammar 1806—1812*. V. II. // Ed. in three volumes by Biedermann J. and Freidhof G. München, 1984).
17. *Тимковский И.* Опытный способ к философическому познанию Российского языка. Харьков, 1811. С. 27. (Перездание: *Texts and Studies*. II. 1984).
18. *Meiner J. W.* Versuch einer an der menschlichen Sprache abgebildeten Vernunftlehre oder Philosophische und allgemeine Sprachlehre. Faksimile-Neudruck der Ausgabe Leipzig 1781 mit einer Einleitung von Brekle H. E. Stuttgart; Bad Cannstatt, 1971. S. 72.
19. *Voter J. S.* Versuch einer allgemeinen Sprachlehre. Faksimile-Neudruck der Ausgabe Halle 1801 mit einer Einleitung und einem Kommentar von Brekle H. E. Stuttgart; Bad Cannstatt, 1970.
20. *Российская грамматика* сочиненная Императорскою Российскою академиею. СПб., 1802.
21. *Барсов А. А.* Российская грамматика / Подгот. текста и текстологический коммент. Тоболовой М. П. Под ред. и с предисл. Успенского Б. А. М., 1981.
22. *Auburger L.* RuBland und Europa. Heidelberg, 1985. S. 26—27.
23. *Wolff W.* Die analytische Begriffs- und Urteilstheorie von Leibniz G. W. und Wolff Chr. Hildesheim; New York, 1971.
24. *Ломоносов М. В.* Поли. собр. соч. Т. VII: Труды по филологии 1739—1758 гг. М.; Л., 1952.
25. *Wolff Ch.* Vernünftige Gedanken von den Kräften des menschlichen Verstandes und ihrem richtigen Gebrauche in Erkenntnis der Wahrheit / Hrsg. und bearb. von Arndt H. W. Hildesheim; New York, 1978. S. 123.
26. *Wolff Ch.* Philosophia rationalis sive logica. I—III / Edition critique avec introduction, notes et index par Ecole J. Hildesheim; Zurich; New York, 1983.
27. *Kant I.* Werke in zehn Bänden. Bd 6: Schriften zur Ethik und Religionsphilosophie. 1. Tl Darmstadt, 1983. S. 117.
28. *Husserl E.* Erfahrung und Urteil. Untersuchungen zur Genealogie der Logik. Hamburg, 1985.
29. *Копнин П. В.* Природа суждения и формы выражения его в языке // *Мышление и язык*. М., 1957.
30. *Liebbrucks B.* Der menschliche Begriff. Sprachliche Genesis der Logik, logische Genesis der Sprache. Hegel: Wissenschaft der Logik. Der Begriff. Frankfurt-am-Main; Bern; 1974.
31. *Mertianl.* Allgemeine Sprachkunde. Faksimile-Neudruck der Ausgabe Braunschweig 1796 mit einer Einleitung von Brekle H. E. Stuttgart; Bad Cannstatt, 1979.
32. *Якоб Л. Г.* Курс философии для гимназий Российской Империи; Ч. II: Начертание всеобщей грамматики, для гимназий Российской Империи. СПб., 1812 (Перездание: *Texts and Studies on Russian Universal Grammar 1806—1812*. V. II. / Ed. in three volumes by Biedermann J. and Freidhof G., München, 1984).
33. *Aristoteles.* Kategorien. Lehre vom Satz (Peri hermeneias) (Organon I/II) vorangeht Porphyrius: Einleitung in die Kategorien. Hamburg, 1974.
34. *Aristotle's theory of language and its tradition.* Texts from 500 to 1750/Ed. by Arens H. Amsterdam; Philadelphia, 1984.
35. *Ziegler J.* Satz und Urteil. В.; N. Y., 1984.
36. *Якоб Л. Г.* Начертание всеобщей логики, для гимназий Российской Империи. СПб., 1811. С. 50.

© 1990 г.

ШЕЛОВ С. Д.

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ

(ОПЫТ ТИПОЛОГИИ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ)

Для терминологии роль научных определений, устанавливающих границы значения термина и закрепляющих его смысловые связи с другими терминами, является общепризнанной. Согласно А. Рею, дефиниция «является, возможно, центром проблемы термина» [1, с. 39]. Несмотря на достаточно обширную литературу, посвященную вопросам построения и анализа определений, оценка дефиниций в формировании смысловой стороны терминов сталкивается со значительными трудностями. Трудности эти вызваны следующими причинами: 1) разнообразием точек зрения на природу и сущность определения; 2) разнообразием видов определений, часть которых признается в качестве собственно определений одними исследователями и не признается другими, 3) нерешенностью вопроса о том, имеется ли и в чем заключается специфика определения терминологических единиц. Теория определения сама по себе изучает дефинирование самых различных номинаций; языковыми выражениями, определение которых изучается логикой, могут быть, например, такие: *морфема, придаточное предложение, правонарушение, окружность, вписанная в треугольник, Юлий Цезарь, красный, я, решить уравнение, или, романтизм в литературе*. Эта пестрая картина усугубляется и весьма различными взглядами на дефиницию (краткая сводка формулировок, касающихся природы определения, от Платона до Р. Карнапа приведена в работе [2, с. 2—31]).

В круг проблем, решаемых в настоящей работе, не входит обоснование той или иной точки зрения на сущность дефиниции,— такое обоснование представлено в работах Д. П. Горского [3] и Р. Робинсона [2]. Задачи статьи заключаются в следующем: 1) на материале лингвистической терминологии, который, насколько нам известно, редко привлекается к общетерминологической проблематике, описать используемые на практике типы определений терминов, 2) выделить то общее, что объединяет эти типы, и на этой основе сформулировать специфические черты определения терминологических единиц. Объект изучения составляют словесные (вербальные) определения субстантивной терминологии в словарях по языкознанию [4—14], а также отдельные тексты по лингвистике, в которых дефиниции тех или иных терминов и стоящих за ними понятий четко выделены [15—20]. В соответствии с логической традицией определяемое выражение далее обозначается как *Did*, а определяющее — как *Din*. Поскольку лингвистический материал исследования не вполне традиционен, иногда, в целях большей иллюстративности, приводятся примеры и из других областей знания. Статья не претендует на исчерпывающее решение поставленных задач. Автор сочтет свою цель достигнутой, если работа привлечет внимание к проблеме определения лингвистических терминов и будет способствовать сближению логических и лингвистических ее аспектов.

Наиболее часто используемый в терминологической практике тип определений — так называемые родовидовые (или классифицирующие) определения. Приведем соответствующие примеры: 1) *Междометие* «Неизменяемая часть речи, которая служит для выражения чувств и волевых импульсов, но не называет их»; 2) *Склонение* «Парадигма словоизменения существительных и других субстантивных форм по падежам, обычно характеризующаяся специфическими флективными свойствами слов данного языка»; 3) *Второстепенный член предложения* «Член предложения, не являющийся главным»; 4) *Агглютинация* «Механическое присоединение однокоренных стандартных аффиксов к неизменяемым корням или основам»; 5) *Морфологическая членимость* «Способность слова распадаться на корень (основу) и аффиксы»; 6) *Основа* «Часть словоформы, которая остается, если отнять у нее окончание и формообразующий суффикс, и с которой связывается ее лексическое значение»; 7) *Спиранты* «Все непрерывные звуки, возникающие при трении, которое осуществляется в каком-либо определенном месте»; 8) *Ветиль* «Часть логического элемента интегральной микросхемы, реализующая одну элементарную логическую функцию»; 9) *Влагоемкость торфа* «Способность торфа поглощать и удерживать определенное количество воды»; 10) *Альбеда* «Отражательная способность какой-либо поверхности земли или неба».

Родовидовые определения обладают значительной логико-семантической универсальностью: они могут быть приписаны и терминам, обозначающим объекты (*междометие, ветиль*), и терминам, обозначающим процессы (*агглютинация*); терминам, обозначающим свойства (*морфологическая членимость, влагоемкость торфа*), и терминам, называющим величины и единицы измерения. Родовидовые дефиниции в равной степени могут охватывать имена конкретных предметов и имена абстрактных предметов, они могут относиться и к однословным терминам (*склонение, альбеда*), и к многословным (*второстепенный член предложения, морфологическая членимость*). История изучения определений этого вида идет от Платона и Аристотеля (для последнего они были единственно возможным типом дефиниций). Родовидовые определения признаются как определения всеми без исключения исследователями. В некоторых словарях субстантивная терминология получает почти исключительно родовидовые определения: среди словарей лингвистических терминов таковы издания [5, 11].

При всем разнообразии родовидовых дефиниций в них всегда выделяется родовое (для данного Dfd) понятие и видовой признак этого понятия, который и позволяет вычленить соответствующий вид и считать его значением Dfd. Например, для терминологической единицы *междометие* родовым понятием является «неизменяемая часть речи», а видовым признаком — «которая служит для выражения чувств и волевых импульсов, но не называет их»; для терминологической единицы *основа* родовым понятием является «часть словоформы», а видовым признаком — «которая остается, если отнять у нее окончание и формообразующий суффикс, и с которой связывается ее лексическое значение». В составе родовидовых дефиниций некоторые учебники логики числят и так называемые генетические определения, т. е. определения, в которых указывается способ образования, возникновения, построения объекта [21, с. 38; 22, с. 167]. Согласно точке зрения Д. П. Горского, однако, не все генетические определения могут быть подведены под родовидовое [3, с. 63–64]. По-видимому, когда структура определения позволяет, во-первых, выделить родовое понятие, во-вторых, выделить видовой признак и, в-третьих, квалифицировать этот видовой признак как указание на способ образования, возник-

новения объекта, тогда соответствующее определение может быть с полным правом отнесено к числу генетических родовидовых определений. Среди приведенных примеров таковы дефиниции имен *основа*, *спиранты*¹. Таким образом, языковой моделью этого типа дефиниций является формула определенной дескрипции:

X - ЭТО ТАКОЙ Y, ЧТО P(Y).

К родовидовым определениям следует относить любую дефиницию, у которой в составе Dfn вычленяется родовое (для Dfd) понятие и его видовой признак. В частности, сюда включаются и такие родовидовые дефиниции, которые сформулированы в слишком общих и неконструктивных исследовательских категориях, чтобы можно было предполагать возможность их однозначного анализа в устоявшихся понятиях лингвистики, ср.: 10) *Предложение* «Грамматически и интонационно оформленная по законам данного языка целостная единица речи, являющаяся главным средством формирования, выражения и сообщения мысли. Предложение обладает свойством звуковой выделимости, оно выражает предикацию и состоит из одного или нескольких слов»; 11) *Грамматическая категория* «Классы грамматических единиц (items), различающихся по форме, функции или значению».

В определении *предложения* с формально-логической точки зрения родовым понятием является «грамматически и интонационно оформленная по законам данного языка целостная единица речи», а видовым признаком — одновременное выполнение (конъюнкция) признаков «быть главным средством формирования, выражения и сообщения мысли, обладать свойством звуковой выделимости, выражать предикацию, состоять из одного или нескольких слов». С содержательной точки зрения это определение правомерно только в случае уточнения и экспликации следующих противопоставлений: «грамматически оформленная единица речи — грамматически неоформленная единица речи», «целостная единица речи — нецелостная единица речи», «главное средство формирования мысли — неглавное средство формирования мысли» и т. п. Аналогичное mutatis mutandis справедливо и для определения термина *грамматическая категория*: ср. противопоставления «грамматическая единица — неграмматическая единица», «различающийся по форме — неразличающийся по форме», «различающийся по функции — неразличающийся по функции» и т. п. В настоящее время рассчитывать на однозначность такой экспликации, общепринятой для языкознания в целом, вряд ли возможно. Поэтому здесь мы встречаемся с теми родовидовыми определениями, которые в работе Д. П. Горского характеризуются как «гетерогенные определения» [3, с. 213 и сл.]. Фактически таковы нередко определения некоторых наиболее общих, универсальных терминов лингвистики².

Следует обратить внимание на то, что родовидовой анализ может быть проведен и для дефиниции терминов *основа* (*вентиль*), с одной стороны, и для дефиниции терминов *морфологическая членимость* (*влажность торфа*), с другой. В классификации определений, предложенной И. Н. Волковой, соответствующие дефиниции не попадают в число родовидовых, а образуют, по всей вероятности, самостоятельные типы: первые, согласно этой классификации, являются паритивными, а вторые — квазиродовыми [23, 24]. Характеризуя квазиродовые дефиниции,

¹ Аналогичное решение принимается в работах И. Н. Волковой [23, 24].

² Об универсальных терминах см. [25]. Одним из свойств, обуславливающих гетерогенность определений, является неотделимость в Dfn объектной семантики от метасемантики [26, с. 7–8].

И. Н. Волкова отмечает: «Одним из таких способов (т. е. способов дефинирования.— Ш. С.) является формулирование определения по типу родовидового, но с использованием не ближайшего родового понятия, а либо понятия категории „свойство“ („способность“), „величина“, либо одного из понятий, классификационный уровень которых относительно определяемого понятия в данной системе не установлен... Назовем такие определения квазиродовыми» [24, с. 159—160]. Справедливо, что в подобных примерах не установлен «классификационный уровень понятий относительно определяемого понятия»; справедливо также и то, что между единицами, допустим, *основа* и *слово* устанавливается отношение «часть — целое», а между единицами *слово* и *морфологическая членимость* — отношение «объект — его свойство». Однако этот факт не может, с нашей точки зрения, служить аргументом в пользу отказа от квалификации соответствующих дефиниций как родовидовых. В самом деле, этот факт не отменяет родовидовых отношений между единицами *основа* и *часть словоформы*, *морфологическая членимость* и *способность слова*, *владеемость торфа* и *способность торфа* и т. п. Следовательно, из замечания относительно «неустановленности классификационного уровня понятий» вытекает только то, что родовидовые определения могут быть разделены на две группы, а именно: на такие определения, классификационный уровень родовых понятий в которых установлен (относительно определяемого понятия), и на такие, классификационный уровень родовых понятий в которых не установлен. В последнюю группу и входят, например, партитивные и квазиродовые (по И. Н. Волковой) дефиниции. Рассматриваемая классификация поэтому сохраняет, на наш взгляд, рациональную основу, если предложенные деления проводить внутри родовидовых определений и в их составе выделять и партитивные, и квазиродовые.

Поскольку видовой признак соответствующим образом делит родовое понятие, родовидовые дефиниции тесно связаны с логическими правилами деления понятия, и посредством этой связи — с проблематикой классификации. В то же время эти определения неоднократно изучались и с лингвистической точки зрения — как в аспекте описания семантики видового признака, так и в аспекте описания способов выражения родового понятия и видового признака [27—29]; исследованию определений лингвистических терминов с точки зрения синтаксиса предложения, выражающего определение, посвящена статья [30].

Другой разновидностью определений, использующихся в терминологической практике, являются перечислительные определения, которые в логике часто называются экстенциональными (или денотативными). К их числу можно отнести, например, следующие дефиниции: 12) *Главные члены предложения* «Подлежащее и сказуемое»; 13) *Фаукальные* «Фарингальные, гортанные и ларингальные звуки»; 14) *Упорядочение* «Избирательность, порядок, модификация и модуляция»; 15) *Шахматная фигура* «Король, ферзь, ладья, слон, конь и пешка»; 16) *Великобритания* «Англия, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия» (пример Р. Робинсона).

Некоторые из подобных определений более естественно формулируются в другой, номинальной форме, например: 13') *Фаукальные* «Общее название фарингальных, гортанных и ларингальных звуков»; 14') *Упорядочение* «Общий термин для обозначения четырех явлений: избирательности, порядка, модификации, модуляции».

Эти определения не являются родовидовыми, ибо они не обладают родовидовой структурой. Смысловое содержание Dfd фиксируется здесь посредством перечисления элементов, входящих в него — либо как видо-

вые его предшественники, либо как его части. Так, подлежащее и сказуемое — виды главных членов предложения; фарингальные, гортанные и ларингальные звуки — виды фаукальных; Англия, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия — части Великобритании. Моделью этого типа дефиниций является формула:

X — ЭТО СОВОКУПНОСТЬ X_1, X_2, \dots, X_n .

Термины «экстенциональное определение» или «денотативное определение», используемые в этих случаях, представляются нам не вполне удачными, ибо экстенционалом (или денотатом) обладают *Did* и *Din* и других видов определений (например, родовидовых). Поэтому в дальнейшем мы будем называть эти определения перечислительными.

Перечислительные определения имеют то преимущество перед родовидовыми дефинициями, что они не требуют указания на признак, который выделяет *Did* из числа других предметов. Перечислительное определение непосредственно именуется предметами, в каком-то смысле входящими в состав *Dfd*. В силу этого перечислительные дефиниции менее аналитичны, чем родовидовые, и могут использоваться при меньшей изученности определяемого объекта. Однако это достоинство оборачивается крупным недостатком при необходимости именовать многочисленных представителей *Dfd*. Д. П. Горский отмечает в этой связи: «Если класс очень многочислен (не говоря уже о практически бесконечных классах), то экстенциональное определение соответствующего термина не может быть осуществлено: мы можем лишь ограничиться приведением примеров для пояснения соответствующего термина» [3, с. 82]. Интересно, что Р. Робинсон допускает в качестве перечислительных определений такие имеющие познавательную ценность, но далекие от смысловой законченности высказывания, как: «Птицы — это гуси, жаворонки, орлы, чайки и т. п.»; «Романтики (в литературе) — это Шелли, Уордсуорт, Ките, Скотт и др.» [2, с. 114].

Подобные высказывания могут быть причислены к определениям с большой долей условности: они лишены требуемой для всякой дефиниции четкости. Состав *Dfd* существенно зависит здесь от интерпретации выражений «и т. п.», «и др.». При одной интерпретации, например, пингвины попадут в класс птиц, а при другой — нет; при одной интерпретации Байрон окажется в числе романтиков, а при другой — нет. В силу сказанного такие построения более правильно было бы квалифицировать не как перечислительные определения, а как пояснение примерами (что согласуется с традиционной трактовкой в логике способов объяснения значения терминов, отличных от дефиниций, — описания, сравнения, иллюстрации примерами [21, 22]). Собственно перечислительные определения — именно как определения, а не пояснения примерами — редки в терминологической практике.

Исследуемые до сих пор определения имели структуру, в которой *Dfd* семантически приравнивается к *Dfn*. Этими определениями, называемыми в логике явными, не исчерпывается многообразие дефиниций: существуют и такие определения, структура которых не предусматривает такого приравнивания. Рассмотрим, например, следующее высказывание: «Диагональ четырехугольника делит этот четырехугольник на два треугольника». Если предположить, что нам неизвестно значение термина *диагональ четырехугольника*, но известно значение выражения «делит четырехугольник на два треугольника», то это высказывание можно рассматривать как определение термина *диагональ четырехугольника*. Подобные дефиниции называются (неявными) контекстуальными определе-

ниями: так, контекстом, которым дефинируется термин *диагональ четырехугольника*, является приведенное выше предложение.

В качестве контекстуальных рассматриваются и так называемые аксиоматические определения, классической иллюстрацией которых служат определения ряда геометрических терминов, предложенные Д. Гильбертом в ходе аксиоматического построения геометрии. В этой аксиоматизации отсутствуют явные определения таких терминов, как *точка*, *прямая*, *плоскость*, *прямая*, *принадлежащая точке* и т. п. Вместо этого Д. Гильберт предложил набор некоторых аксиом (т. е. утверждений, принимаемых в рамках данной теории без доказательств), содержащих эти термины. Если исходить из истинности утверждений об объектах, обозначенных соответствующими терминами, то аксиомы и служат контекстом, определяющим данные термины³. Аксиоматические определения могут использоваться не только в науках логико-математического цикла, но в любой области знания при формализации какого-либо ее раздела. Известны примеры аксиоматических построений в физике, биологии. Попытка дедуктивного истолкования лингвистических воззрений Ф. де Соссюра сделана в работе [15]. При таком подходе соответствующие контексты, в том числе аксиоматические, дефинируют термины *обозначаемое*, *обозначающее*, *знак*, *значимость* подобно тому, как геометрические аксиомы дефинируют термины *точка*, *прямая*, *плоскость*, ср.: «Значимости определяются соотношениями означающих, означаемых и знаков между собой»; «означающее протяженно» и т. п. [15, с. 12–13].

Контекстуальные определения терминов исходят, таким образом, во-первых, из фиксированного множества контекстов, включающих один или несколько определяемых терминов, и, во-вторых, из истинности утверждений, выражаемых всеми соответствующими контекстами. Это справедливо и для такой разновидности контекстуальных определений, где соответствующие контексты не претендуют на статус аксиом, но все же считаются верными утверждениями. Г. Райхенбах квалифицирует подобные определения как *definitions in use*, определений посредством употребления. (В качестве эквивалента английского *definition in use* часто используется термин «определение для употребления»; более точным переводом в данном случае был бы, с нашей точки зрения, эквивалент «определение посредством употребления» или «определение через употребление».) Подчеркивая имплицитность такого способа дефинирования, он констатирует, что знать значение всех предложений, включающих определяемый термин, достаточно для практических целей [32, с. 22]. Общий ключ контекстуальных дефиниций охватывается формулой, неизбежно включающей неопределенную дескрипцию «то, что...», «тот (объект), который...», «то, для чего...» и т. п.:

X_1, X_2, \dots, X_k - ЭТО ТЕ ОБЪЕКТЫ, ДЛЯ КОТОРЫХ ИСТИННЫ

УТВЕРЖДЕНИЯ $P_x(X_1, \dots, X_k)$, $P_2(X_1, X_2, \dots, X_k), \dots$,

$P_n(X_1, X_2, \dots, X_k)$

[В некоторые $P_r(X_1, X_2, \dots, X_k)$ могут входить не все X_1, X_2, \dots, X_k одновременно].

В частном случае эта формула имеет вид:

X - ЭТО ТОТ ОБЪЕКТ, ДЛЯ КОТОРОГО ИСТИННЫ УТВЕРЖДЕНИЯ

$P_1(X)$, $P_2(X)$, \dots , $P_k(X)$,

Логико-семантический анализ этой терминосистемы проводится в работе [31].

Значительное количество контекстуальных определений этого вида содержится в словарях и словарно-ориентированных изданиях [6—10, 12, 14]; приведем соответствующие примеры: 19) *Структурный порядок* «Принцип (исследования) непосредственно составляющих позволяет нам наблюдать структурный порядок составляющих, который может отличаться от их действительной последовательности»; 20) *Атомичность предиката* «Атомарный предикат входит в универсальный семантический алфавит; с помощью набора таких единиц образуются семантические представления»; 21) *Стилистика* «Стилистика исследует выбор тех языковых форм, которые описываются грамматикой и лексикографией»; 22) *Дыра в модели* «Дыра в модели имеет место (occurs), если фонологическая система является асимметричной в том или ином отношении, например, в голландском три глухих смычных [p], [t], [k], но только два звонких смычных [B] и [d], а [g] появляется лишь как аллофон [k]». Иллюстрацией контекстуального определения может служить также дефиниция термина *синтаксическая синонимия* в монографии [16]; Did здесь очерчивается тремя постулатами, один из которых, например, следующей: 23) *Синтаксическая синонимия* «Синтаксическая синонимия задается преобразованием, которое не меняет состава знаменательных лексем предложения, а меняет лишь их грамматические формы и набор служебных слов» [16, с. 20].

Оценивая некоторые контекстуальные определения, Д. П. Горский¹ отмечает: «Эти определения, на наш взгляд, оказывают существенную помощь тогда, когда мы пытаемся разяснить предельно общие понятия, используемые в самых различных системах и языках. Таковы, например, категории. Естественным способом их определения являются аксиоматические дефиниции, т. е. через описание их соотношений (ср. определения сущности и явления, формы и содержания и т. п.)» [3, с. 54]. Ярким примером, подтверждающим эту мысль, может служить следующая словарная статья: 24) *Компетенция и употребление* «Различие, первоначально введенное Н. Хомским: компетенция относится к способности говорящего понимать и производить предложения, которые он никогда до того не слышал; в этом смысле она относится к коду, который лежит в основе (underlies) всех высказываний на данном языке. Употребление, с другой стороны, относится к реализации этого кода в реальной ситуации использования языка и, следовательно, распространяется на сами высказывания» [3, с. 44].

Особый случай дефинирования представляют собой определения, похожие на контекстуальные, однако не фиксирующие четко тот набор контекстов-утверждений [P; (X)], который служит дефиницией. В гуманитарных науках вообще, и в языкознании в частности, такая ситуация достаточно типична. Так, автор, использующий тот или иной термин, может указать, предъявить лишь некоторые объекты, на которые данный термин распространяется. В дальнейшем он может, употребляя данный термин, обходиться без четкой фиксации дефиниционных контекстов и без ссылок на какие бы то ни было дефиниции, все же рассчитывая на однозначное понимание. При этом он чаще всего не претендует на то, что все контексты, содержащие данный термин, являются необходимой частью дефиниции. Он просто может предполагать, что вся совокупность контекстов, в которых встречается данный термин, по всей вероятности, содержит его определение, хотя точные текстуальные границы этого определения «жестко» не установлены. Данный способ дефинирования оставляет точный перечень контекстов, служащих собственно дефиницией, неизвестным и в этом смысле не вполне отграничивается от описания. Таково нередко

встречающееся в научных текстах «бездефиниционное» употребление терминологии (о сложностях построения дефиниции в гуманитарных науках см. [3, с. 198–222]).

Общей чертой родовидовых, перечислительных и контекстуальных дефиниций является их реализуемость только вербальными средствами — понимание того, что такое Did подразумевает (по крайней мере, на каком-то уровне понимания) только знание языка, на котором сформулирована соответствующая дефиниция. Иначе обстоит дело с так называемыми «операциональными определениями». Этот вид определений подразумевает не только вербальное поведение — например, языковой анализ Dfn — но и осуществление некоторых неязыковых процедур. Примеры операциональных определений, главным образом, физических терминов и обсуждение их роли в науке представлены в монографии [3]. В той же мере, в какой применение одних и тех же операций к одним и тем же исходным объектам с помощью одних и тех же инструментов приводит к одному и тому же результату (последний может быть объективно зафиксирован), операциональные определения являются полноправными дефинициями. Операциональные определения не являются поэтому «уделом» только физических наук. В зависимости от характера исходных объектов, совершаемых операций и применяемых инструментов они допускают дальнейшую классификацию. В частности, если по отношению к физическим объектам (приборы, машины, аппараты) применяются физические операции (помещение груза на весы, включение электромагнита и т. п.), то речь идет о физических операциональных определениях; если по отношению к математическим объектам (числа, функции, матрицы и т. п.) применяют математические операции (вычисления функций при заданных числовых аргументах, операции над матрицами), то речь идет о математических операциональных определениях и т. п. Этот тип определений может быть выражен формулой:

X' - ЭТО ТО, ЧТО НАБЛЮДАЕТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

ОПЕРАЦИЙ $0_1, 0_2, \dots, 0_k$ К ИСХОДНОМУ МАТЕРИАЛУ М С ПОМОЩЬЮ ИНСТРУМЕНТОВ I_1, I_2, \dots, I_n .

При этом наблюдение понимается не только как визуальное: возможны слуховые, тактильные и т. п. наблюдения; регистрацию результатов наблюдений могут выполнять также и приборы. Однозначность и строгость описания операций и наблюдаемого результата зависят от точности и строгости используемого языка, а также от точности инструментов, с помощью которых осуществляются операции. Если строгость описания необходимых процедур достигает строгости алгоритма, то целесообразно говорить об алгоритмических (операциональных) определениях. Вообще говоря, полная объективация соответствующих процедур, по-видимому, превращает операциональные определения в разновидность контекстуальных, ср.:

X — ЭТО ТО, ДЛЯ ЧЕГО ИСТИННО УТВЕРЖДЕНИЕ $P(X)$,
(где P — быть результатом выполнения операций $0_1, 0_2, \dots, 0_k$ над исходным материалом с помощью инструментов I_1, I_2, \dots, I_n).

Однако на практике выполнение операций, регистрация наблюдений и даже выделение исходного материала часто предполагают сугубо человеческую деятельность: абстрагирование, отождествление, классификацию и т. п. В этом смысле операциональные определения не сводимы к контекстуальным, ибо Did контекстуальных определений формируют только внутренние объективированные свойства объекта, Did операциональ-

ных определений — еще и операциональная деятельность исследователя (ср. разграничение творческих и нетворческих определений в логике [3, с. 230 и сл.]).

Практика дефинирования лингвистических терминов в этом отношении весьма интересна. В изученном лексикографическом материале нам не удалось установить примеры, которые можно было бы однозначно интерпретировать как операциональные определения. Возможно, это объясняется тем, что лексикографическая традиция предпочитает «переводить» операциональные дефиниции в родовидовые, хотя бы и ценой превращения последних в нечеткие гетерогенные определения. Однако в реальных лингвистических работах операциональная составляющая некоторых дефиниций диагностируется более четко. Так, об операциональных определениях можно говорить при разработке процедур обнаружения важнейших языковых объектов — морфем, синтаксических структур, слов, основанных на сочетаемостных свойствах элементов текста. Таковы фактически попытки операционального определения универсальных терминов типа *морфемы* или *синтаксическая структура* в дескриптивной лингвистике. В рамках этого же направления развиваются дешифровочные методы исследования языка, которые исходят из отсутствия каких-либо предварительных сведений о конкретном языке — его словаре, грамматике, семантике и т. п. — и основываются только на частотно-дистрибутивных данных о различных элементах речи или ее записи. В работах Б. В. Сухотина, например, исходя из этих предпосылок, ставится цель выделения морфем в текстах без пробелов [17, 18]. Общая идея достижения этой цели заключается в выделении в качестве морфем в каком-то смысле максимально устойчивых последовательностей букв. Соображения относительно стратегии такого выделения, предпочтительности того или иного понимания устойчивости, разумеется, не входят в структуру собственно определения. Однако после того, как такие соображения приняты во внимание, степень однозначности описания соответствующих процедур достигает алгоритма, реализованного на ЭВМ. Следовательно, и операциональное определение термина *морфема* могло бы иметь в данном случае вид: 25) *Морфема* «То, что наблюдается в результате применения к исходному материалу соответствующей алгоритмической процедуры, реализованной на ЭВМ». Исходным материалом, таким образом, здесь служит произвольный текст, образованный последовательностью букв без пробелов; инструментом служит ЭВМ, выполняющая соответствующую программу; операциями — записанные на языке программирования алгоритмические процедуры. В качестве иллюстрации операционального определения *слова* может рассматриваться работа П. С. Кузнецова [19]. Ярким примером операциональной дефиниции может служить и определение термина *однападежный ряд* (и соответственно *падеж*) А. А. Зализняком [20, с. 38–42]. В качестве исходного материала здесь служит некоторая специально построенная таблица (используется конструкция А. Н. Колмогорова — В. А. Успенского); в качестве операций — операции вычеркивания и «склеивания» строк таблицы по определенным правилам. Интересующее нас результирующее определение имеет вид: 26) *Однападежный ряд* «Назовем всякую строку, оставшуюся после всех этих операций, однападежным рядом» [20, с. 40]⁴.

⁴ Контекстуальные и операциональные определения опровергают представления о допустимости лишь кратких формулировок в качестве определений (например, «умеющих» в одно предложение).

Таким образом, среди словесных определений лингвистических терминов используются, по крайней мере, следующие типы: а) родовидовой, б) перечислительный, в) контекстуальный (разновидностью которого является и аксиоматический), г) операциональный. Есть ли что-нибудь общее для всех этих дефиниций, что позволяет говорить о специфике именно терминологических единиц? Заметим, что все перечисленные определения представляют содержание Dfd в «расчлененном» виде: родовидовое определение использует родовое (для Dfd) понятие и его видовой признак; перечислительное определение фиксирует виды или части Dfd, сводя к ним его значение; контекстуальное определение фиксирует отношения между Dfd и другими объектами (в* частности, между несколькими различными Dfd), предполагая соответствующие отношения выполненными; наконец, операциональное определение представляет процедуру построения Dfd, базируясь на некоторых исходных объектах, операциях и инструментах. Логическая теория определения в целом рассматривает и другие типы дефиниций, не использующие каких-либо аналитических процедур объяснения значения, например, синонимические дефиниции, дефиниции, задающие способы правильного употребления определяемой единицы, и т. п. Определение же терминов как знаковых представителей науки или тематической области, естественно, является лишь частью всего арсенала дефиниционных средств. Изученный материал свидетельствует, что в терминологии определение — это процедура, всегда направленная на раскрытие содержания определяемой единицы, во-первых, и претендующая на познавательный характер такого раскрытия, во-вторых. Поэтому трудно было бы признать определениями следующие, например, высказывания: «Грамматический суффикс — это окончание», «Отрицательная морфема — это нулевая морфема», «Name is a noun», «Аллигатор — это крокодил». Подобные примеры иллюстрируют различные случаи переименования, но отнюдь не дефинирования. Собственно дефиниция всегда фиксирует содержание термина с помощью анализа более дробного, чем тот, который представлен в словесной структуре определяемого термина. Определяющее термин выражение не может быть просто ссылкой, указанием на значение, способ выражения которого столь же синкретичен, что и способ выражения определяемой единицы. Отсюда следует, что и лексико-синтаксическая структура определяющего всегда сложнее (и, как правило, значительно сложнее) лексико-синтаксической структуры определяемого (более подробно о соотношении лексико-синтаксической структуры определяемого и определяющего в терминологии см. работу [331]). Таким образом, словесное определение термина — это объяснение его значения, закрепляющее в языке результаты того или иного анализа определяемого понятия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Ret/A.* La terminologie: noms et notions. P., 1979.
2. *Robinson R.* Definition. Oxford, 1950.
3. *Горский Д. П.* Определение (Логико-методологические проблемы). М., 1974.
4. *Ахманова О. С.* Словарь лингвистических терминов. М., 1966.
5. *Нечаев Г. А.* Краткий лингвистический словарь. Ростов-на-Дону, 1976.
6. *Марузо Ж.* Словарь лингвистических терминов. М., 1960.
7. *Вахек И.* Лингвистический словарь Пражской школы. М., 1964.
8. *Хэмп Э.* Словарь американской лингвистической терминологии. М., 1964.
9. Тетради новых терминов. № 23: Англо-русские термины по прикладной лингвистике и автоматической переработке текста. Вып. 1 / Сост. Демьянков В. З. М., 1979.

10. Тетради новых терминов. № 39: Англо-русские термины по прикладной лингвистике и автоматической переработке текста. Вып. 2 / Сост. Демьянков В. 3., М., 1982.
11. *Steible D.* Concise handbook of linguistics. A glossary of terms. N. Y., 1967.
12. *Palmatier A. A.* A glossary for English transformational grammar. N. Y., 1972.
13. *ffartmann R. R. K. Stork F. C.* Dictionary of language and linguistics. New York; Toronto, 1972.
14. *Moulin G.* Dictionnaire de la linguistique. P., 1974.
15. *Поляков И. В.* Лингвистика и структурная семантика. Новосибирск, 1987.
16. *Падучева Е. В.* О семантике синтаксиса (Материалы к трансформационной грамматике русского языка). М., 1974.
17. *Сухотин В. В.* Оптимизационные методы исследования языка. М., 1977.
18. *Сухотин В. В.* Выделение морфем в текстах без пробелов между словами. М., 1984.
19. *Кузнецов П. С.* Опыт формального определения слова // ВЯ. 1964. № 5.
20. *Зализняк А. А.* Русское именное словоизменение. М., 1967.
21. *Гетманова А. Д.* Логика. М., 1986.
22. *Свищов В. И.* Логика. М., 1987.
23. *Волкова И. Н.* Типовые структуры определений в стандартах на термины и определения // Слово в грамматике и словаре. М., 1984.
24. *Волкова И. Н.* Моделирование определений в терминологических стандартах // Современные проблемы русской терминологии. М., 1986.
25. *Слосарева Н. А.* О типах терминов (на примере грамматики) // ВЯ. 1983. № 3.
26. *Шелов С. Д.* Опыт семантического анализа лингвистической терминологии при построении информационно-поискового тезауруса: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1976.
27. *Канделаки Т. Л.* Семантика и мотивированность терминов. М., 1977.
28. *Стемковская Е. П.* Семантическая и словообразовательная структура русской терминологической лексики (терминология сейсмической разведки): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1971.
29. *Стрижевская О. И.* О семантической структуре терминов // ФН. 1976. ЛГ 6.
30. *Антонова Т. Н.* Текстовые формулировки научного определения // ВЯ. 1984. № 1.
31. *Шелов С. Д.* Опыт формализованного представления логико-семантической системы терминологии (на материале математических терминов) // Проблемы вычислительной лингвистики и автоматической обработки текста на естественном языке. М., 1980.
32. *Reichenbach N.* Elements of symbolic logic. N. Y.; L., 1947.
33. *Шелов С. Д.* Логическое и лингвистическое в определении термина (Об одном синтаксическом правиле определения). // ИАН ОЛЯ. 1987. № 2.

© 1990 г.

СЕВЕРСКАЯ О. И.

К ОПИСАНИЮ СЕМАНТИКИ ПАРОНИМИЧЕСКОЙ АТТРАКЦИИ

«Паронимический взрыв», произошедший в языке поэзии XX в., обусловил стойкий интерес исследователей к проблемам паронимической аттракции (ПА) — семантического взаимодействия близкозвучных слов, возникающего вне зависимости от наличия между ними каких-либо этимологических связей. В 70—80-е годы теория ПА получила существенное развитие¹. Однако несмотря на широту рассматриваемого круга проблем, до сих пор отмечается диспропорция между «грамматическим» и семантическим описанием ПА, остаются практически не исследованными механизмы семантического преобразования паронимов.

Цель настоящей статьи — выявление механизма, обеспечивающего смысловое взаимодействие паронимов, и конкретное исследование содержания возникающих при ПА семантических процессов, наблюдаемых на уровне слова и высказывания и рассматриваемых в их взаимозависимости. При этом особое внимание будет обращено на взаимосвязь «грамматики» (особой «морфемики» и «синтаксиса») и семантики ПА. Материалом исследования выбраны многочисленные паронимические парадигмы усложненной структуры², выделенные в пределах микротекста.

В паронимической парадигме мы различаем слово-тему — двустороннюю единицу, обладающую звуковыми и смысловыми коннотациями и вызывающую их своим появлением в тексте³, и слова-мотивы, заполняющие эти коннотативные валентности. Структурный элемент, который, не связывая воедино семантическое содержание и эвфония, объединяет паронимы, может быть определен как квазиморфема⁴. Подобно тому как одна квазиморфема может представлять собой пучок соответствий [10, с. 434], ее смысловое содержание определяется набором семантических признаков, которые соответствуют каждой конкретной ее реализации в слове, представленной тем или иным квазиморфом. Таким образом, квазиморфема может рассматриваться как код семантических множе-

¹ Наиболее¹⁷ полно теория ПА представлена в работах В. П. Григорьева [1, 2]. Среди наиболее интересных исследований последних лет назовем статьи Н. А. Кожевниковой [3, 4], Ф. А. Литвина [5], Ю. М. Лотмана [6], П. Валесю [7].

² Приведем пример такой парадигмы: И я хочу вложить *персты* В кремнистый путь из *старой* песни, Как в язву, заключая в стык Кремень с водой, с подковой *перстень* (Мандельштам). Такой тип ПА уже привлекал внимание исследователей (ср. соображения В. П. Григорьева о «паронимических композитах» [2, с. 251, 290] и Н. А. Кожевниковой — о «многоконсонантных словах» в осложненных звуковых повторах [3, с. 272—273]).

³ Аналогичным образом слово-тему, семантика и эвфония которого обладают «прогнозирующей силой», определяет М. Готье [8, с. 603, см. также с. 585—586].

⁴ В работах М. Готье и П. Гиро такой структурный элемент определяется как «эвфонический этимон» [8, с. 598; 9, с. 93], связь которого с ключевыми словами текста делает возможным его участие в семантической деривации. Ср. также замечание В. П. Григорьева об «этимологизировании» как «внутреннем склонении» (звукобуквенном и смысловом) паронимического «корня» [1, с. 275].

лей — элементарных единиц содержательного плана, которые, соединяясь в различных комбинациях, задают значение слова. Сказанное позволяет представить универсальную модель взаимодействия паронимов⁵ следующим образом.

Основываясь на различии между лингвистической и интуитивной членностью слова (возможностью выделить структурные отрезки, соотносимые со значением целого слова), будем говорить об общезыковой и поэтической декомпозиции и композиции. Предполагается, что в языке для каждого слова может быть задана как операция его разбиения на морфемы (декомпозиция: $A_i \rightarrow a_1 + a_2 + \dots + a_n$), так и обратная операция, при которой соединением морфем образуется слово, причем семантика этого слова есть результат композиции смыслов его частей (композиция: $\langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle \rightarrow A_i$).

В поэтическом тексте эти операции определенным образом трансформируются. В условиях ПА для слова A в контексте слова B задается иная сегментация (декомпозиция): $A_n \rightarrow a + (A - a)$, где a — сегмент, определяющий звуковое подобие двух слов. Соответственно, и композиция отражает иное «склеивание» компонентов: $\langle a, A - a \rangle \rightarrow A_p$; $\langle a, B - a \rangle \rightarrow B_p$. Особая поэтическая композиция морфов и квазиморфов обуславливает и особую композицию смыслов.

Модель «декомпозиция/композиция» имеет несколько модификаций.

1. Переосмысление за счет выделения (квази-)омонимичных сегментов.

а. (1) A_x , *дикарочка*, *дочь Икара*... (Вознесенский)

В приведенном примере общезыковая и поэтическая декомпозиция/композиция слов *дочь* и *Икар*, идентичны, в то время как слово *дикарочка* членится двояко: $дикарочка_x \rightarrow дик-ар-очк-а$, $дикарочка_p \rightarrow *д...очка - \{ \bullet + Икар \}$; в составе лексемы выделяются сегменты *доч(ь)-* и *Икар-*, омонимичные общезыковым морфемам.

Соответственно, в тексте представлены два типа композиции слова-темы: а) (*дик-ар-очк-ау* $\rightarrow *дикарочка_x$ (акцентируется сема «необузданный»); б) (*д...очка*, *ИкарУ* $\rightarrow *дикарочка_p$ (семантема «дикий» объединяется с семой «родство» и семантемой «Икар»).

Аналогичная модификация модели представлена в следующих примерах:

(2) ... Π на лете — *налет фиолетовый* (Пастернак);

(3) С осторожностью птицелова, я ловлю крылатое слово, а потом отпускаю на волю... (Мартынов).

В данном случае семантический контекст определяется семантико-синтаксической структурой высказывания, объединяющего паронимы, и не требует дополнительных мотивировок.

б. (4) Стремительный сплав *мечты* и *теорий*,... Ракета выходит на путь *метеоров* (Коган).

Слово-тема *метеор* членится двояко: $метеор_x \rightarrow *метеор-0$, $метеор_p \rightarrow *меч(т)- + теор-0$; при втором типе декомпозиции выделяются сегменты, квазиомонимичные корневым морфам слов-мотивов *мечта* и *теория* (чередование $ч \Pi 0$ воспринимается как допустимое).

⁵ Некоторые определения, использованные в данном разделе статьи, уточнены в результате обсуждения с С. Т. Золяном.

⁶ Этот пример анализирует и В. П. Григорьев, говоря о наличии в структуре композита «корня» и «конфиса» [2, с. 290].

Соответствие квазиморфов делает возможным переосмысление значения слова-темы: *метеор* «сплав мечты и теорий» (Заметим, что такое толкование как бы мотивируется самой моделью композиции, а именно — наложением квазиморфов).

Семантический контекст создает дополнительную мотивировку подобного переосмысления. Слова *ракета*, *стремительный*, *метеор*, *мечта*, *теория* принадлежит одному классу функционального тезауруса текста (термин М. Л. Гаспарова) (ситуация «полет в космос»). Поэтому возможно:

- а) $\begin{matrix} \text{сплаву} & \text{Г} & \text{мечта} & \text{"I} \\ & \text{L} & \text{теория} & \text{J} \end{matrix} \setminus = \text{ракета}$ и б) $\begin{matrix} \text{сплаву} & \text{Г} & \text{мечта} & \text{"1} \\ & \text{L} & \text{теория} & \text{J} \end{matrix} = \text{метеор}$.

В тексте представлена и такая смысловая корреляция: путь метеоров — мечта, теория же делает мечту реальностью.

Таким образом, расширение семантического контекста компенсирует как неполное звуковое совпадение сегментов лексем, так и отсутствие тесных синтаксических связей коррелирующих паронимов.

2. Переосмысление за счет выделения кодирующих сегментов.

(5) И вдруг дохнул *весенний ветер сонный...* (Блок)

В приведенном примере поэтическая декомпозиция как бы добавочна по отношению к общеязыковой. При ПА в корнях *весен-*, *ветер-* выделяются омонимичные сегменты *ве-*₁ и *ве-*₂, соотносимые как между собой, так и с аналогичным сегментом *ве-*₃ корня *вечн-* (ср. корреляцию *весна* — *сны Вечности* — *ветер* в стихотворении А. Блока «Я вышел, Медленно вставали...»). Так же выделяются близкие по звучанию сегменты корней *весен-* и *сон-*. При этом различие гласных в сегментах воспринимается как допустимое чередование при огласовке «консонантной свертки» *-сн-*, позволяющей опознавать сегмент в структуре лексемы.

В поэтической композиции, таким образом, будут участвовать не только корни *весен-*, *ветер-*, *сон-* но и сегмент *ее-* {*ве-*₂, *ве-*₃, *ве-*₁}, соотносимый со словами *весна*, *ветер*, *вечность*, и *-сн-* {*-сен-*, *-сон-*}, соотносимый с *весна*, *сон*:

$$\begin{aligned} \{ \text{весен-}, \text{ве-}_2, \text{ве-}_3, \text{с(о)к-} \} &\rightarrow \text{весен-}_p; \\ \{ \text{ветер-}, \text{ве-}_3, \text{е-} \} &\rightarrow \text{ветер-}_s; \\ \{ \text{сон-}, \text{-с(е)н-у} \} &\rightarrow \text{сон-}_p. \end{aligned}$$

На основе такой композиции значение слова *весенний* обогащается семантическими признаками, привносимыми смыслами слов-мотивов [*весенний* «имеющий место весной», «навевающий сны Вечности»]; значения слов *ветер*, *сонный* приобретают коннотативные компоненты. Ср. также другие примеры из стихотворений А. Блока: Там, в сумерках *весны*, неугомный зной... Из сумрака зари — неведомые лики *Вещают* жизни строй и *вечности* огни...; А голос юный Нам пел и плакал о *весне*, Как будто *ветер* тронул струны Там, в незнакомой *вышине...* и т. п.

В случае переосмысления семантической структуры слов за счет выделения кодирующих сегментов семантический контекст предельно широк и требует обращений к ассоциативно-образному полю текста.

Таким образом, при композиционном осмыслении слова мы имеем два разных набора морфов (полученных при общеязыковой и поэтической декомпозиции/композиции), а следовательно, и два набора сем, соотносимых с одной реально представленной в тексте лексемой. Благодаря «кодированию» семантики поэтически осмысленное слово обретает свой «внутренний синтаксис», мотивированный как устанавливающимися между

паронимами отношениями семантической предикции, так и соотношением общеязыкового и поэтического смыслов.

Смысл паронимического сочетания строится по законам семантического синтаксиса⁷: признаки, определяющие слово-тему и слова-мотивы, интегрируются в единый комплекс.

(6) Над *печалью* нив твоих *заплачу*... (Блок);

(7) Иглы сосен *густо* и колко *устилают* низкие пни... (Ахматова);

(8) Спасибо тебе, *стрела*, ... что ты так кругла и *остра* (Окуджава);

(9) Утро. *Туманы мутные* тянутся за моря... (Соснора).

В приведенных примерах семантема слова-мотива оказывается «включенной» в значение слова-темы, согласуясь с одноименным признаком: так, *плакать* «проливать слезы от боли, горя, *печали* и т. п.»; *устилать* «плотно (*густо*) покрывать всю поверхность»; *стрела* «заостренный тонкий стержень с узкими лопастями на конце для метания из лука»; *туман* «непрозрачный воздух, насыщенный водяными парами, а также *загрязненный* пылью, дымом, копотью и т. п.». Если смыслом определяющего слова считать набор сем (B), то смысл определяемого может быть представлен как (a → B'), где B' — согласуемый признак. Представляется, что объединение смыслов в данном случае осуществляется по операции семантического сложения, при которой происходит соединение одноименных сем конфигураций признаков: A (a → B') + B (B) ⇒ C (a → B). Иными словами, в семантической структуре сочетания ощутимо различаются два ядра, образующие конфигурацию.

Несколько иным образом осуществляется семантическая интеграция паронимов, представленная в следующих примерах:

(10) *Слетает лист* кленовый... (Самойлов);

(11) ... Нежно *теплится* детское *тело* (Тарковский).

В данном случае представляется возможным говорить о включении и семантических компонентов в исходную структуру, т. к. конфигурация значения определяемого слова предполагает позиции «переходящих» признаков, а в результате объединения смыслов при согласовании сем одноименных позиций образуется новая конфигурация, в значительной мере повторяющая исходную: A (a → <B') + B (B → <a') = C (a, B → <c>), где <c> — область резонанса «переходящих» признаков. Семантическая структура такого сочетания представляет собой пучок семантем, образующих конфигурацию с акцентуруемыми «переходящими» признаками.

Аналогично может быть описана семантическая структура паронимических соответствий, компоненты которых не принадлежат объективно одной семантической системе (однако при поэтической композиции такая система может быть найдена):

(12) И *пень* оставяло *пену* В ложбине каждого двора (Пастернак), ср.: *Ленится пень*. *Пьянит* толпу... (Маяковский);

(13) Все в елочках, *горбятся* горы (Мартынов).

Переходу от предметного значения к значению метафорическому соответствует операция семантического умножения, при которой «значение сопряженного текста как бы компенсирует исключение некоторых сем из результирующей конфигурации ... и незаполнение некоторых позиций при дальнейшем развертывании полученной конфигурации» [12]. В смысле

⁷ В этой части исследования мы опираемся на положения семантической теории У. Вейнрейха [11]. В соответствии с этим используются термины «переходящие признаки» (<c>), «пучок» (неупорядоченное множество: a, B) и «конфигурация» (упорядоченное множество: a → B) семантических признаков.

паронимического сочетания открывается конфигуративная валентность, подразумевающая включение «переходящих» признаков, которые задаются смыслами ключевых слов текста. Это можно продемонстрировать следующими примерами:

(14) Твоя стезя, *гривастая кривая*, Не предугадана календарем!
(Цветаева).

Смысл сочетания может быть представлен следующим образом: $A(a \rightarrow \wedge \langle c \rangle - B(B \rightarrow \langle c \rangle) \Rightarrow C(d(\rightarrow a \rightarrow B) \rightarrow \langle c' \rangle)$, где (d) «комета», $\langle c' \rangle$ «непредсказуемость» (ср. дальше в тексте: *ибо путь комет — поэтов путь...*).

(15) *Липы спиленные* стонут по Садовому кольцу (Вознесенский).

Предметный смысл сочетания трансформируется в метафорический, который может быть представлен как $C(a, B \rightarrow \langle c \rangle \rightarrow \langle d' \rangle)$, где $\langle d' \rangle$ «боль» — сема, согласуемая с семантемой (d) «стонать».

Нетрудно заметить, что значение слова-темы, подвергаясь семантическому стяжению [13], «вбирает» в себя признаки всех определяющих его слов-мотивов и оформляется как предикативное единство, что можно отразить в формуле: $A(a) - B(b) - C(c) \Rightarrow A(a \rightarrow b \rightarrow c)$. Это обстоятельство, равно как и то, что «слово как экспрессема — это, несомненно, своеобразная аббревиатура высказываний, а слово как экспрессоид неотделимо от высказывания, в котором оно «функционирует» [2, с. 143], позволяет поставить вопрос о соотношении семантической структуры высказывания и слова-паронима как его компонента. В этой связи для нас важным представляется утверждение У. Вейнрейха о том, что отношения между компонентами смысла слова аналогичны отношениям, возникающим в предложении [11, с. 132]⁸.

Рассмотренные в рамках единой конструкции, паронимы связаны отношениями взаимной характеристики⁹. На этом основывается эффект возникновения у слова-темы пропозициональных коннотаций, раскрывающихся через семантику коррелирующих с ним слов-мотивов. Опорный компонент паронимической парадигмы представляет собой своего рода «номинализацию» — номинативный эквивалент включающего его синтаксического целого:

(16) *Листочки*. После *строчек лис — точки* (Маяковский);

(17) *Искусство — икс*, не найденный, *искомый* (Соснора).

В последнем примере в семантической структуре слова *искусство* помимо основного компонента «творческое отражение, воспроизведение действительности в художественных образах» представлены компоненты «неизвестная величина», «стараться найти, обнаружить» и «стремиться к новому, неизвестному», кодируемые соответствующими квазиморфами. Это позволяет говорить об ее аналогии логико-семантической структуре высказывания (например, *Искусство такое, что, открывая неизвестное, творит новый мир*). Тем самым можно предположить, что паронимической парадигме может быть поставлена в соответствие некоторая многомерная пропозиция, а каждый пароним возможно рассматривать как пропозициональный компонент, смысловую единицу, способную самостоятельно составить высказывание о том или ином аспекте обозначаемого «положения дел».

⁸ Приведенное положение У. Вейнрейха представляется возможным распространить в данном случае и на высказывание, так как в поэтическом языке оппозиция «язык/речь» в значительной мере редуцируется.

⁹ Об аналогии фонологической эквивалентности и отношений предикации пишет, в частности, Ж. Коэн [14].

Наибольший интерес представляют паронимические соответствия, включенные в полипропозитивные высказывания, а следовательно, обозначающие несколько взаимосвязанных «положений дел».

(18) Я *молю*, как *жалости* и *милости*, Франция, твоей земли и *жимолости* (Мандельштам).

«Паронимически оформленному» высказыванию соответствуют следующие пропозиции, имеющие однотипную логико-семантическую структуру:

Prop' Я молю земли и жимолости Франции.
Propa Молят о жалости и милости.

Обычно объектная валентность при предикате *молить* заполняется лексическими единицами, принадлежащими семантическому полю с инвариантом «ответное действие, связанное с каким-либо чувством» (*милость*, *жалость*, *пощада*, *прощение*, *любовь* и т. д.). В тексте эта валентность заполняется словом *жимолость*, которому принадлежит к тому же семантическому полю как бы «приписывается». При поэтической декомпозиции слова-темы выделяется квазиморф, омонимичный суффиксальной морфеме *-ость*, а также консонантный сегмент *-жмл-*, соотносящийся с сегментами *-жл-* и *-мл-* — кодами смыслов слов-мотивов; это и позволяет отнести паронимы к одному семантическому классу функционального тезауруса. Кроме того, соотнесенность корневого морфа глагола *молить* и омонимичного квазиморфа слова-темы *жимолость* «проецирует» семантическую характеристику предиката на объект (т. е. «внутренний синтаксис» семантемы «жимолость» становится изоморфным синтаксической структуре P—Obj).

В результате вычлняются следующие пропозиции:

Prop' Жимолость подобна жалости и милости.
Prop" Франция: земля и жимолость.
Prop"' Франция — живое существо, способное на ответное чувство.

Тем самым Prop₄ представляет собой своего рода «свертку» Prop' — Prop"' . «Образность» слова-темы находит поддержку в семантической структуре текста.

(19) Слово — голосу — в *голосе* рокот волн, *говор леса* и птичий высвист (Межелайтис, перевод Вл. Корнилова).

В первой части высказывания (*Слово голосу*) находит свое выражение тема анализируемого текста — инвариант множества семантических преобразований, заданных соотношением признаков «звучащая речь» и «возможность выразить себя». Дальнейшему развитию темы соответствует множество пропозиций, приписываемых второй части высказывания (*В голосе рокот волн, говор леса и птичий высвист*):

Prop₁ Голос есть рокот волн.
Prop₂ Голос есть говор леса.
Prop₃ Голос есть птичий высвист.

В тексте представлены основные классы функционального тезауруса: «мир человека» (*голос, слово*) — «мир природы» (*говор леса, рокот волн, птичий высвист*), входящие в общий класс «Вселенная». Можно предположить, что в основе семантической структуры этой части высказывания лежит оппозиция «общий язык природы»/«особый язык», полученная в результате семантического развития темы текста.

¹⁰ В данном случае значима и корреляция *земля* — *жимолость*, вторичная по отношению к основной паронимической парадигме: соотношение консонантных сегментов *-жмл-/-жл-* может соответствовать ассоциации «тело» и «душа» Франции.

Основной набор признаков, определяющих развитие темы, как представляется, отражен в семантической структуре паронимически организованной синтагмы *В голосе — говор леса*. Соотносимые квазиморффы [*голоср* → *го-л(о)с*, *говорр* → *"го-вор*, *лес*, → *л(е)с*] при композиционном осмыслении взаимодействующих слов передают признаки «язык», «звучащая речь», «манера», «природное». В результате семантических трансформаций формируются значения «всеобщий язык природы», «манера речи», «речь человека», «особая речь природных явлений», соотносимые с лексемой *голос*. В семантическом контексте, уже созданном ПА, переосмысливаются и значения слов *рокот* и *высвист* (акцентируется признак «особенность речи», а также приписывается смысл «звучащая речь, имитирующая человеческую»).

Особенности семантической структуры анализируемого высказывания позволяют говорить о выделении еще одной пропозиции, «свертка» которой соответствует слову-теме *голос*:

Ргор' Голос есть всеобщий язык природы, в единстве многообразия его проявлений.

Таким образом, анализ показывает, что семантико-синтаксическая структура высказывания, объединяющего паронимы, и семантическая структура слова-темы характеризуются изоморфностью.

Основываясь на том, что «текст выступает как своего рода порождающая грамматика, которая из заданного набора смысловых единиц („алфавита“), порождает „язык“» [15, с. 92], можно рассматривать ПА как компонент такого рода грамматики. Основу паронимического взаимодействия составляет «морфикон» — семантический словарь, в котором различаются «имена» и «предикаты» (квазиморфы слова-темы и слов-мотивов); заданная соотносительность квазиморфов определяет и правила семантического, а точнее — «фоно-семантического» синтаксиса¹¹. «Снятие» предикативных связей исходной поэтико-синтаксической конструкции, объединяющей паронимы и мотивирующей их значение, компенсируется «внутрисловным синтаксисом»: значение слова, участвующего в ПА, предстает как предикативное единство, которому соответствует определенная пропозициональная структура, а само это слово оказывается изоморфным не только семантической структуре текста, но и самому «положению дел», составляющему его объективное содержание.

Можно предположить, что слову-теме соответствует некоторая свернутая пропозиция (пропозиция-образ)¹², а словам-мотивам — отдельные пропозиции, ее расширяющие. Многомерность пропозициональной структуры объясняется тем, что образ представляет собой претендующее на новизну и истинность специфическое высказывание относительно некоего денотата, которым может быть «как в целом „весь мир“, так и его „бесконечно малые“...», как общий „смысл жизни“, так и частные „проявления жизни“...» [18]. Образная пропозиция, фиксирующая скрытые связи функционального тезауруса и связывающая воедино конкретно-предметный и общесмысловой уровни структуры текста, открывает путь к познанию поэтического мира: «пропозициональная семантика оказывается поверхностной структурой относительно глубинного поэтического смысла» [15, с. 56].

¹¹ Ср. рассуждения об особом «фоническом» синтаксисе в работах Ж. Коэна [14], М. Гюте [8], Р. Якобсона [16].

¹² «Образность» определяется самим принципом кодирования семантической информации, при котором «благодаря общему звуку смысл одного слова присутствует в другом и, незамысловатый, становится изображенным» [17].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Григорьев В. П. Паронимическая аттракция в русской поэзии XX в. // Сб. докладов и сообщений Лингвистического об-ва. Т. 5. Калинин, 1975.
2. Григорьев В. П. Поэтика слова. М., 1979.
3. Кожевникова Н.А. Об одном приеме звуковой организации текста// Проблемы структурной лингвистики. 1980. М., 1982.
4. Кожевникова Н. А. О звуковой организации прозы А. Белого // Проблемы структурной лингвистики. 1981. М., 1983.
5. Литвин Ф. А. Многозначность на предлексемном уровне и функционирование слова в речи // Проблемы лексической и грамматической семантики. Владимир, 1975.
6. Лотман Ю. М. О соотношении звуковых и смысловых жестов в поэтическом тексте // Труды по знаковым системам. 11. Тарту, 1979.
7. Valesio P. Paronomasia and articulation of phonological rules // Proc. of the XI Intern. congress of linguists. Bologna; Milano, 1974.
8. Gauthier M. Les equations du langage poetique. Lille, 1973.
9. Guiraud P. Structures etymologiques du lexique francais. Langue et langage. P., 1967.
10. Lord R. A new concept in structural semantics. The homoneme//Actes du X-e Congres International des linguistes. V. II. Bucarest, 1970.
11. Вейнрейх У. Опыт семантической теории//Новое в зарубежной лингвистике. Вып. X. Лингвистическая семантика. М., 1981.
12. Леконцева М. И. Лингвистический аспект метафоры и структура семантического компонента // Tekst. Język. Poetyka. Wrocław, 1978. S. 160.
13. Шмелев Д. Н. Современный русский язык. Лексика. М., 1977. С. 22.
14. Cohen J. Structure du langage poetique. P., 1966. P. 220.
15. Золян С. Т. О соотношении языкового и поэтического смыслов. Ереван, 1985.
16. Jakobson R. Language in operation // Jakobson R. Selected writings. V. 3. The Hague; Paris; New York, 1981.
17. Невзглядова Е. В. О звукосмысловых связях в поэзии // ФН. 1968. № 4. С. 32.
18. Григорьев В. П. Слово — образ — денотат: К проблеме перифразы // Н. А. Некрасов и русская литература: Тез. докл. и сообщ. межвуз. конф. Кострома, 1971. С. 124.

© 1990 г.

ПОДОЛЬСКАЯ Н.В.

ПРОБЛЕМЫ ОНОМАСТИЧЕСКОГО СЛОВООБРАЗОВАНИЯ

(К ПОСТАНОВКЕ ВОПРОСА)

Ономастическое словообразование следует рассматривать как частную систему ономастической грамматики, наряду и в связи с морфологией имен собственных (ИС) и их синтаксисом. Тем самым в исследовании ономастической грамматики словообразование должно составить особый раздел. Поэтому необходимо хотя бы в самых общих чертах представить ономастическую грамматику и целесообразность ее создания как исследования специфики грамматических способов оформления и изменения ИС в отличие от апеллятивной лексики.

Термин «грамматика топониматики» появился в русской научной литературе в 1962 г. в известной статье В. Н. Топорова, где, в частности, сказано: «Косвенным свидетельством того, что совокупности местных и личных названий имеют тенденцию к осуществлению некоторой программы, определяемой системой, может служить хорошо известное обстоятельство выработки самостоятельной грамматики топониматических элементов, хотя бы отчасти независимой от грамматики данного языка, или по крайней мере отбора вполне определенных категорий и форм из нетопониматической грамматики» [1] (разрядка наша.— П. Н.).

Прошло более 25 лет со времени, когда В. Н. Топоровым была высказана эта мысль, однако ономастическая грамматика не создана ни для одного из славянских языков. Задача в настоящее время заключается именно в том, чтобы выявить грамматические элементы, категории, процессы, независимые от грамматики данного языка, присущие только онимической лексике. Специалистами написаны многие частные исследования, в которых анализируются различные вопросы, имеющие отношение к грамматике ономастики, на материале разных славянских языков, и в том числе — восточнославянских (см. основные работы по восточнославянскому ономастическому словообразованию за 1960—1980-е годы [2—62]). Эти работы, однако, должны быть объединены и осмыслены как части целого, а некоторые грамматические категории, вероятно, потребуют специального дополнительного исследования при создании ономастической грамматики.

Если говорить о грамматических способах ономообразования или процессах, происходящих при образовании имен в восточнославянской ономастике, то это — аффиксация, к ней примыкают плюрализация и сингуляризация (где изменение флексии равноценно суффиксации), а также сложение, соположение, повторы и редупликации, изменение ударения, образование ИС-словосочетаний, эллипсис синтаксических конструкций, превращение словосочетаний в однословное ИС, усечение, аббревиация. Каждый из этих процессов в ономастике может протекать самостоятельно или в сочетании с другими. Все эти способы ономообразования актуаль-

ны в каждом из восточнославянских языков, а в соответствующих исследованиях используются одни и те же понятия, что благоприятно для сопоставительного изучения.

Иные понятия словообразования в ономастике также сходны в этих языках, но некоторые из них отличаются от понятий словообразования имен нарицательных (ИН). Такие понятия, как словообразовательный тип, продуктивность, мотивация, словообразовательная основа и формант, суффикс, основосложение, идентичны для ИС и ИН [63, с. 35]. Представляют различия словообразовательная категория и значение, практически не реализуется частеречный принцип, так как ИС всегда субстантив. Часть речи мотивирующего апеллятива важна, но не в той степени, как в ИН. При словообразовательном анализе ИС важно знать, что является его стержнем: именная или глагольная части. Субстантивация глагольных форм в ИС превращает глагол в склоняемый субстантив (см. об этом ниже). Для ИС актуальна и «общая семантическая или вещественная категория, фиксирующая тематическую отнесенность вновь образованного слова, его грамматическую, стилистическую и другую характеристику» [63, с. 38], но эта семантическая или вещественная категория у ИС иная, чем у ИН.

Казалось бы, состав грамматики ономастики, ее частные системы, ее способы образования имен ничем не отличаются от общей грамматики данного языка/языков. Однако ИС (они́мы), которые строятся из тех же «кирпичиков», что и слова нарицательной лексики, структурно могут представлять совсем иные «здания», невозможные в нарицательной лексике, ср. такие примеры, как: топонимы *Дубское, Поддубин, Перемышль, Перебегля, Покидино, Проважа, Прогора, Рассоховец, Сутиска, Сможанка, Супрасль, Зборск, Межитджи, Подсоска*; антропонимы *Збоица, Прибычьсть, Белова*; зоонимы *Града, Слатьн*.

Создание ономастической грамматики перспективно как для русского языка, так и для каждого из восточнославянских языков и, возможно, для всех трех языков этой ветви вместе. В связи с этим, вероятно, пришло время определить главные проблемы ономастического словообразования, его специфику, степень его независимости/зависимости от словообразования ИН. Эти проблемы в их совокупности и системности не привлекали в должной мере внимания исследователей. Сейчас поставлен вопрос о сопоставительном изучении словообразования славянских языков [64]. Он также актуален для ономообразования.

Обращаясь специально к ономастическому словообразованию, важно знать, нашло ли оно свое место в грамматике русского языка и как оно в ней представлено. Русская грамматика 1980 г. (далее — Гр.-80) [65] в разделе «Словообразование» в ряде параграфов дает ономастический материал, это — большей частью топонимы, однако это те ИС, которые «внешне» укладываются в рамки словообразования нарицательной лексики. Они созданы по моделям, аналогичным ИН, но при этом представляют в словообразовательном и семантическом отношении специфически ономастические единицы¹. Несколько примеров из Гр.-80 [65] — существительные с преф. *пред-*: *предыстория, предплюсна, предромантизм* и др. ИН, а также топоним *Предальни*; впрочем, подача этого имени географического (ИГ) *pluralia tantum* в категории существительных ед. ч. некорректна [65, с. 229]; существительные с преф. за-и.суф. *-је-*: *запльче, замостье, запечье* и др. ИН, а также ИС *Заволжье, Зауралье, Забайкалье* [65, с. 232]; нарицательные существительные, образованные путем сложе-

¹ О «словообразовательной неповторимости» ИС см. [42, с. 12–13].

ния с глаголом в препозиции: *перекапи-поле, горицвет, гуляй-город*, а также ИС нас. пункта *Гуляй-поле*, фамилии *Неразлейвода, Разбейлоб* [65, с. 243]. Некоторые типы словообразования признаются как собственно топонимические, например [65, § 464]: *Балтийск, Медногорск* и др.; *Заполье, Приполье* [65, § 533]. Из приведенных в Гр.-80 префиксальных, суффиксальных, конфиксальных, композитных и др. моделей нарицательной лексики не каждая имеет параллельные примеры, в которых мотивирующим служит топоним или иное ИС. Так, в ряде конфиксальных моделей с префиксом *по-* топонимический материал дан только с суф. *-/, а с суф. -к(а), -ок, -ин(а), -овщин(а)* таких имен нет, хотя они многочисленны в русской топонимии. Это наблюдение отнюдь не является упреком авторам соответствующего раздела грамматики, а лишь показывает, насколько ономастический материал не представлялся ценным и интересным для общих грамматических проблем.

Мы рассматриваем онимическую лексику как неотъемлемую часть, как подсистему лексики любого естественного языка. Основная масса ИС по своему происхождению принадлежит к естественному языку и лишь некоторая их часть — результат искусственного создания. Такие искусственно созданные имена имеются в любой категории онимов (более всего в астрономии, хрестомонимии, зоонимии, где они могут даже создавать свои системы). В них онимообразование идет часто по своим особым моделям, что не является предметом анализа в данной статье.

Однако словообразование (и семантика) искусственно созданных ИС вызывает сейчас особый интерес и озабоченность не только у специалистов. Создание искусственных ИС для именованья человека, для вновь открытых или произведенных человеком объектов, а также при переименованиях требует ответственного внимания лингвистов, дабы в русской языковой практике не возникали «монстры», подобные личным именам *Лагимеара* (аббревиатура «Лагерь Шмидта в Арктике»), *Магнита, Энергий, Аэит, Аврор, Донателла, Орджоника* и т. п., или такие топонимы, как нас. пункт *Коммунальная*, пос. *Завгты Ильича*, нас. пункт *Восход Пролетариата*, ул. *Веселая*, ул. *Мопра*, ул. *26 Бакинских комиссаров*. Одни из них хороши своей искаженной структурой, изменением рода при живых связях со словами и именами, их породившими: *магнит* и женское имя личное (ИЛ) *Магнита*, богиня *Аврора* и мужское ИЛ *Аврор, Орджоникидзе* и ИЛ нежной девушки *Орджоника* (как бы оно ни рифмовалось с *Вероникой*); другие — своими недобрыми ассоциациями с коммунальной квартирой; с учреждением, которое было уничтожено; третьи — неудобством при функционировании; четвертые тем, что вызывают вопрос: почему именно этот поселок создан по заветам Ильича?

Когда мы говорим об ономастической системе, особенно топонимической, то имеем в виду систему локализованную, территориально приуроченную, не касаясь вопроса о языке, так как любая ономастическая система включает разноязычные имена и весьма часто имеет субстрат. Когда же мы говорим об ономастическом словообразовании, то с необходимостью исходим прежде всего не из территориальной, а из языковой принадлежности, учитывая при этом, что локальные, диалектные особенности в онимообразовании, безусловно, существуют. В каждый исторический период на данной территории преобладающим бывает, как правило, один язык (или один диалект), реже два — конкурирующих. Ономастическое словообразование есть подсистема в системе словообразования преобладающего языка диалекта.

В ономастике имена редко переводятся; заимствованные имена, как

правило, адаптируются, и не только фонетической, но и словообразовательной системой языка или диалекта, в которую они проникают. Словообразовательная ономастическая система «подгоняет» чужие имена под определенные модели, и они начинают со временем склоняться по образцу склонения ИС соответствующей модели.

В славянских языках возникновение собственных имен происходило и происходит благодаря трем основным процессам: онимизации апеллятива, трансонимизации ИС (т. е. переходу ИС из одного онимического поля в другое) и заимствованию иноязычных имен (сюда относится прямое заимствование, калькирование и гибридизация, в результате которой возникает ИС-гибрид, состоящее из элементов двух и более языков).

В настоящей статье мы рассматриваем только онимизацию и трансонимизацию. Во всех славянских языках как онимизация апеллятива, так и трансонимизация могут быть разделены на грамматическую и семантическую. Такое разграничение нуждается в оговорке в связи с тем, что всякая онимизация апеллятива уже заключает в себе изменение его семантики, которое связано с изменением статуса ИН на статус ИС, с переходом в другую систему. Таким образом, грамматическая онимизация сопровождается семасиологическим процессом.

Но если подходить к процессу онимизации с точки зрения изменения/неизменения самой структуры апеллятива, формальных его показателей, то это позволяет провести разграничение грамматической и семантической онимизации, определив первую как такой процесс, когда на базе апеллятива или апеллятивной основы образуется ИС с помощью служебных морфем, сложения корневых морфем или синтаксических средств, а вторую — как процесс, происходящий без формальных (материальных) изменений структуры апеллятива. ИН в обоих случаях остается в своей лексической системе, а на его базе возникает новое ИС, которое встает в свой ономастический ряд и подвергается изменениям по собственно ономастическим правилам. Если онимизации подвергается производное ИН, то в ИС происходит переосмысление его словообразовательных средств.

Семантическая онимизация, по нашему мнению, не относится к категории словообразовательных процессов, хотя и существует понятие семантического словообразования. Это лексико-семантический способ образования ИС, так же, как и в нарицательной лексике. Семантическое ономообразование — достаточно часто происходящий в славянских языках процесс. ИС, возникающее в результате его действия, может в дальнейшем подвергаться развитию, изменению, а может остаться омонимичным ИН, из которого оно образовалось. Это касается как однословных имен, так и имен-словосочетаний. Семантическая онимизация может быть простой, метафорической и метонимической. Мы лишь кратко охарактеризуем эти три вида семантической онимизации не потому, что считаем ее мало значимой для ономастики, а потому, что не относим ее к ономастическому словообразованию.

Простой семантической онимизацией апеллятива можно назвать те случаи, когда ИС, возникшее из ИН без деривации, отражает природные свойства именуемого объекта в момент номинации и сохраняет семантику апеллятива лишь до известной степени, например, исторические антропонимы *Глухой*, *Бритой*, *Губан*, *Крикун*. При современном образовании антропонимов простая семантическая онимизация встречается в прозвищах: *Жирный*, *Разиня*; в псевдонимах: *Крестьянин* (поэт из народа). В топонимии: урочище *Верх*, р. *Черная*, р. *Ржава*, долина *Глубокий яр*.

Метафорическая онимизация происходит на основе действительного или кажущегося сходства именуемого объекта или субъекта с другим объектом: гора *Венец*, скала *Кобылы Ребра*; созвездия *Дева*, *Рыба*, астеризм *Гусь*; прозвища людей: *Доска*, *Утюг*; кличка кошки *Горностай*.

Метонимическая онимизация — это процесс перенесения имени с одного объекта на другой на основании смысловой ассоциации по смежности, например, озера и реки, названные по растительности на их берегах: р. *Березовая*, оз. *Мох*, р. *Роцца*, р. *Калина*, р. *Суходрёв*.

Одним из постоянно действующих процессов, сопровождающих семантическую онимизацию, является субстантивация. Субстантивацию называют также несобственной деривацией, конверсией. «Конверсия есть такой вид словообразования (словопроизводства), при котором словообразовательным средством служит только парадигма слова» [66]. При переводе ИН из одной части речи в другую в момент образования ИС также соответственно меняется парадигма склонения (а у имен с глагольной основой она появляется), но одновременное этим происходит и то основное изменение, которое и называется онимизацией, т. е. слово становится не только субстантивом, но и именем собственным. И это главное отличие от субстантивации (конверсии) в ИН.

Поскольку ИС могут образовываться из слов любых частей речи, и в том числе — глаголов, то субстантивируются и глагольные формы, ср., например, ст.-русск. антропонимы *Пользай*, *Погадай*, *Полетай*, *Постой*, *Потеряй*. Некоторые имена от глагольных основ образовывались по готовой модели на *-ай*: *Полежай* (вм. *Полежи*) или по модели на *-ей*: *Поглядй* (вм. *Погляди*). Эти модели могли поддерживаться и антропонимными финалями *-ай*, *-ей*, ср.: *Минай*, *Фадей*. Из таких имен позднее, через патронимы, образовались такие фамилии, как *Полежаев*, *Полетаев* и др. Известны и зоонимы от глагольных основ в форме императива: *Ругай*, *Угадай*, команда *Стоп* (клички собак). Эти девербативы начинают склоняться как существительные: у *Полезая*, к *Угадаю* и т. п. Интересны наблюдения Ю. С. Азарх [3] над социальной принадлежностью ст.-русск. антропонимов на *-ай*, которые были характерны для холопов, крестьян, ремесленников, служилых людей. Субстантивация глагольных форм (кроме причастий) в нарицательной лексике отсутствует.

В результате семантической онимизации возникают ИС, омонимичные ИН. Наличие в ономастической системе имен, омонимичных апеллиативам, требует отрицания собственно ономастического словообразования от апеллиативного, так как онимизации подвергаются не только имена простой структуры, но и имена деривативного образования, например, *бородка* → антропоним *Бородка*, *овражек* → топоним *Вражек* (здесь деривация прошла на апеллиативной стадии). Но в ряде случаев — это вопрос спорный: например, как следует рассматривать словообразование в гидронимах *Свитка*, *Сьединка*, *Смерка* или в антропонимах *Срыбка*, *Слиток* — как апеллиативное или как проприальное? Таких случаев в восточнославянской онимии значительное число. Некоторые спорные случаи могут быть разрешены при выяснении словообразовательной мотивации.

Однако в онимической лексике преобладает множественность словообразовательных мотиваций. Это касается даже тех ИС, где, казалось бы, имеется ясная внутренняя форма, например, д. *Неверовка*: 1) от фамилии или прозвания *Неверов* + топонимобразующий формант *-к(а)*; 2) от именованной жителей деревни, которых могли считать неверующими; топоним образован по модели на *-к(а)* или *-овк(а)*; 3) от названия р. *Невер*. Трудно предложить еще вариант мотивации, но тем не менее каждая из предло-

женных — гипотетична. Мотивация словообразования такого рода онимов может быть определенной только при наличии документального подтверждения, например, связи названия деревни с фамилией *Неверов* как фамилией ее владельца или того, что деревня *Неверовка* стоит на р. *Невер* (название не славянского происхождения).

К ономатическому словообразованию относится только часть процессов грамматической онимизации. Терминологически мы разграничиваем названия этих процессов и их результаты: суффиксация и суффиксальное ИС; конфиксация и конфиксальное ИС; префиксация и префиксальное ИС; плюрализация и ИС-pluralia tantum; сложные и ИС-композиита; соположение и ИС-юкстапозита; аббревиация и аббревированное ИС; усечение и усеченное ИС; эллипсирование и имя-эллипсис. Эти процессы перечислены в порядке, соответствующем частотности их действия в настоящий период в восточнославянской ономастике, хотя следует учитывать, что в различных категориях ИС в различные хронологические периоды интенсивность этих процессов могла меняться. Более того, если подходить к словообразованию с точки зрения эволюции его средств, то последовательность рассмотрения основных процессов словообразования должна быть иной: соположение — сложение — аффиксация. Соположению предшествует семантическая онимизация апеллятива, которая эволюционно может считаться самым ранним и простейшим способом образования ИС из ИН. Соположение является первым звеном в цепи грамматической онимизации, это звено — переходное от семантической онимизации к грамматической, так как в именах-юкстапозита мы наблюдаем первые мелкие формальные изменения апеллятивного словосочетания.

Рассмотрим теперь специфику каждого из процессов ономастического словообразования (онимообразования), предпослав этому следующее замечание. Считается, что строго проводимый словообразовательный анализ не должен подменяться морфологическим, однако для того, чтобы результаты словообразовательного анализа в восточнославянской ономастике были верны, ему должен предшествовать или сопутствовать морфологический анализ. Установление подлинно мотивирующей основы возможно факультативно, когда имеется внелингвистическая информация, в том числе контекст карты. Конечно, на основании аналогий процент установления мотивации повышается. В антропонимии, особенно исторической, он более высок по сравнению с топонимией. В этом отношении положение в западнославянской ономастике несколько иное, чем в восточнославянской, не только потому, что в Чехословакии и Польше широко проведен сбор полевого топонимического материала, но и вследствие того, что во многих сельских местностях, особенно в Чехословакии и частично в Польше, систематически велись записи истории поселений.

Аффиксация в онимообразовании — способ, в результате которого возникают имена, наиболее трудные для словообразовательного анализа, так как во многих случаях исследователю не ясна производящая основа (в отличие от ИН). Поэтому к суффиксальным, префиксальным и конфиксальным именам приходится применять первоначально морфологический анализ и лишь после него — словообразовательный. Так, например, на основании морфологического членения к конфиксальной модели с преф. *под-* и суф. *-ок* могут быть отнесены топонимы: *Поддубок*, *Подлесок*, *Подмоток*, *Подносок*, *Подборок*. При словообразовательном анализе тех же топонимов устанавливается, что топоним *Подлесок* образован на апеллятивной стадии и подвергся лишь семантической онимизации, став омонимом ИН *подлесок* «мелкий лес по краю крупного». Остальные топонимы

могут быть рассмотрены различно: или как сращения предлога с именем — *Под дубок, Под мошок, Под борок, Под носок* (аккузатив вместо локатива!), где предлог *под* преобразован в преф. *под-*, и в этом случае они могут считаться префиксальными образованиями; или, почти с равным основанием, их можно считать образованными с помощью префикса и суффикса. Так, географический термин «нос», который служит производящей основой топонима *Подносок*, не может на апеллятивной стадии иметь суф. *-ок*: форма *Носок* появляется только в топонимах [67]. Другие имена имеют параллели в модели женского рода, где их конфиксальное образование несомненно, ср.: *Под-дуб-ка, Под-бор-ка, Под-жаб-ка*, что дает основание считать как суф. *-к(а)*, так и суф. *-ок* топонимобразующими. Но возможно также, что обе группы топонимов образованы по типовым моделям, имеющимся в языке.

Из трех видов аффиксации: суффиксации, префиксации и конфиксации — в восточнославянской ономастике суффиксацию следует признать наиболее продуктивным способом образования, а суффиксальные модели — наиболее частотными.

Плюрализация — это живой продуктивный способ словообразования ИС, известный во многих европейских языках, его называют также флективной деривацией, так как флексия мн. числа служит здесь аффиксальной морфемой. Имена *pluralia tantum* имеются почти во всех категориях ИС. С. М. Толстая определяет плюрализацию как лексикализацию словоформы. Им. мн. (в случае фамилий на *-ых*: *Черных, Крученых* лексикализуется форма Род. мн.) [51]. В этой же работе приведены интересные примеры народных названий праздников (геортонимов) в плюральной форме: *Коляды, Радовцы, Хресты, Водохрица* и др.

В антропонимии имена *pluralia tantum* редки и относятся главным образом к прозвищным именованиям, ср.: *Игнат Великие Лапти* (1495), *Семен Давидович Данилов Короткие Ноги* (XV в.). В прошлом имя княжеской линии *Изяславичи, Ольговичи* и имя рода *Годуновы, Карамзины* имели форму *pluralia tantum*. Наиболее продуктивен этот способ словообразования в топонимах украинских, белорусских, несколько менее частотен в русских; разнообразны и модели, по которым образуются топонимы, ср.: *Вязы, Подвязы, Гаравья, Вербь, Глухи, Кадницы, Княжичи, Машкй-Балбты, Мертвые Воды, Долины за Ужином*. Часто такие топонимы возникают в результате процесса расподобления ИН в ед. числе и ИС, созданного на его основе. Реальная множественность объектов находит отражение в названиях горных хребтов, архипелагов, несомненно — в названиях государств со словом *штаты*. Процесс плюрализации в ИС более формализован и более активен по сравнению с ИН.

Сложение в ономастике имеет длительную историю и свои традиционные модели, отличные от апеллятивных по сочетаемости основ и по истории их создания. Уже в санскрите были известны композитные личные имена. Они классифицированы в работе Вяч. Вс. Иванова и В. Н. Топорова [68] и составляют пять групп. Нам удалось найти славянские аналоги в каждой из этих групп и тем самым показать преемственность в образовании композитных личных имен, хотя эта преемственность и не была непосредственной. Приведем примеры лишь двух групп. 1. Именная основа + именная основа: *Asva-pati* «хозяин лошадей», ср. слав. имя *Домагость*, которое может быть интерпретировано как «гость дома», ср. **db-magostb*. 2. Числительное + имя: *Catur-asva* букв. «четырелошадный», т. е. «имеющий четырех лошадей», ср. русские нестандартные фамилии,

возникшие из прозвищ: *Одноконь* «имеющий одного коня» или *Семиженов* «имеющий семь жен» (остальные группы см. [39]).

Для ранней славянской антропонимии, как известно, композитные образования были очень характерны; они остались частотными у южных и западных славян и в настоящее время. В восточнославянской антропонимии композитные ИЛ единичны, они сохранились отчасти в фамилиях, в украинских прозвищах. В настоящее время у восточных славян многочисленные композиты встречаются в топонимии. Топонимическая система как более молодая по сравнению с антропонимической восприняла сложение, и оно стало для нее продуктивным способом словообразования. Среди праславянских имен известны лишь единичные топонимы-композита, например, **beloveza*, **утокигъ* [69], а в современной топонимии их десятки тысяч. Однако новейшие из них, типа *Зеленоград*, *Птицеград*, хотя структурно сходны, например, с древними *Староградъ*, *Бьлоозеро*, но, в отличие от своих топонимических прообразов, были образованы не на синтаксическом, а на морфологическом уровне (они никогда не были словосочетаниями **Зеленый город*, **Птичий город*, в то время как *Новь городъ*, *Новь тѣрѣжъ* возникли как словосочетания).

Для выяснения специфики сложения в топонимии следует разграничить а) сложения, возникшие на апеллятивной стадии, например, с. *Дровосеки*, д. *Косогор*; б) сложения, возникшие на антропонимной стадии, например, *Доброславль*, *Милонезъ*; в) сложения, возникшие в топонимии, например, *Новосиль*, *Сухолом*, *Кривоточка*, *Краснодуб*, *Пустолесов*.

Формально сложное слово, или композита, в нарицательной лексике не отличается от сложных ИС, если не считать, что в ономастике в сложение входят иные основы в иной их комбинации. Однако если для ИН-сложных слов характерно «...соединительное значение, сводящееся к объединению значений, составляющих сложную основу мотивирующих основ в одно целостное сложное значение» [65, с. 139], то в композитных ИС значение целого не равно сумме значений их основ. Эта неравнозначность сумме значений компонентов происходит из-за десемантизации: «Если компоненты сложных названий рассматривать как значимые, семантика их налицо. Десемантизация происходит не в момент образования топонима и не в момент онимизации апеллятива, а в процессе употребления, как следствие этой онимизации, как воздействие системы имен» [48, с. 102]. Антропонимы-композита в зависимости от своего «возраста» в разной мере сохраняют мотивировку сочетания основ: чем старше антропоним, тем менее ясна мотивировка, например, *Домажирь*, *Добровить*, *Вошмеръ*. В топонимах, мотивированность более ощутима, например, г. *Новоторгъ*, г. *Стародубъ*.

Соположение, или несобственное сложение,— способ, сейчас малопродуктивный в ономастике. Имена-юкстапозита тождественны по морфемному составу тем словосочетаниям, из которых они возникли, хотя в них может иногда в процессе функционирования добавляться флексия и даже суффикс; флексия конечного слова может отпадать. Имена-юкстапозита имеют тенденцию к изменениям всякого рода и в том числе к превращению в композита бессуффиксальной или суффиксальной модели. Большая часть имен-юкстапозита относится к древней топонимии и антропонимии, хотя употребляется до сих пор. В истории имен можно наблюдать, как из полусвободного словосочетания рождается цельнооформленный топоним: *Дѣв рѣки* - ^ *ДѣвРечно*, *Бѣль городъ* —> *Бѣльгородъ*.

Можно выделить несколько структурных типов юкстапозита на основании характера синтаксической связи между компонентами с учетом части речи и даже лексемы первого компонента:

1) атрибутивный тип (характер связи — определение), первым компонентом служит прилагательное, реже местоимение; оба слова при соположении имеют форму номинатива, например, *Белавежа* <— *Бела вежа*, *Вицагоща* <— *Вица(вся)гоща*, *Добрыгоры*. Возможно, что к атрибутивному типу могут быть отнесены различные ПС, имеющие в качест. е первого компонента глагольную ф`рму с флексией, омонимичной флексии повелительного наклонения, которые могут быть интерпретированы как определения второго компонента, синтаксически выраженные условно, например, теоним *Дажбог* или *Дажд`бог* «дающий бог», украинс ая фамилия *Переоридорога* «переорвавший (перепахавший) дорогу», проз. *Пролей-Брага* «проливший брагу», топоним *Гуляйгородок*, омонимичный ИН *гуляй-городок* «подвижная на колесах вежа, башня для подступа под город», т. е. «гуляющий (подвижной) городок». Поздние искусственные названия *Кинь-Грусть*, *Пронеси-господи* и т. п. включают настоящую императивную форму и к этому типу не относятся;

2) аппозитивный тип (характер связи — приложение), оба компонента — существительные в номинативной форме, например, *Райгородь*, *Домлука*;

3) нумеративный тип (характер связи — подчинение), первый компонент — количественное числительное, второй — существительное в форме генитива (в процессе функционирования и приспособления к модели генитивная флексия часто утрачивается или изменяется на номинативную), например, *Трылес* (блр.) <— *Три леса*, *Трилетуха* <— *Три летухи*, *Однолук* *— *Одна лука*. Топонимы и антропонимы этого типа стремятся к переходу в композитные модели: *Шесть снопов* —> *Шестиснопы*, *Семихвост*, *Семижен*, *Семивражки*;

4) детерминативный тип (конструкция дополнения, в которой первый компонент поясняется вторым), первым компонентом служит лексема *устье*, второй компонент — гидроним в генитивной форме, например, *УстьБ`бля* (р. *Б`бля*), *Усть-Волмы* (р. *Волма*), *Усть-Морееа* (р. *Морева*); названия городов могут получать свой суффикс, утрачивая флексию гидронима: *Усть-Илимск* (р. *Илим*), *Усть-Сысольск* (р. *Сысола*);

5) детерминативно-предложный тип, где первый компонент поясняет-ся вторым и связан с определяемым посредством предлога, например, современные топонимы: г. *Ростов-на-Дону*, г. *Камень-на-Оби*; древние также, главным образом, относятся к поселениям: г. *Новгородок на Осетре*, д. *Ежовичи на Русской р`Бк`Б*, с. *Валуша у моря*; реже — это микро-топонимы: *пожня Отереба на Коритц`Б*.

Аббревиация — сугубо современный процесс создания сокращенных ИС (так же, как и нарицательных), который должен быть подразделен для ИС на инициальный тип, в котором создаются имена-акронимы. Это, как правило, — названия государств: *СССР*, *США*, *ФРГ*, *КНР*; республик: *РСФСР*, *БССР*; ИС деловых объединений людей (эргонимы), в том числе учреждений и предприятий, организаций, союзов: *ООН*, *МАС* (Международный астрономический союз), *АН* (Академия наук), *МГУ*. Этот тип характерен для ономастики. Другой тип — это имена-аббревиатуры, созданные из сочетания начальных, произвольно взятых частей слов, входящих в аббревируемое словосочетание. В ономастике имена-аббревиатуры типичны для «новых» искусственно созданных личных имен: *Рената* (революция, наука, труд), *Ревимир* (революция мира), *Гертруда* (героиня труда). Некоторые из этих имен омонимичны «западным» именам. Из комбинации элементов ИН и ИС созданы многие эргонимы: *Дальстрой* (Дальневосточное строительство), *Уралмаш* (Ураль-

ский машиностроительный завод). В топонимии известны комбинированные имена: *Долина МГГ* (Международного географического года). Окказионально в речи создаются аббревиатурные имена из имени и отчества: *НикНик* (Николай. Николаевич), *НикВас* (Николай Васильевич), *МакМак* (Макар Макарович). Имена-акронимы в соответствии с литературной нормой не склоняются; имена-аббревиатуры ведут себя как обычные ИС соответствующей модели и склоняются. Полная форма личных имен-акронимов, типа *КИМ*, и имен-аббревиатур многим говорящим неизвестна.

Усечение — процесс изменения формы ИС, заключающийся в отпадении корневой или вспомогательной морфемы, а также начальных слога, буквы и/или финали. Этот процесс особенно характерен для антропонимии. В результате его действия создаются имена-гипокористики: *Валя* в.м. *Валентин!*/*Валентина*, *Коля* в.м. *Николай*, *Слава* в.м. *Вячеслав*. Процесс утраты корневой морфемы известен уже в древних композитных ИЛ у славян (с дополнительной суффиксацией или без нее): *Гостята* в.м. *Милогость* или *Гостомысль*, *Радь* в.м. *РадомЪръ* или *РадонЪзь*. Известны случаи искусственного усечения начального слога или буквы в фамилиях: *Лицын* в.м. *Голицын*, *Супов* в.м. *Юсупов*, которое происходило с аристократическими фамилиями для незаконнорожденных детей, которые признавались своими отцами. Фамилия становилась иной, но в ней «присутствовала» родственная связь для посвященных.

Эллиптирование — процесс опущения при функционировании в речи одного слова из дву- или многословного ИС: *Великая река* - ^ *Великая*, *Архангельский городок* —> *Архангельск*, *Нижний Новгород* —* *Нижний*, *Большой театр* —> *Большой*. Одновременно с эллиптированием происходит и субстантивация, так как в большинстве случаев в словосочетании отпадает определяемое слово. Иногда эллиптирование сопровождается усечением флексии (как в случае с *Архангельском*). То же самое происходит при опущении одного из компонентов именования человека: *Петрович* или *Николай* в.м. *Николай Петрович*. В результате процессов усечения и эллиптирования вместо полного имени функционирует в речи его часть; в некоторых случаях эта часть закрепляется в официальном написании.

Процесс образования ИС часто есть процесс изменения ИС: словосочетание становится юкстапозита или композита, первичное имя получает суффикс и/или префикс, происходит усечение первоначальной формы имени или его эллиipsis, словосочетание превращается в имя-акроним или аббревиатурное имя.

Говоря об ономастическом словообразовании, хотелось бы вспомнить некоторые мысли А. А. Реформатского: «...у словообразовательных моделей нет той обязательности, которой обладают „алфавиты” фонем и словоизменительных форм», а также: «словообразовательные парадигмы» таят в себе родственное и похожее с системами парадигм склонения и спряжения [70]. В ономастическом словообразовании модели еще более «свободны», имя может создаваться по готовой модели, допускающей варьирование в речи. Основным критерием словообразовательного членения ИС является наличие в нем «первичной основы», т. е. исходной производной основы, равной корневой морфеме. Эта первичная основа — основа апеллиатива, ставшая онимической основой. Ей противопоставлен аффикс/аффиксы. Доказательством того, что первично апеллиативная основа становится онимической, служит ее частотность в именах того или иного класса ИС и разная валентность по отношению к аффиксам у апеллиативов и у топонимов/антропонимов. Эта валентность у онимов значительно больше, чем у соответствующей апеллиативной основы.

Первичная основа может быть общей для словообразовательных парадигм разных классов ИС. Словообразовательная парадигма ИС — это набор производных от одной первичной производящей основы; ряд открытый; точно установленная мотивированность производных факультативна. В словообразовательной парадигме ИС каждая единица — это самостоятельно существующее ИС, само способное к словообразованию.

Сопоставление парадигм различных классов имен, топонимов, антропонимов, теонимов, мифонимов и т. д. с одной и той же корневой морфемой показывает их различную валентность в отношении к словообразовательным формантам, с одной стороны, а с другой, — при одинаковых формантах — различие в их значении, что создает омонимию ИС в разных классах, например, фамилия *Бобровский* и название поселка *Бобровский*, с. *Бородино* и о-ва *Бородино* (в Тихом океане), р. *Медведка* и дер. *Медведка*. Кроме сопоставления парадигм с одной корневой морфемой в различных классах имен сопоставительный анализ может быть осуществлен и с апеллативной парадигмой. В отличие от онимической парадигмы парадигма ИН — это закрытый ряд. Такая парадигма может быть построена на именах существительных и прилагательных, однокоренных с онимиами, реже она строится на глагольной основе отдельно от имени, например, на основе таких глаголов, как *бежати/бегати*, *бити*, *быти*, *варити*, *витати*, *горети*, *дати*, *ждати*, *жити*, *звонити*, *никнути*, *течи*, *ходити*, которые актуальны для образования ИС у восточных славян.

В ономастической и апеллативной парадигмах с идентичной основой многие производные единицы не совпадают, а при совпадении словообразовательной формы мы можем говорить лишь об их омонимии. Имеются случаи полностью самостоятельного ономастического словообразования л о сравнению с апеллативным, например, сопоставление парадигм с основой *рад-* старорусских антропонимов (30 единиц), топонимов (34 единицы) и ИН (13 единиц) показывает лишь два совпадения форм в антропонимах и апеллативах: *радъ* (краткая форма от *радии*) — *Радъ*; *радостный* — *Радостный*. В топонимах и апеллативах совпадение форм отсутствует. Если принять во внимание, что материал неполон, то даже в этом случае своеобразии и несходности ономастического словообразования с апеллативным очевидна (см. соответствующие парадигмы [39, с. 143]). В антропонимной парадигме с основой *Рад-* было обнаружено 18 суффиксов, не считая вариантов, отсутствующих в ИН с этой основой, что свидетельствует не только о различии в словообразовании, но и о значительно более высокой валентности этой основы в антропонимии. Совпадения в антропонимной и топонимной суффиксации минимальны, их даже нельзя назвать совпадениями, это топонимные, вторичные образования из антропонимов, например, ИЛ *Радомъ* — топонимы *Радомль* и *Радомле*.

Итак, сопоставление словообразовательных парадигм антропонимов, топонимов, онимов других классов с апеллативной парадигмой той же корневой морфемы обнаруживает следующие результаты: 1) различия в наборе словообразовательных морфем; 2) различие семантики имен при идентичной словообразовательной модели в разных классах имен; 3) различие в последовательности образования форм в антропонимной, топонимной и апеллативной парадигмах. Последнее дает возможность строить парадигмы на историческом материале различных эпох, включая и современные формы.

К словообразовательному анализу принято подходить с позиций синхронии, однако в ономастике, особенно в топонимии, все функционирующие имена представляют комплекс разновременных единиц номинации.

В топонимии действует механизм «аккумуляции», который позволяет накопить эти одновременные имена, делает возможным использование древних топонимов сегодня и использование древних моделей, которые могут наполняться содержательно иной языковой материей. Правда, это естественное развитие и накопление в топонимии было в значительной мере нарушено для Восточной Славии массовыми переименованиями. При исследовании ономообразования диахронический подход представляется более целесообразным. Хотя допустимо и синхронное изучение, и целый ряд работ построен на синхронии. Диахронии соответствует и предлагаемое поморфемное членение в словообразовательной парадигме, которое позволяет рассматривать любую единицу парадигмы в историческом ракурсе.

Исследование ономастического словообразования в различных его аспектах ставит вопрос и о возможности создания ономастического словообразовательного словаря Восточной Славии с максимальным использованием типовых, а также нетиповых основ, на которых строятся парадигмы. Такой словарь должен вскрыть многообразие ономообразовательных структур и показать, как они создавались и создаются. Кроме того, он позволил бы провести стратиграфическую классификацию массового антропонимного и топонимного материала. Параллельные срезы антропонимов и топонимов по векам должны дать ясную картину соотношения этих двух основных классов имен и возможность проследить характер словообразовательных моделей для каждой эпохи. Такая попытка на русском ойконимическом материале была сделана Ст. Роспондом [44, с. 60—88]. Эта идея стратиграфического членения ИС по векам заслуживает не только внимания, но и продолжения.

Разные языки могут отличаться друг от друга в зависимости от того, насколько система ономастического словообразования отличается от системы апеллятивного словообразования. При точной фиксации этого отношения станет возможным установление степени ономастического своеобразия в словообразовательном плане данного языка, что составит предмет словообразовательного раздела ономастической грамматики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Топоров В. Н.* Из истории теоретической топонимологии // ВЯ. 1962. № 6. С. 11.
2. *АзархЮ. С.* Апеллятивный и ономастический словообразовательные типы // Лексика и фразеология севернорусских говоров. Вологда, 1980.
3. *АзархЮ. С.* Данные ономастики как источник исторической диалектологии // Общеславянский ономастический атлас: Материалы и исследования. 1979. М., 1981.
4. *Везенко А. Т.* Префиксно-бессуффиксные образования в ойконимии восточных славян // Тыпалопя і узамадзенне славянских мов і літаратур. Мшск, 1973.
5. *Брыля М. В.* Аб узамадзенні антрапанічных і тапанічных асноў // Пытанні беларускай тапанімік Мшск, 1970.
6. *Брыля М. В., Лемцогова В. Я.* Анамастычныя словаутваральныя элементы ва «сходне- і заходнеславянских мовах. Мшск, 1973.
7. *Брыля Э. К.* Тапошмы Гомельнычны з суфіксамі ~Ічы(-ычы), -ыцы, -овІчы(-евкы), -авІчы, -шІчы І з жыцця роднага слова. Лексалапчы збортк. Мшск, 1968.
8. *Брыля Э. К.* Тапошмы Гомельнычны з суфіксами -оука/-аука, -еука/еукал Пытант беларускай тапанімік. Мшск, 1970.
9. *Борек Г.* Восточнославянские топонимы с формантом -ън II Восточнославянская ономастика. М., 1972.
10. *Бучко Д. Г.* Топотми на Чеш, -ици утворет вгдословных имен // Питания словотвору сходнеславянских мов: Мат-ли м.жвуз. реп. наук. конф. Київ, 1969.
11. *Вархал С.* Славянские асаштыя назвы з суфіксамі -ула, -ул II Анамастыка. Т. 16. Вып. 1—2. Вроцлаг; Варшава; Кракоу; Гданьск, 1971.

12. *Воробьева И. А.* О словообразовательном анализе славянских топонимов // Тр. Томск. гос. ун-та. 1968. Т. 197.
13. *Воробьева И. А.* Русская топонимия средней части бассейна Оби. Томск, 1973.
14. *Горичич Н. Г.* Типы гидронимов центральных областей Московской Руси XIV—XVI вв. // Давньоруська ономастична спадщина в східнослов'янських мовах. Київ, 1986.
15. *Гумецька Л. Л.* Ономастичний формант *-ят* в українськoмoвi // Слов'янське мовознавство. 1962. Т. 4.
16. *Емельянович В. М.* Асноўныя словаутваральныя тыпы мiшратапатмi Брэстчыны // Веларус. мова і Лiт. у ВНУ: Тези докл. навуц.-метад. канф. Брэст, 1971.
17. *Железняк І. М.* Ареальне вивчення слов'янських антропoштв з уаченням другим компонентом композита // Мовознавство. 1972. № 2.
18. *Железняк І. М.* Среднеднепровское правобережье и этногенез славян: Автореф. дис. ... докт. филол. наук. Киев, 1988.
19. *Карпенко Ю. А.* Словообразование названий населенных пунктов в памятных конца XIV в. // Научный ежегодник Черновицкого гос. ун-та за 1959 г. Отдел. вып. Филолог, ф-т. Черновцы, 1960.
20. *Карпенко Ю. А.* Давньоруська основа словотвору українськoмoвi топoштми // Питання шторичного розвитку українськoмoви. Хартв, 1962.
21. *Карпенко Ю. А.* Діахротчний словотворчий аналіз топoштми // Тези допов. XXI наук. сесії Червешького держ. ун-ту. Секція фiлолопчних наук. Чершвiцi, 1965.
22. *Карпенко Ю. А.* Становление восточнославянской топонимии: (Закономерности словообразования) // Вопросы географии. 1966. № 70.
23. *Карпенко Ю. А.* Параметры ономастической типологии (на восточнославянском материале) // Типология і взаємалезяєнне славянсьмх мoв і лiтаратур. Мшск, 1973.
24. *Карпенко Ю. А.* Типология топонимических композитов // Вопросы ономастики. Кн. 2. Самарканд, 1975.
25. *КасіМ Г. Ю.* Композити в ісТорпi східнослов'янськoмoвi то по ними // Давньоруська ономастична спадщина в східнослов'янських мовах. Кшв, 1986.
26. *Керста Р. Й.* Українська антропoштми XVI ст. Чолов'чi Іменування. КНІВ, 1984 (гл. «Способи і засоби ідентифіацi особи»).
27. *Ковалик І. І.* Словотвір особових Імен в українськoмoвi (здрiбнiло-пестливi утворення) // Територіальш діалекти і власш назви. КНІВ, 1965.
28. *Корепанова А. П.* Негацшш топoштми України-архал'чний структурно-семантичний тип // Давньоруська ономастична спадщина в східнослов'янських мовах. Київ, 1986.
29. *Купчинский О. А.* Изменения словообразовательной структуры микропонимии / Вопросы географии. 1966. № 70.
30. *Купчинский О. А.* Древнейшие славянские топонимические типы и некоторые вопросы расселения восточных славян // Славянские древности. Этногенез. Материальная культура Древней Руси. Киев, 1980.
31. *Купчинский О. А.* Наидавшш слов'янсьш топoштми України як джерело ісТорко-географ'чних дослжжень (Географ'чнi назви на *-ичi*). Київ, 1981.
32. *Лемтюгова В. П.* Антропонимия как источник образования ойконимии // Вопросы балтийской и славянской антропонимии: Материалы межреспубликанской конференции. Шауляй, 1970.
33. *Лемтюгова В. П.* Беларуская айкашмiя: Лінгвістычны аналіз назвау населеных пунктау Мінскай вобласцi. Мінск, 1970.
34. *Муромцев І. В.* Словотворчi типи пдрoшлив (Басейн СiВерсКoго Дiнца). Кшв, 1966.
35. *Отин Е. С.* Взаимодействие русского и украинского языков в гидронимии Юго-Восточной Украины (названия с суффиксом *-енк* и смыслового ряда *lupinus*) // Русский язык в его связях с украинским и древнеславянскими языками. Симферополь, 1973.
36. *Отин Е. С.* Різні типи патронiМiчного виргвнювання слів в апелятившш та ономастичнiй лексич // Мовознавство. 1973. № 2.
37. *Отин Е. С.* Непереформленные личные имена в гидронимии Дона // Восточнославянская ономастика: Исследования и материалы. М., 1979.
38. *Подольская Н. В.* Некоторые вопросы исторической ономастики в связи с анализом берестяных грамот // Историческая ономастика. М., 1977.
39. *Подольская Н. В.* Типовые восточнославянские топоосновы. Словообразовательный анализ. М., 1983.
40. *Подольская Н. В.* Префиксация в древнерусских и современных антропонимах и топонимах // Давньоруська ономастична спадщина в східнослов'янських мовах. Кшв, 1986.

41. Редько Ю. К. Словотвір українських прізви́ні у порівнянті з росшськими та білоруськими // Питання словотвору східнослов'янських мов. Ки'їв, 1969.
42. Роспонд С. Перспективы развития славянской ономастики // ВЯ. 1962. № 4.
43. Роспонд С. Структура и классификация древне восточнославянских антропонимов (Имена) // ВЯ. 1965. № 3.
44. Роспонд С. Структура и стратиграфия древнерусских топонимов // Восточнославянская ономастика. М., 1972.
45. Роспонд С. Miscellanea onomastica Rossica // Восточнославянская ономастика. Материалы и исследования. М., 1979.
46. Рубцова З. В. Белорусский ареал топонимов с финалью *-ьн* // Аспекты лингвистического анализа. М., 1974.
47. Рубцова Э. В. Топонимическая финаль *-ьк* на восточнославянской территории (синхронное состояние) // Перспективы развития славянской ономастики. М., 1980.
48. Суперанская А. В. Структура имени собственного. Фонология и морфология. М., 1969.
49. Сухомлин І. Д. Рос'їсько-українсько-білорусько паралелі в атропшмп та явища 'МОВНїї штерференш // Говори і ономастика Наддшпрлянщини. Дшпрпетровськ, 1970.
50. Подоров В. Н., Трубачев О. Н. Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья. М., 1962.
51. Толстая С. М. Об одном типе конверсии в славянских языках (флективная деривация) // Сопоставительное изучение словообразования славянских языков. М., 1987.
52. Трубачев О. Н. Названия рек Правобережной Украины. Словообразование. Этимология. Этническая интерпретация. М., 1968.
53. Шуба П. П. Службовыя элементы у беларускай тапаншмш // Пытант беларускай тапаншмш. Мшск, 1970.
54. Шуба П. П. Словотворча структура групи швденнобілоруських топшмш // Питання ономастики: Материалы 2-й республшансько! нарадп з питань ономастики. Кшв, 1965.
55. Balij M. Formanty *-anь, -anja, -unь, -уща* w języku ukraińskim // Slavia orientalis. 1969. № 1.
56. Karas M. Nazwy miejscowe typu *Podgora, Zalas* w jzyku polskim i w innych jš-zykach slowianskich. Wroclaw, 1955.
57. Kuryłowicz E. La position linguistique du nom pro pre // Onomastica. 1956. II. 1.
58. Respond S. Klasyfikacja strukturalno-gramatyczna slowianskich. nazw geograficznych. Wroclaw, 1957.
59. Smilauer V. Pfiiruka slovanske toponomastiky. Praha, 1970.
60. Zwolinski P. Substantyvizacja sufiksalna przymiotnikow wjezykach slowianskich // Z polskich studiow slawistycznych. Ser. II: Jezykoznanstwo. Warszawa, 1963.
61. Unbegaun B. O. Russian surnames. Oxford, 1972.
62. Dickenmann E. Ober russische Personennamen, die auf Zahlworten zuriickgehen // Beitrage zur Namenforschung. NF. 1975. Bd 10.
63. Кнаннова М. Проект методологического подхода к сравнительному изучению словообразования в славянских языках // Сопоставительное изучение словообразования славянских языков. М., 1987.
64. Сопоставительное изучение словообразования славянских языков. М., 1987.
65. Русская грамматика. Т. I. М., 1980.
66. Смирницкий А. И. Так называемая конверсия и чередование звуков в английском языке // ИЯШ. 1953. № 5.
67. Мурзаев Э. М. Словарь народных географических терминов. М., 1984.
68. Иванов Вяч. Вс., Топоров В. Н. Санскрит. М., 1960.
69. Этимологический словарь славянских языков. Вып. 1. М., 1974; Вып. 5. М., 1978
70. Реформатский А. А. Термин как член лексической системы языка // Проблемы структурной лингвистики. 1967. М., 1968. С. 120.

© 1990 г.

ЧУГЛОВ В. И.

КАТЕГОРИИ ЗАЛОГА И ВРЕМЕНИ У РУССКИХ ПРИЧАСТИЙ

Формальные особенности категорий залога и времени у причастий хорошо известны, но эти особенности и сами категории, прежде всего категория времени, получают в литературе разную интерпретацию. Поэтому остаются неясными многие сопредельные вопросы, например о значении категории залога у причастий с ее четкими в отличие от категории залога у финитных форм морфологическими показателями; о характере времени: является ли оно только относительным [1, с. 11—25] или, наоборот, преимущественно абсолютным [2, с. 360—361; 3, с. 665]; о категории наклонения: можно ли говорить о наличии у причастий изъявительного [4, 5], а также сослагательного [6] наклонений и каких-то других модальных значений или нельзя говорить о наличии у них даже значения реальной модальности [1, с. 10—11]; о том, каким образом, отстаивая мнение об абсолютном характере времени у причастий, объяснить связь его с моментом речи без помощи наклонения, и другие. Существует необходимость поиска новых путей, которые бы учитывали назначение причастия в языке [7, 8]. Нетрудно предположить, что если причастие — это атрибутивная форма глагола [2, с. 310; 3, с. 665], то подход к особенностям и сущности его глагольных категорий со стороны его атрибутивных функций весьма перспективен.

Причастия парадигматически связаны с финитными формами глагола. Синтаксический смысл этой связи состоит в выражении соответствия причастных субстантивных групп с их финитными формами (причастия в роли атрибута соотносятся с финитными формами в роли сказуемого). Такая соотнесенность (трансформация, преобразование, синтаксическая деривация) нередко встречается в речи. Следовательно, субстантивные построения с причастиями предполагают наличие или потенциальность в речи соответствующих высказываний (будем называть их исходными), которые могут быть эксплицитными или единственно возможными, вытекающими из контекста, ситуации или общих знаний адресанта и адресата, входящими в пресуппозицию или постсуппозицию высказываний с причастиями.

Место исходного высказывания и возможности его эксплицитного выражения зависят от выделительного или распространительного характера причастного атрибута *. При употреблении причастий в выделительной функции такие высказывания оказываются в предшествующей части текста (или в позиции вставной конструкции) и нередко бывают эксплицитными. При употреблении причастия в распространительной функции исходные высказывания относятся к последующей части текста (они могут быть употреблены и в позиции вставной конструкции) и очень редко

¹ О таком делении причастных образований, аналогичном известному делению придаточных определительных предложений, см. [9; 10; И, с. 11].

бывают эксплицитными, при этом эксплицируются фактически не те высказывания, которые оказываются представленными построениями с частями, а уже несколько иные, как бы возникшие на основе этих высказываний. В дальнейшем в работе чаще используются фрагменты текста с эксплицитными исходными высказываниями как более наглядные и доказательные.

Изучение особенностей глагольных категорий у причастий с точки зрения атрибутивных функций причастия актуально не только в плане дальнейшего изучения морфологии русского языка, но и в плане изучения синтаксиса текста, оно необходимо и для более адекватного понимания атрибутивных конструкций.

Обратимся сначала к категории залога. Представляется, что, считая главными глагольными категориями у причастий категории вида и времени [12], исследователи несколько недооценивают роль категории залога. Эта категория у причастий не менее значительна, например, чем категория времени, о чем говорит уже выражение залоговых и временных значений одними и теми же суффиксами. Само название типов причастий дается прежде всего по залоговым различиям. Не может остаться без внимания и то, что категория времени у причастий сильно редуцирована (отсутствие форм будущего времени, иной характер связи с категорией наклонения), а категория залога, напротив, «усиливается» в формальном отношении.

Вместе с тем категория залога у причастий, можно сказать, менее глагольна, чем у финитных форм, и имеет явно атрибутивный характер. Это проявляется в том, что залоговые различия характеризуют уже не высказывание, а то, что обозначается определяемым существительным. Правда, то же как будто можно сказать и о категории времени, однако ее преобразующая функция значительно менее выразительна, с чем как раз и связана ее редуцированность. Временное значение у причастий пассивно в том смысле, что оно повторяет время соответствующих финитных форм. Залоговые же формы причастий активны, так как связаны в речи не с тем, в форме какого залога употреблена соответствующая финитная форма, а с тем, оказывается ли в роли определяемого субъект действия, обозначенного финитной и причастной формами, или его прямой объект.

Атрибутивный характер категории залога у причастий не ослабляет ее значимости среди других глагольных категорий, а, полагаем, усиливает. Назначение категории залога у причастий как раз и состоит в преобразовании и/или в представлении этих и возможных высказываний в виде именных групп в других высказываниях с целью идентификации предмета речи, связи высказываний или с какими-то другими целями, обусловленными построением речи. Действительные причастия преобразуют исходную предикативную конструкцию в субстантивную группу относительно семантического субъекта, а страдательные — относительно прямого объекта действия, выраженного глаголом-сказуемым: *Профессор читает лекцию. Лекция, читаемая профессором, интересна. Профессор, читающий лекцию, знаменит; Гриб был найден мальчиком. Найденный им гриб был большой, а сам мальчик, нашедший гриб, маленьким.* Ср.: *Лосев закатал брюки, вошел в воду... Он поддал воду ногой..., закатанные штаны намокли* (Д. Гранин. Картина); *Моряки ползли по скале, приказав Татьяне дожидаться внизу.* Видимо, пулеметчик распознал в темноте разведчиков, карабкающихся по скале... (Л. Соболев. Разведчик Татьян).

Подобные функции выполняет союзное слово в придаточных определительных предложениях, преобразуя, однако, высказывание не только относительно субъекта или прямого объекта, но и относительно других участников или обстоятельств обозначаемой ситуации. Интересно, что при этом своеобразно взаимодействуют оба показателя залоговости — союзное слово и финитная форма глагола, ср.: *мальчик, который нашел гриб — мальчик, которым был найден гриб; гриб, который нашел мальчик — гриб, который был найден мальчиком.*

Преобразующая (представляющая) функция действительных и страдательных причастий обуславливаются их значениями: действительные причастия характеризуют определяемое по действию как семантический субъект этого действия, страдательные — как прямой объект того же действия. Залоговые значения причастия тесно связаны с содержательной стороной причастного атрибута, с направленностью характеристики и сохраняют след в безглагольных субстантивных образованиях. Ср.: *мальчик с флажком — мальчик, держащий (несущий, поднявший, имеющий) флажок; тургеневские романы — романы, написанные (созданные, сочиненные) Тургеневым и т. п.*

Вопрос об особенностях категории залога у причастий распадается на целый ряд частных-вопросов (о месте категории залога у причастий в функционально-семантической категории залоговости, употребительности залоговых форм, статусе образований на *-ный* от глаголов несовершенного вида, адъективации причастий разных залогов и многие другие), рассматриваемых в достаточно обширной литературе. Задачей данной статьи было лишь уточнение назначения категории залога у причастий и значений залоговых форм с точки зрения атрибутивности причастий. По-видимому, категорию залога у причастий следует квалифицировать как атрибутивную разновидность категории залога глагола.

Рассмотрим теперь категорию времени у причастий, ее назначение, характер, значения форм. Исходя из отмеченной выше связи субстантивных образований с причастиями с предикативными, а причастий с соответствующими финитными формами в них, несложно обнаружить, что причастия в функции атрибутов осуществляют преобразование исходных высказываний в субстантивные образования, сохраняя модально-временное значение этих высказываний.

При таком подходе значение форм времени у причастий при употреблении их в речи в функции атрибутов предстает перед нами как модально-временное или даже как модальное (а не только как значение времени) и как определяемое не моментом речи высказывания с причастием и не относительно времени и модальности действия или состояния, выраженного сказуемым этого высказывания (об относительной ориентации причастных форм речь пойдет позже), а другой точкой отсчета — модально-временным значением исходного высказывания. Еще А. А. Потебня писал, что причастие обозначает «...признак, данный, но так, что при воспроизведении его сохраняется память о возникновении его от усилий лица, в силу чего этот признак в причастии представляется данным в известное время» [13]. При этом если модально-временное значение причастий в составе выделительных атрибутов оказывается заранее предопределенным, предсказуемым (1), то модально-временное значение причастий в составе распространительных атрибутов (как и их залоговая форма) определяется говорящим [11, с. 11] — оно определяется им в соответствии с коммуникативным заданием и с учетом ограничений со стороны уже имеющейся час-

ти текста как модально-временное значение сказуемого возможного позитивного высказывания (2).]

Приведем примеры.

(1) *Подошел... немолодой, в командирской форме... человек..., он раскрыл папку и начал громко, тягостно-неторопливо читать приговор военного трибунала... Человек, читавший приговор, будто споткнулся на полном ходу... [младший политрук] повернулся к военному с раскрытой папкой...* (И. Стаднюк. Война). См. также примеры, приведенные выше.

(2) *...был он внуком декабриста Николая Мозгалевского, умершего от чахотки летом 1844 года в Минусинске (В. Чивилихин. Память). Ср.: ...был он внуком декабриста Николая Мозгалевского. Николай Мозгалевский умер от чахотки летом 1844 года в Минусинске. ...он прыгнул в песчаную обрушенную во многих местах траншею и чуть на ноги не наступил пехотинцу, лежавшему на дне. Во всем снаряжении, подпоясанный, лежал тот, будто спал (Г. Бакланов. Навеки — девятнадцатилетние).* Данный пример интересен тем, что представляемое субстантивной причастия преодолевает существующую до сих пор ограниченность другого подхода, при котором исследование времени причастия проводится только в рамках предложения. В то же время нельзя забывать и то, что именная группа с причастием употребляется в составе высказывания и ее модально-временной план не может не взаимодействовать с модально-временным планом такого высказывания, не испытывать на себе его воздействия. Исследователи, считающие, что значение времени у причастий имеет относительный характер, не правы не в том, что подчеркивают именно эту сторону, а в том, что абсолютизируют ее. Однако и точка зрения ученых, отмечающих прежде всего абсолютный характер времени у причастий, нуждается вследствие отмеченной ограниченности в уточнении и дополнении.

Рассмотрим значения времени и модальности у причастных форм. Отсутствие у причастия своей категории наклонения и форм будущего времени создает известное напряжение между формами модальности и времени у финитных глаголов и формами причастий. Однако эта напряженность не является, надо полагать, показателем какой-то дефектности причастных форм, так как система этих форм вместе с другими языковыми средствами вполне достаточна для выражения в речи различных значений модальности и времени. Так, причастные формы настоящего и прошедшего времени помимо своих основных значений могут выражать и значение другого времени, а также значения ирреальной модальности. Такие значения возможны в определенных контекстуальных условиях, в отличие от переносных значений они лишены образности и должны рассматриваться как отдельные значения, производные от основных значений причастных форм.

Основные значения форм настоящего и прошедшего времени у причастий — это значения реальной модальности соответственно настоящего ж прошедшего времени. Причастные формы в своих основных значениях употребляются в высказываниях разных модально-временных планов. Примеры, иллюстрирующие употребление этих форм в их основных значениях и функциях, были приведены выше. Рассмотрим употребление причастных форм во вторичных значениях.

Значение прошедшего времени у действительных и страдательных причастий настоящего времени. Данное значение у названных форм, повторяющее значение прошедшего времени финитных форм исходных высказываний, возможно лишь в тех высказываниях, в которых глагол-сказуемое употреблен в прошедшем времени. Например: *Дождь не прекращался, и было скучно... К вечеру, скорее, от непрекращающегося дождя собрались в комнате с телефоном...* (П. Проскурин. Полуценные сны); *Всякий раз Лосев мысленно отбирал и р е с т а в р и р о в а л самые красивые... Он наслаждался воображаемой их реставрацией, хотя знал, что они обречены* (Д. Гранин. Картина).

Значение будущего времени у действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени. Данное значение повторяет значение будущего времени финитных форм исходных высказываний и возможно лишь в высказываниях с финитными формами будущего времени [14] или повелительного наклонения.

Приведем примеры.

Я только сею. Собрать придут другие. Что же\ И жниц ликующую рать Благослови, о боже (А. Ахматова. Песня о песне). В тексте нет исходного высказывания с финитной формой *будет ликовать*, но оно возможно, ср.: *Я только сею. Собрать придут другие. Они будут радоваться, будут ликовать. И жниц ликующую рать благослови, о боже\; ... С рассветом глас раздастся мой, На славу или на смерть зовущий* (К. Ф. Рылеев. Смерть Ермака). Ср.: *С рассветом глас раздастся мой. Он будет звать на славу или на смерть; Немецкий пилот ... поднимал над собой два или три пальца: «...Решайте быстрее, кто из вас хочет закончить войну впобедившей Германии»* (В. Пикуль. Реквием каравану PQ-17). Ср.: *... в Германии, которая победит войну; Мы будем убивать как можно больше экипажей с потопленных нами торговых судов...* (В. Пикуль. Реквием каравану PQ-17). Ср.: *... с торговых судов, которые мы потопим.*

Полагаем, что в значении будущего времени в современном русском языке не употребляются причастия прошедшего времени несовершенного вида, что, вероятно, связано с нехарактерностью для них значений перфектности и аористичности.

Употребление причастий в значении того или иного времени связано и с выражением значения реальной модальности, подобно тому, как связаны значения реальной модальности и времени у финитных форм. Наличие у причастий значения реальной модальности, т. е. значения изъявительного наклонения, подтверждается и тем, что причастия могут употребляться и со значениями ирреальной модальности. В этих своих вторичных значениях причастные формы употребляются лишь в контекстах определенного модального плана.

Значение сослагательного наклонения у действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени. Данное значение повторяет значение сослагательного наклонения финитной формы исходного высказывания и возможно лишь в высказываниях с финитной формой сослагательного наклонения.

Приведем примеры.

... давно бы пора выпустить сводный бюллетень аннотаций, хотя бы кратко излагающий самые интересные новинки философии, археологии, филологии, истории, социологии... (В. Чивилихин. Память). Ср.: *... бюллетень, который кратко излагал бы...и соответствующее именной группе с причастием возможное высказывание Бюллетеня, который*

кратко излагал бы..., нет; Ленский и пи с а л бы оды, но Ольга од не читала и не стала бы читать оды, создаваемые им. Ср.: ... не стала бы читать од, которые писал бы (создавал б ы) он; Немуемая гирель ждала бы всю черниговскую рать, если бы она все-таки собралась ипоредешией и измученной тяжелым зимним маршем за полторы тысячи верст объявилась бы на ослабевших конях в тылу Субудая лишь в середине или конце феораля 1238 года (В. Чивилихин. Память). Ср.: ... если бы она все-таки собралась и, несмотря на то что поредела бы и измучилась бы от тяжелого зимнего марша..., объявилась бы на конях, которые сильно ослабели бы, в тылу Субудая...; Я только в скобках замечаю, Что нет презренной клеветы, На чердаке вралем рожденной И светской чернью ободренной, Что нет нелепицы такой, Ни эпиграммы площадной, Которой бы ваи, друг с улыбой... Не повторил стократ ошибкой... (А. С. Пушкин. Евгений Онегин). Ср.: ...клеветы, которая была бы рождена вралем и одобрена светской чернью...

Реализация вторичных значений в соответствующих модально-временных контекстах может создать представление об относительном характере времени и модальности у причастий. Однако употребительность в этих контекстах причастных форм не только во вторичных, но и первичных значениях свидетельствует о том, что и в данных случаях основной является ориентация на модально-временное значение исходного высказывания, а не относительная. Ориентация же модально-временного значения причастий относительно модально-временного значения финитной формы включающего его высказывания оказывается дополнительной [15], выражающей, в частности, значение одновременности или предшествования действия, обозначенного причастием, действию, обозначенному финитной формой высказывания с причастием. Вместе с тем при выражении вторичных значений причастных форм роль относительной ориентации, как было показано выше, заметно возрастает: она становится одним из главных средств выражения этих значений.

Попытаемся выяснить, каким образом относительная ориентация дополняет данную функцию. У причастий настоящего времени значения прошедшего и будущего времени опираются на присущее этой форме значение одновременности с точкой отсчета и выражается отнесенностью этого значения к плану прошедшего или будущего, выражаемых финитной формой высказывания с причастием (примеры см. выше).

У причастий прошедшего времени значение будущего времени опирается на значение предшествования точке отсчета, а также на значение результативности, присущее страдательным причастиям прошедшего времени и действительным причастиям совершенного вида. Значение предшествования точке отсчета выражает законченность действия, обозначенного причастием, до начала действия, обозначенного финитной формой будущего времени, а значение результативности способствует отнесению этого значения в соответствии с коммуникативным заданием к плану будущего, определяемому значением финитной формы исходного высказывания и выражаемому в составе высказывания с причастием его финитной формой. Например, из отдельно употребленной фразы *Я положу взятую с полки книгу на свой стол* все-таки неясно, взял ли я книгу или только собираюсь взять ее, но в тексте *Я возьму с полки книгу. Она мне нужна. Я положу взятую книгу на свой стол* значение причастия очевидно: оно обозначает действие, которое совершится в будущем, но до начала действия, обозначенного финитной формой *положу*. Действие, названное при-

частием, будучи отнесенным к плану будущего, может и следовать за действительным, названным финитной формой будущего времени. В таких случаях причастие прошедшего времени обозначает действие, которое завершится в будущем, но после того, как завершится действие, обозначенное финитной формой. Ср.: *Но уж дробит камня молот, И скоро звонкой мостовой Покроется спасенный город, Как будто кованой броней* (А. С. Пушкин. Евгений Онегин).

Выражение вторичного значения сослагательного наклонения причастными формами в высказываниях с финитной формой сослагательного наклонения можно объяснить следующим образом. В условных сложноподчиненных предложениях с союзом *если бы* модальный план главной части обуславливается модальным планом придаточной части: форма сослагательного наклонения глагола-сказуемого придаточной части обуславливает употребление глагола-сказуемого главной части в форме сослагательного наклонения, но не наоборот. Аналогичная обусловленность в явном или неявном виде, надо полагать, свойственна и другим, близким к названным конструкциям, в частности высказываниям с причастиями со значением сослагательного наклонения. Это значение выражается причастиями в соответствии со значением финитной формы исходных высказываний и в свою очередь обуславливает употребление финитной формы принимающих причастие высказываний в том же модальном значении.

Таким образом, относительная ориентация причастных форм может быть необходимым средством выражения модально-временных значений этих форм, однако она является вторичной и в целом дополнительной. Основной и определяющей является ориентация причастных форм на модальное и временное значение финитных форм исходных высказываний. Учитывая парадигматические связи данных форм, такую ориентацию можно охарактеризовать как опосредованно-абсолютную ориентацию, а значение времени у причастий — как опосредованное парадигматической связью абсолютное время.

Итак, подход к категориям залога и времени причастий с точки зрения причастия как атрибутивной формы глагола позволил иначе интерпретировать назначение и семантику категории залога, характер категории времени и значения форм этой категории у причастий. Выяснилось, что категория залога у причастий функционально, содержательно и формально заметно отличается от категории залога у финитных форм. Опираясь на четкие морфологические показатели, действительные и страдательные причастия служат для представления исходных эксплицитных или возможных высказываний в виде именных групп относительно семантического субъекта или прямого объекта действия в составе других высказываний. Значения действительных и страдательных причастий состоят, соответственно в характеристике определяемого по действию как семантического субъекта или как семантического прямого объекта этого действия. Категория залога у причастий может рассматриваться как атрибутивная разновидность категории залога глагола.

Выяснилось, что категория времени у причастий имеет опосредованно-абсолютный характер. Формы времени у причастий выражают те же модальные и временные значения, что и финитные формы представляемых субстантивными группами с причастиями исходных высказываний. При этом значения настоящего и прошедшего времени у соответствующих форм, а также значение реальной модальности являются основными и возможны в разных модально-временных контекстах, другие же значения времени и ирреальной модальности у данных форм оказываются вторичными, воз-

можными каждое лишь в строго определенных модально-временных контекстах и опираются на относительную ориентацию причастных форм.

Думается, что предложенный подход к изучению модальной и временной семантики причастных форм вполне применим и для выделения более частных значений времени и модальности данных форм [8].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Калакуцкая Л. П.* Адъективация причастий в современном русском литературном языке. М., 1971.
2. Грамматика современного русского литературного языка. М., 1970.
3. Русская грамматика. Т. I. М., 1980.
4. *Гвоздев А. Н.* Современный русский литературный язык. Ч. 1. М., 1967. С. 378.
5. *Бондарко А. В.* Грамматические категории и контекст. Л., 1971. С. 45.
6. Грамматика русского языка. Т. I. М., 1960. С. 507—508.
7. *Камынина А. А.* Связь полупредикативной функции и глагольности причастий (на материале действительных причастий) // Вестник МГУ. Сер. Филология. 1981. № 6.
8. *Данченко Г. В.* О модальном значении причастных оборотов (на материале действительных причастий) // Русский язык за рубежом. 1976. № 1.
9. *Медведев Н. М.* Об условиях употребления определительных придаточных предложений, соотносительных с причастными оборотами // Нормы современного русского литературного словоупотребления. М., 1966. С. 143—149.
10. *Корнилов В. А.* Предложения с причастными оборотами в современном русском литературном языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1967.
11. *Камынина А. А.* К вопросу о полупредикативности причастий в строе простого предложения // Славянская филология. М., 1979.
12. *Луценко Н. А.* О состоянии изучения видов в русских причастиях // Уч. зап. Тартуского ун-та. 1979. Вып. 482.
13. *Потебня А. А.* Из записок по русской грамматике. Т. I—II. М., 1958. С. 143—144.
14. *Соболевский С. И.* Грамматика латинского языка. М., 1939. С. 318—319.
15. *Бондарко А. В., Буланин Л. Л.* Русский глагол. Л., 1967. С. 111.

© 1990 г.

ПОМИРКО Р. С.

**АЛЬТЕРНАЦИЯ ЗВУКОВ И ТИПЫ ВАРИАТИВНОСТИ СЛОВОФОРМ
В ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ**

Модификация структуры — одно из фундаментальных средств развития латинских этимонов в романских языках. Особенностью романской реализации этого процесса стало, в частности, образование последовательно окситонической модели слова во французском языке в акцентно варьирующей — в испанском. В первом случае становление окситонизма способствовало в старофранцузский период активному редуцированию звуков, что привело к стабилизации фонетической субстанции слова. Во втором — вариантность акцентуации как своеобразная константа, наоборот, создала предпосылку для вариантной реализации фонетической структуры слова. Если окситоническая модель, специфичная для определенной части романских языков, является ареально замкнутой и представляет собой прерывание латинского типа варьирования словоформ, то акцентно варьирующая испанская модель, унаследовавшая подвижность латинского ударения, коррелятивна аналогичным феноменам в остальных романских языках и сближается с моделями в других индоевропейских, в частности славянских, языках.

Наиболее типичные фонетические изменения структуры слова в каждом конкретном случае могут составить единство противоположно направленных тенденций редукции слогов и увеличения числа слогов. Как отмечает Б. А. Серебrenников, исследовавший фреквенталии и универсалии этого процесса, причины ослабления (редукции) и наращения (эмфазы) могут быть самыми различными и в значительной степени определяются имманентными свойствами, т. е. характером звуков, просодией, типом выражения грамматических категорий в данном языке [1, с. 64].

Структурная вариативность испанского слова на протяжении основных периодов его развития свидетельствует об отсутствии прямой зависимости между усилением нормированности, с одной стороны, и уменьшением вариативности словоформ или вытеснением вариантов на периферию, с другой. Такая общая зависимость [2, 3] в иберийском ареале все же не столь прямолинейна. Известно, что как раз в жестко упорядоченных нормированных языковых системах образуются лакуны в отношении тех или иных форм слова. Поэтому в художественных произведениях, использующих такие жестко нормированные языки, функциональную активность для экспрессии приобретают архаизмы, окказионализмы; могут появляться лексические новации, расширяющие потенциальные возможности словообразования, активизируются фонетико-грамматические средства модификации субстанции слова. Подобные явления выступают с особой очевидностью в старо- и среднеиспанском периодах, где пестрота и диффузность словоформ имела довольно индивидуальный характер в различных жанрах художественной речи. В связи с этим становится возможным трактовать варьирование слова в испанском языке как особую диахроническую кон-

станту, динамичную в период интенсивного нормирования языка и латентную после завершения его нормализации.

В настоящей статье типы словоформ классифицируются по степени убывания интенсивности звуковых альтернатив в различных положениях в структуре слова. Таким образом, главный классификационный признак для испанского материала — это наличие альтернатив звуков соответственно в конечной, срединной или начальной позициях слова. Альтернативы включают как гласные, так и согласные звуки.

Однако альтернативы с «нулем» звука занимают особое место. В истории испанского языка длительное время продуктивным было варьирование слова, вызванное наличием/отсутствием гласных звуков в некоторых позициях. Это дает возможность классифицировать словоформы также по принципу наличия/отсутствия слога в различных положениях структуры слова.

Такой методический принцип классификации словоформ подтверждает выборка примеров из различных лексикографических источников, отдельных литературных произведений разных периодов истории языка и монографических исследований. В отдельных случаях привлечение испанского диалектного материала вызвано как наличием однотипных литературной норме моделей словоформ, так и образованием ареальных, индивидуальных типов звуковой альтернативы.

I. Альтернативы в конечной позиции слова. Альтернатива с «нулем», т. е. классификация словоформ по принципу наличия в них большего/меньшего количества слогов, выявляет максимальное количество таких вариаций в двуслоговых и трехсловых структурах. Неустойчивость таких структур привела к выделению вариантов, обусловленных апокопой *-a* (*lerdez/lerdeza; ligerez/ligereza; carcaj/carcaja*), *-e* (*noch/noche; mont/monte; grand/grande; suertl/suerte*), *-o* (*cuer/cuero; cuern/cuerno; lob/lobo; franc/franco*), *-i* (*brocoll/brocull; alfonsl/alfonsi; tripoll/tripoll*). Редукция гласных, как правило, продуктивно и последовательно осуществлялась после консонантных групп *nd, nt, nz, rt, st*. Такая редукция вокальной финали была временным явлением и наблюдалась в периоды, предшествовавшие кодификации языковой нормы. Она сделала возможной также реализацию противоположного процесса — восстановление и стабилизацию открытых слогов в структуре слов, содержащих указанные выше посттонические консонантные группы. Процесс стабилизации открытости конечных слогов последовательно осуществлялся в различных таксономических группах и грамматических классах слов: топонимах (*Vill/Villa; Castill/Castile*), антропонимах (*Ferin/Ferino; Fernan/Fernando; Lop/Lope*) и претеритных формах глагола (*fizl i7e; tomesltlomeste; fesist/fesiste* и др.) [4, 5]. Эта слоговая нормализация осуществлялась как спонтанно, так и посредством сознательного вмешательства нормализаторов литературной речи. Длительный процесс диффузности структуры слова способствовал восстановлению конечного гласного к концу XV в. под влиянием литературной традиции. Это отражало качественный сдвиг в испанской просодии, увеличение числа словоформ с открытым слогом уже как типологической константной черты. Однако многие из апокопированных вариантов продолжают функционировать в современной речи как дублеты к полным формам, ср.: *zafir/zafiro; troj/troje; balajl/balaje; fracl/fracje* и др.

Альтернатива гласных в этой же позиции слова привела не к временному, а к константному вокалическому варьированию. Оно позволило выделять словоформы, которые можно классифицировать как фонетико-морфологические, т. е. сопровождающиеся меной грамматической

категории рода [6, с. 60—61; 7]. В эволюции языка доминирующим было вокалическое варьирование *a — o* (*farda/fardo; mirla/mirlo; empegal empego; adoboladoba; anillolanilla*). Смещение конечных гласных *e — o* (*moje/mojo; empuje/empujo*), *e — a* (*zoquetefzoqueta; presbite/presbita; arriate/arriata*), *e — i* (*popote/popoti*), *o — i* (*manato/manati*), *o — u* (*puno/punu*) и др., последовательно не участвовало в образовании словоформ и характеризовалось нестабильностью, восходящей, как правило, к раннероманскому периоду.

Словоформы, обусловленные альтернативой согласных, характеризуются тем, что в истории испанского языка последние были основным стержнем процессов ослабления финали испанского слова. Альтернатива согласных и сопряженные с ней изменения артикуляции согласных отражают интенсивные внутриязыковые процессы, проходящие через все периоды развития испанской фонетики. Будучи весьма характерной для испанского языка, такая альтернатива тем не менее не является абсолютно специфической, т. к. представляет своеобразную фонетическую фреквенталию общезыкового развития [8, с. 2].

Согласные в конце слов могут образовывать как варианты, существование которых было ограничено временными рамками, так и варианты, активно функционирующие в современной речи. К последним можно отнести словоформы, характеризующиеся смешением *-r/-l* (*nabal/nabar; plantall plantar; encinall'encinar; juncal/juncar; retamallretamar*). Менее стабильными являются словоформы, образованные на основе альтернативы *-n/-l* (*llantenllantel*), *-kj/-g* (*musco/musgo; renco/rengo*); *-s/-z* (*malvis/malviz*); *-p/-f* (*cepolcefo*).

Отдельную подгруппу словоформ составляют альтернативы тех конечных согласных, которые раскрывают особенности эволюции испанского консонантизма и его диалектов. Так, общая для многих языков фонетическая фреквенталия, связанная с ослаблением артикуляции согласных, индивидуально реализовалась в испанском. Этот процесс способствовал оформлению вариантов слов, характеризующихся зыбкой морфемной структурой, вариантной не только в речи, но и в литературной норме. Звуковые модификации сосредоточены прежде всего там, где согласные теряли признаки фонологической релевантности. К ним в первую очередь относится интердентальный *-d*. Его артикуляционная неустойчивость в конце слова способствует переходу в стадию фрикативности, реализации трехчленные ряды типа *verdadjverdadjverda; poridadlporidadlporida*. В произведениях Гонсало де Берсео (XII—XIII вв.) и других авторов его эпохи выбор словоформы в каждом конкретном случае определялся ключевым словом первой строфы и, естественно, допускал широкое комбинирование, в том числе наличие реликтовых нередуцированных словоформ типа *amistadel amista(d); teamide/teame*, а также последующей лениции согласной *d > z* (*lid/liz, verdadjverdadz; abadlabailabath*). Рефлексы этой модификации продуктивны в разговорном стиле современной мадридской речи, о чем свидетельствует язык персонажей художественных произведений Арничеса (1866—1942), ср.: *curiosidadi'curiosidadz; navedadl'navedadz* и др. [9, с. 39].

Таким образом, в испанской фонетике черты звонкости/глухости [d//t] и [g//k] не были стабилизированы [10]. Возникнув как определенная фонетическая константа, эта звуковая корреляция имеет характер пространственно-временной (в смысле ареала и эпохи) диффузности. В современный период в разговорном стиле словоформы характеризуются той же вариативностью реализации *-d*, которая наличествовала в предыдущем языковом состоянии. Выход из процесса диффузности может означать

переход слова в иную структуру, по всей вероятности, похожую на те, которые определяют развитие слоговых финалей таких языков, как французский, провансальский, итальянский, где наиболее последовательно осуществилась редукция конечного *-d*, ср.: лат. *bonitas* → франц. *bonte* — итал. *bontd* — пров. *bontatbontd*; лат. *mercedem* → франц. *merci* — итал. *meccè* — пров. *mercelmerce*; лат. *virtus* → франц. *vertu* ~ итал. *virtu* — пров. *virtuti'virtu*.

Эволюционный процесс *ado* → *ao* в разговорном стиле испанской речи реализуется в значительной группе слов, принадлежащих к наиболее употребительной лексике, ср.: *ahijaolahijado*; *cunaolcunado*; *salaosalado*; *entenaolentado* и др. В этот же процесс выпадения *-d* подключаются собственные имена: *EstanislaolEstanislado*; *AristolaolAristolado*; *WenceslaolWenceslado*. Образование женского рода от них {*AristolaolAristola*; *Wenceslao IWencesla*} позволяет предполагать, что родовая оппозиция *ao* — *a* сильно противопоставлена литературной норме, что может дать импульс к архаизации литературных лексемных структур.

В каждом диалекте испанского языка альтернатива *-d* и его «затухание» в конце и в срединном положении слова имеют свою имманентную характеристику, но различия эти относительны, а не абсолютны. Например, в андалузском диалекте звук *-d* подлжит наибольшему редуцированию, так как, кроме имени существительного (*moncalmoneda*; *bacalao/bacalano*; *nuo/nudo* и др.), редукция *-d* особенно продуктивна в таких грамматических классах слов, как причастия (*paraolparado*; *merrecio/mercedido*; *abandonadol abandonao*), реже — прилагательные (*desnuol desnudo*; *cornuolcornudo*) и местоимения типа *na/nada*, *calcada*. В этом звуковом явлении — «затухание» *-d* — можно констатировать структурную инновацию в ее взаимосвязи с морфологическим и словообразовательным уровнями. В первом случае открывается возможность стабилизации в андалузской диалектной норме категории множественного числа без восстановления *-d* (*sentlosl sentidos*; *sembraoisembrados*; *laosllados*). Во втором случае словоформы без интервокального *-d*, как отмечают испанские лингвисты, становятся производящими для производных типа *soldao* → *soldaito*; *vestio* → *vestiitio*; *desnuo* → *desnuito*, обусловивших стабильность нового структурного типа дериватов в устной речи [11].

В леонско-астурской зоне процессы «затухания» *-d* сопряжены с крайней непоследовательностью и часто сопровождаются его сохранением в финальной части за счет присутствия апокопированного *-e*, ср.: *sed(e)*, *red(e)*, *vad(e)* и др. Редукция *-e* в леонской речи способствует при оформлении категории множественного числа другому качественному фонетическому процессу, а именно закрытости конечных гласных *-e* ^> *-i*, ср.: *verdades* → *verdaes* → *verdaeis*; *necesidades* → *necesidaes* → *necesidaeis* [12]. Тенденция к регулярности перехода конечного *-e* ^> *-i* при оформлении множественности одноклассности и характеризует также окситонические слова, содержащие в конечном положении *-tin*, *-on*. В парадигме множественного числа гласный *-e* переходит в закрытый звук *-ɛ* с последующей назализацией сонанта *-n*, ср.: *pan* → *panis* [pals]; *pantalon* → *pantalonis* [pantalols] и др. [12, с. 102].

В арагонском диалекте доминирует структурная модель с палатализацией *-d* ^> *-t* в конечном положении и при оформлении множественности. Нередки также случаи «затухания» *-d* в речи, что иллюстрирует высокую степень фонетической близости с каталанской языковой нормой, ср.: *retl red ^ rets*; *cuidatlcuida* → *cuidats*; *tornattlorna* —* *tornais* и др. [13, с. 230; 248-250].

II. Альтернатива звуков в срединном положении обусловила вариативность словоформ, которая при участии гласных наиболее продуктивно осуществлялась между *e* — *a* (*bermiz/barniz; aleche/alache*), *e* — *i* (*frejol frijol; epitemalepitima*); *e* — *o* ~ *ue* (*f rente/fronte/fruente*), *o* — *a* (*linosa/linosa*), *o* — *u* (*moazē/muazē*).

Редукция срединных гласных способствовала утверждению некоторых групп согласных. Это стало возможным в результате синкопы. Во многих случаях синкопирование приводило к уменьшению слогов в структуре слов, ср.: *b(e)rozo/brozo; mob(i)lario/moblaje; des(a)pego/despego; diaspro/roldiaspro*. Срединная альтернатива гласных соотносилась в старо- и среднеиспанский периоды с широким распространением монофтонгизации. Образовывались варианты словоформ, характеризующиеся наличием/отсутствием дифтонгов в корневой части слов. Показательны в этом отношении дублетные структуры, отражающие корреляцию *e* — *ie* (*moventelmovente; festai/fiesta*); *ie* — *i* (*radiella/radilla; castiellolcastillo; capiellalcapilla*), *ie* — *e* — *i* (*sieglol seglel siglo*). Их существование охватывает несколько периодов эволюции языка, а в художественной литературе структуры с дифтонгом типа *castiello, capiella, siglo, radiella* и др. сохранялись вплоть до XVIII в.

Монофтонгизация была промежуточной, отражающей на отдельных синхронных срезах дивергентно-конвергентный континуум становления структуры слова. Она проявлялась как в направлении разрушения старых дифтонгических структур, так и в образовании новых. Функционирование старых и новых словоформ в средневековой литературе оставалось на уровне количественных, но не качественных изменений, поскольку не сопровождалось переходом таких форм с дифтонгами на периферию языковой системы.

Что касается словоформ, характеризующихся переходом *o* $\hat{>}$ *ue*, то, наоборот, еще в среднеиспанский период утвердились дублеты: *corpól cuervo; costalcuesta; fontelfuente; orto/huerto*; это явление, как правило, не сопровождалось вариативностью словоформ в литературном функционировании.

В других случаях стяжение дифтонгов можно характеризовать как явление спонтанное, но не реликтовое. Оно привело в современном испанском языке к образованию дублетных вариантов, характеризующих различие литературного и разговорного стилей, особенно латиноамериканской речи, ср.: *ie* — *i* (*mierlalmirla*); *ie* — *e* (*briega/brega*); *uo* — *o* (*cuota/cota*); *ue* — *o* (*duelaje/dolaje*).

Процессы образования словоформ на основе альтернативы срединных согласных, как правило, коррелируют с теми, которые характеризуют альтернативу согласных в конце слова и в отдельные периоды истории представляли рецидив давней раннероманской диффузности. В ряде случаев альтернатива согласных соотносится с таким общим для языка и его диалектов принципом, как минимальное консонантное различие в конечном и срединном положениях слова. Разница между нормой и диалектами состоит лишь в степени проявления альтернативы согласных. Так, в андалузском диалекте она более продуктивна по сравнению с другими диалектами. На эту особенность указывает ряд лингвистов. Б. Мальмберг отмечает, например, что ослабление некоторых звуков в испанском ареале вызвало фонологическую нейтрализацию их функции в структуре слова [14, 15]. В этом случае смещение (коммутация) и диссимиляция *-rl-*, особенно в инфинитивах с инкорпорацией неударных местоимений *le, la, las* типа *convertirle/convertirle, escribirle/convertirle* и т. д., является наиболее ин-

тенсивной и, бесспорно, ориентирована на типологическую фонетическую черту ряда диалектов и разговорного стиля испанского языка. В среднеиспанский период альтернативация *-z l-l* способствовала образованию дублетов различных грамматических классов слов: именных форм (*clin/crin; celebr-rolcerebro; arbor/albor; arbanill albanil*); инфинитивов (*pobrar/poblar; blin-carlbrincar*); личных форм глагола в *futurumsubjunctivum* [*quisel/quisier(e); podellpodier(e)*] и др. В средневековой литературе и особенно в произведениях яркого представителя этой эпохи Хуана Руиса (XIV в.) мы находим множество примеров смешения *-z l-l* в именной лексике, ср.: *feblerolfebro; frorlfior; flairelfraille; pranchalplancha; blacolbrazo*.

В современный период альтернативация *-z l-l* — явление не окказиональное. Свообразным импульсом к его становлению послужили дефонологизация многоударного /г/: /, переходящего в стадию фрикативности (*Blz-remelbireme; trirreme/trireme*), а также палатализация одноударного -г, вызывающая смешение и диссимилиацию с сонантом -l. Случаи параллелизма словоформ с *-z l-l* не ограничиваются ареалом Испании. Они особенно характерны для латиноамериканских вариантов испанского языка. Можно констатировать конвергентные зоны альтернативаций. Как определенная фонетическая фреквенталия *-rl-l* намного превосходит все остальные альтернативации согласных. В частности, в языковом ареале Латинской Америки интенсивным является как смешение *-rl-l*, так и стягивание в процесс альтернативации других согласных. Ослабление артикуляции -г часто приводит

к его смешению с *-s, -l, -ll*, ср.: *puerta* [pwerta, pwerta, pwe-
rta] [15].

Смешение *-rl-l* может привести к смысловым искажениям, особенно характерным для диалектов. Например, в андалузской речи это вызывает семантическую контаминацию в потоке речи: *harto* «сытым/alto «высокий», *mar* «море» / *mal* «плохо» и др. Эти пары слов функционируют как паронимы. В других случаях смешение *-rl-l* способствует появлению лжепаронимов типа *sordaolsoldao* «солдат», *cueldal cuerda* «кнут, веревка», *gorpe/golpe* «удар», *blincolbrinco* «прыжок», *pratolplato* «еда», *cuelpolcuerpo* «тело, фигура» и др. Можно предполагать, что здесь развивается тенденция к стабилизации R-словоформ. Именно такой процесс имел место в португальском языке, где вариативность типа порт, *brando/жсн. blando* «мягкий», порт, *Beanco/ясн. bianco* «белый», порт, *groria/жсн. gloria* «слава», порт, *escravo/исл. esclavo* «раб, рабыня» утвердились в норме его фонетической системы.

Таким образом, в срединном положении слова консонантная альтернативация образует три категории случаев. Первая характеризуется максимальным количеством альтернативаций, состоящих из трех звуков: *lljly* (*corvajo/corvallo/corvayo*); *rlslz* (*lernallesnallezna*). Вторая отличается наибольшей распространенностью и насчитывает альтернативы из двух согласных. К ним относятся словоформы, содержащиеся в основе *-dj-t-* (*matriz/madriz*), *-k-l-g-* (*acuti/aguti*), *-l-l-j-* (*ensalmalenjalma*), *-ch-l-q-* (*trichinaltriquina*), *-ch-l-j-* (*patache/pataje*), *-r-l-l-* (*robrelroble*). В последней паре слов *-z* следует считать этимологическим, составляющим норму для леоно-астурской зоны. Отдельные словоформы, входящие во вторую категорию, относятся к более раннему слою образований. Это касается дублетов, содержащих в корневой морфеме согласные *-b(lomballoma; labdanolladano)*, *-l(filolfijo)*, *-l*, *-b* (*cabcelcalcelcauce*), *-n-*, *-l-* (*cimbanillo cimbalillo*) и мн. др. Словоформы, возникшие на основе альтернативации *~sl-z*, интересны с двух точек зрения. Во-первых, эти согласные отражают

процесс дефонологизации Ы (*casabe/cazabe, tensonlntenzon*), похожий на тот, который характеризует дефонологизацию /г/. Во-вторых, они приобретают, особенно в диалектах и в латиноамериканском ареале, новый фонетический признак. Варьируя от зоны *ceceo* к зоне *seseo*, *s/z* стали отличаться и по степени звонкости, что, по-видимому, делает возможным реализацию тернарной оппозиции типа *ceceo* [eeseo], *seseo* [seseo], *zeceo* [zezeo] (с озвончением). Такое озвончение в интервокальном положении и перед согласными *-d, b—desde* [dezde], *leuzbel* [leuzbel], *cosina* [koeina/kozina], *cereza* [eereza], хотя формально и соотносится со звуковыми преобразованиями среднеиспанского периода, однако эта оппозиция иная. Она, вопреки мнению некоторых лингвистов [16], независима от предыдущих периодов, характеризующихся возникновением корреляции по глухости/звонкости *e/z* ($dz \rightarrow z/e$; $ts \rightarrow s/s/$). В этой связи справедливой является точка зрения испанского фонетиста Района Эскорра, считающего, что варьирование артикуляции отражает не возрождение архаизированной черты, нейтрализованной в XVI в., а звуковое чередование, обусловленное артикуляционными особенностями близстоящих согласных [17, с. 1—6]. Иными словами, регламентируется та небольшая группа лексем, в артикуляции которых подобное озвончение релевантно.

Третья категория слов характеризуется как окказиональным синкопированием, так и окказиональным наращением согласных [*maguillo/maillo; transvase/trasvase; mongolicolmogolico* (разг.), *monstruo! mostro* (разг.), *mojigato/mogato* (разг.), *tajero/tajero* (разг.)].

Наращение звукового сегмента в структуре слова—фонетическое явление, которое стало продуктивным в период нормализации языка в XVI—XVII в. Как инновация звуковая эмфаза первоначально, по-видимому, была призвана противостоять процессу редукции звуков, который прослеживался вплоть до XVIII в. Так, в языке Хуана де Вальдеса (XV—XVI вв.) и других представителей Возрождения варианты слов все еще четко не очерчены и охватывают различные грамматические категории слов в потоке речи (*hijo de vecino/hi de vecin; adonde/do; el alma/Talma; el otrolVotro*) [18]. Нормализация языка сопровождалась проникновением «ученых» слов, вызвавших своеобразную гиперкоррекцию народных форм и их последующее вытеснение из узуса (*canez/canicie; canonjelcanonigo; calonalcalumnia; coluna/columnna*). В ряде случаев архаизация народных форм была обусловлена образованием их производных коррелятов, ср.: *enlace/enlazaduralenlazamiento; reuma/reumatismo; retardo/retardacion; ensamblelensambladura* и др.

III. Словоформы, обусловленные альтернативой звуков в начале слова, представлены сравнительно ограниченным количеством вариантов. При фонетической перестройке латинской лексики эта часть слова была наиболее стабильной в истории романских языков. Тем не менее альтернатива и редукция способствовали модификации субстанции слова и в определенной степени сказались на увеличении количества словоформ. Как правило, варьирование и усечение гласных в начале слова — это результат всей предыдущей истории языка. Среди возможных вариантных структур преобладают словоформы с аферезой гласных: *-a* (*lifara/alifara; Besana/abesana; lacialalicensa; lianzalalianza*), *-e* [*cofiatescofia; encebrai/cebra; cenalescena* (-арх.)] и др. Особенно активной была афереза *-a* при проникновении многочисленных арабских терминов, преимущественно связанных с коммерцией, сельским хозяйством. В инфинитивах усечение *-a* было наиболее распространенным, ср.: *combrar/acombrar; cribar/acribar; colchar/acolchar* и др.

Принцип вокалической альтернации проявляется в виде чередования гласных *e-la-* (*emelgal amelga*); *a-le-* (*aneal enea*), *e-li-* (*eglesia/iglesia*).

Для раннероманского периода афреза начального гласного *e-* была наиболее последовательным фонетическим явлением, создающим определенное противодавление стабилизации словоформ с протетическим *e-*, все же утвердившихся в норме литературной речи к XVII в. Длительный параллелизм словоформ с *e-* и без *e-* характерен для различных стилей художественной речи. Наиболее интенсивно варьирование *e-1-0* происходило в поэтической речи при оформлении ее рифмики и строфики. К числу таких слов можно отнести дублеты типа *spiritulespiritu*; *SpanalEspaña*; *sfera/esfera*; *spada/espada*; *sidtualestatua*. В современном испанском языке протетическое *e-* перед начальными сочетаниями *sp-*, *st-*, *si-* неустойчиво и обусловлено в основном внешним языковым источником, влиянием значительного пласта англицизмов (*slogan/eslogan*; *stress/estress*; *slipestlip*; *smoking/esmoking*; *standard! estandard*).

Бесспорно, по аналогии с предыдущими синхронными состояниями усечение *e-* отражает определенную типологическую черту при адаптации англицизмов. Выделяемые при анализе две структурные модели этих заимствований, хотя и создают определенную вариантность словоформ в системе языка, не являются таковыми с функциональной точки зрения, т. к. афрезные, неадаптированные формы преобладают. Такие англицизмы, как *slam*, *slogan*, *snobslnobo*; *spin*, *spray*, и т. д., характеризуются устойчивой орфографией в языке прессы и литературных произведений детективного жанра. Количественные данные, полученные на основании выборки слов из [19], а также других лексических источников, позволяют установить, что неадаптированные англицизмы соотносятся с дублетными испанизированными формами как 3:1.

Известно, что языковые контакты — явление вторичного порядка в эволюции языков, но тем не менее они играют определенную роль в функционировании фонетических систем. Реализация инновационных консонантных финалей типа *b*, *g*, *k*, / в испанской фонетике также стала возможной в результате адаптации значительного количества галлицизмов (*clac*, *frac*, *nabab*, *zigzag*, *pendetif*) и англицизмов (*club*, *pudding*, *rosbif*, *hot-dog*). Подобный путь формирования закрытых слогов составляет общую слоговую константу с французской и английской, т. к. снимаются органичения, накладываемые испанской фонетикой, которая допускает реализацию финалей с *d*, *n*, *l*, *r*, *s*, *z* (*j* — в отдельных случаях). Таким образом, языковые контакты стали фактором, ослабившим асимметрию в реализации звуковых последовательностей в структуре слов.

Альтернации согласных в начальном положении слов обусловлены, как правило, имманентными процессами звукового варьирования. В других случаях они имеют спорадический характер, в других — мотивированы общеберийской константой ослабления артикуляции, в третьих — являются отражением реликтовых диффузных состояний. Нейтрализация противопоставлений глухих/звонких в начале слова реализовалась в вариантах типа *camuzalgamuza*; *cambalgamba*; *casalchasa* (арх.), *quesolcheso* (арх.). Смешение звуков *klg* в испанской речи и в диалектах образует наиболее константную альтернацию, чаще всего наблюдаемую в начале слов. По мнению испанских лингвистов, нейтрализация *klg*, как и в случае СО смешением срединных *ɛll*, приводит к частому семантическому контаминированию лексем, образованию дополнительных источников паронимии, ср.: *cordon* «веревка»/*gordon* «толстяк», *cama* «кровать»/*gama* «гамма» (муз.), *cana* «седой волос»/*gana* «желание» и др. [10].

Степень окказионального варьирования словоформ привлекает внимание прежде всего тем, что расширяет границы альтернации, вовлекая в этот процесс разнохарактерные согласные [*chilote/jilote; jente/yente* (арх.); *serpa/jerpa; linojo/hinojo; hongollongo* (арх.)], а также нереализацию согласных в словах типа *escofia/cofia; servato/ervato; desperezo/esperezo; osario/fosario* (арх.).

Возникновение словоформ с начальной альтернативой согласных — довольно своеобразная черта структуры испанского слова. Так, «умолчание» начального латинского /- (/ ^> h ^> 0) послужило основой функционирования дублетов, характерных для более раннего периода языковой истории (*ferida/herida; fer/her; hieltro/fieltro; jeno/heno*). В последующем развитии дублетность поддерживалась искусственно, за счет гиперкоррекции, восстановления немого *h*- в народных формах [*hora/ora* (арх.); *hueso/ueso* (арх.); *huerta/orta* (арх.); *hermolermo* (арх.)], артикуляция которого близка к фрикативному звуку / и четко прослеживается в андалузском диалекте и латиноамериканской речи.

В современный период последовательная нереализация начального *p*- в звукосочетании *ps*-, характеризующаяся постоянством, может быть, отражает новую типологическую черту испанского фонетизма. Она участвует в образовании вариантов в словах греческого происхождения (*psicopatal sicopata; psicosis/sicosis; pseudo/seudo; psalmo/salmo*). Оппозиция «наличие/отсутствие согласного *p*», теряющего в структуре слова свою значимость, демонстрирует его избыточность. Таким образом, редукция в направлении *j*?s -> s отражает нейтрализацию данного звукосочетания в системе испанской фонетики, но нарушающей семантического тождества лексем.

Расхождения между романскими языками, связанными со сдвигами -акцентуации, проявились в функционировании вариантов слов в испанском языке и отсутствии таких словоформ во французском. В испанской фонетике словесное ударение создает условия для подвижности в структуре слова, образуя акцентные словоформы, наподобие тех, которые релевантны в системе флективных славянских языков. В применении к испанскому языку акцентная вариантность принадлежит к числу малопродуктивных по своему лексическому охвату, но как тенденция она влияет на дополнительную интенсификацию вариативности структуры слова.

Образование этих словоформ прослеживается как в двуслоговых, так и трехслоговых структурах. Первые реализуют функциональное тождество в лексемах *dfilo/afilo; egida/egida; epodalepoda; varice/variz*, пропарокситоническое ударение которых устарело, а парокситоническое отражает инновацию разговорной речи.

Вторые акцентные словоформы отличаются более последовательным процессом смещения ударения в направлении к окситонизму. Вследствие этого могут возникать дополнительные условия для его реализации. Например, некоторые процессы в деривации являются фактором образования окситонов типа *enfurcio/enfurcion; esteva/estevon; lerda/lerdon; lastrel lastron*.

Количественной емкостью характеризуется группа лексем, акцентные пары которых образуют предпосылки для закрепления как парокситонов, так и окситонов вместо пропарокситонов, что одновременно могло бы стабилизировать звуковую субстанцию слова (*pedestrel/pidestrel; pelicanol pelicano; p&lquilpalqui; ciclopelciclope; picarilpecari; maraca/maracd*).

Таким образом, перемещение ударения к концу слова приобретает статус вспомогательного средства, препятствующего нестабильности его «структуры», поскольку способствует уменьшению противопоставления

сильный/слабый звук, и, следовательно, поддерживается артикуляция заударных звуков в структуре слова.

Акцентный сдвиг в лексемах может быть обусловлен влиянием внешнего языкового источника, а также воздействием диалектной речи и др. Например, значительная группа галлицизмов с финальнoм на гласный создала дополнительные условия для увеличения окситонических структур типа *bebe, comite, pinzo, tisd, chale, bide*. Обогащение испанской лексики за счет субстратных латиноамериканских языков способствовало не только стабилизации гласного *i* в конце слов, но также реализации их окситонической модели *camoati/camuati; caniquil, acuti, panjl, pauji/paujil; capulilcapulln*. В других случаях *i*-словоформы — это результаты усвоения арабского суффикса в словах типа *maroqui, jaball, cetilcepilceuti?* а также следствие редукции конечных согласных *n, l* в производных лексемах. Это приводит к функционированию в литературе и в разговорной речи дублетных словоформ *rubi/rubian; escari/escarin; carmesifcarmesin; moji/mojil; albanllalbanil; guardamecilguardamecil* и др.

Итак, рассмотренные случаи звуковой альтернатиции и редукции в диахронии и синхронии позволяют утверждать, что структура испанского слова характеризуется постоянной изменчивостью. На современном этапе эволюции испанского языка наиболее продуктивной в звуковых модификациях является слоговая финаль. Материал показывает, что процессы ослабления артикуляции звука — продуктивный источник инновационных словоформ, своеобразный импульс движения структуры слова к новому ее качественному преобразованию. Тем самым она оптимизируется за счет выбора варианта, наиболее соответствующего эффективности функционирования. В целом ряде случаев альтернатиция как процесс нейтрализуется разнохарактерные звуки и их сочетания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Серебrenников В. А. Вероятностные обоснования в компаративистике.)М., / 1974.
2. Горбачевич К. С. Вариантность слова и языковая норма. М., 1978.
3. Маковский М. М. Лингвистическая комбинаторика. М., 1988.
4. Lapesa R. La arosore de la vocal en castellano antiguo. Intento de explicacion historica // Estudios dedicados a R. Menendez Pidal. T. 2. Madrid, 1951.
5. Criado de Val. M. Geografia toponimica e itinirarios del Cantar de Mio Cid//Z.fur Romanische Philologie. 1970. Bd 86. N 1—2.
6. Головина Э. Д. К типологии языковой вариативности // ВЯ. 1983. № 2.
7. Степанова Л. Н. Категория рода и лексические дублеты в испанском языке: Дис_____ канд. филол. наук. М., 1972.
8. De la Grasserie R. Essai de phonologie generate. P. 1890.
9. Trinidad F. Arniches. Un estudio del habla popular madrilena. Madrid, 1969.
10. Salvador G. Neutralizacion g/k en espanol // XI Congreso Internacional de lingüística y filologia románicas. Actas. T. IV. Madrid, 1968.
11. Maria de Mena J. La pronunciaciion sevillana. Sevilla, 1975.
12. Fernandez Gonzales R. El habla de Ancares (Leon). Oviedo, 1981.
13. Alonso Zamora V. Dialectologia espanola. Madrid, 1985.
14. Malmberg B. Linguistique iberique et ibero-romane. Problemes et methodes // SL.. 1961. № 5.
15. Malmberg B. La structure phonetique de quelques langues romanes // Orbis. 1962.. № 11.
16. Joaquin Joie M. Algunos casos de /s/ sonora en Colombia y sus implicaciones dialectales // Homenaje a L. Florez. Bogota, 1984.
17. Ezquerro R. Notas sobre los sonidos consonanticos en espanol // Espana actual.. 1974. № 27.
18. Juan de Valdez. Dialogo de la lengua. Madrid, 1983.
19. Pequeno Larousse. La Habana, 1969.

© 1990 г.

ВЕЙСАЛОВ Ф. Е.

**ПРОБЛЕМА ВАРЬИРОВАНИЯ ФОНЕМ В СОВРЕМЕННОЙ
ФОНОЛОГИИ**

Как известно, критерии сегментации и идентификации звуковых единиц [1—2], разработанные школой Шербы, основаны на морфологическом принципе: «...фонемное членение должно самым непосредственным образом зависеть от морфемного, морфологического. Иными словами, фонологическая сегментация оказывается производной от -сегментации морфологической» [2, с. 22].

Что касается вопроса о парадигматическом тождестве аллофонов (вариантов, оттенков) одной фонемы [3—4], то и здесь исходным является морфологический критерий. Данное положение, во-первых, объясняется тем, что аллофоны одной фонемы никогда не используются для различения смысловых единиц. В русском языке /z/ и /e/ являются вариантами одной фонемы, «... так как не найдем в русском языке ни одного случая, где бы дифференциация смысла была поддерживаема лишь этими двумя оттенками, и такой случай нельзя себе представить даже в искусственном русском слове» [5, с. 117]. Однако непротивопоставленность вариантов фонем на уровне функциональной системы как разных языковых единиц вовсе не исключает для них возможности образовать оппозицию на уровне аллофонов. Так, например, аллофоны немецкой фонемы /d/ — [d'], [d°], [d] и т. д. в словах /_xdi:ze/ «это», /_xdyn/ «тонкий» и /_xda:me/ «дама» не противопоставлены! друг другу как разные фонемы, т. к. в системе немецких фонем нет противопоставления согласных по признакам «губной—негубной», «мягкий — твердый», «апикальный — дорсальный» и т. д. В этом легко убедиться, если устранить фонетические условия, вызывающие появление того или иного варианта фонемы.

Но [d'], [d°], [d] и т. д. противопоставлены друг другу на уровне вариантов, поскольку каждый член этого вариативного ряда противопоставит соответствующим членам вариативных рядов других фонем. Ср.:

/d/ - [d'] # [d°] # [d]

'

/t/ - [t'] # [t°] # [t] и т. д.

С другой стороны, два звука оказываются аллофонами одной фонемы если они связаны между собой лингвистическим, т. е. если их дополнительная дистрибуция возможна в данном языке в пределах одной и той же языковой единицы — морфемы. Так, например, [d] и [d°] встречаются не только в /_xdan/ и /_xd°um/, но и в /_xsndan/ и /_xend°o:/ [6].

И, наконец, единицы, находящиеся в отношении дополнительной дистрибуции, должны обладать акустико-артикуляторным различием. Абсолютно одинаковые элементы не могут быть распределены комплементарно.

Таким образом, варианты фонем — это не физиологически и акустически обусловленные фонемы, а общественно обработанный элемент,

необходимый для функционирования фонологической системы языка. Варианты — это видоизменение языковых единиц, допустимое в данной функциональной системе и обусловленное контекстом и ситуацией их реализации. Вариативность является объективной категорией, присущей всем уровням структуры языка, но в наиболее ярком виде она проявляет себя в единицах плана выражения, находящихся друг с другом как в контактном, так и в дистантном расположении. При этом необходимо отметить, что вариативность на одном уровне или в одном языке может рассматриваться как инвариантность на другом уровне или в другом языке. В немецком языке /d/ и /dʔ/ суть варианты одной фонемы, а в русском — две* самостоятельные фонемы.

Вариативность единиц разных уровней языка подчиняется внутриуровневым законам и регулируется внутриязыковыми правилами. Речь идет о внутривариативности, к которой относятся все варианты, обусловленные позицией, комбинацией, а также дистрибуцией.. Этой вариативности как внутривариативной противопоставляется варьирование, которое зависит от социолингвистических факторов (варианты, используемые членами данного языкового коллектива в различных идиолектных и временных условиях).

При наличии существенных расхождений в исходных положениях: все современные фонологические теории практически выделяют одни? и те же типы вариантов: обязательные и необязательные. Первые в свою очередь подразделяются на основные и специфические. К основным вариантам относятся изолированно произнесенные гласные или реализация: фонем в позиции максимальной дифференциации — гласные под ударением или согласные в интервокальной позиции. Специфические типы вариантов могут быть комбинаторными и позиционными. Если комбинаторные варианты фонем обусловлены комбинацией или сочетанием (ср., например, немецкую фонему /t/ в словах /'t'i:R/ «животное», /'t'y:R/ «дверь» и т. д.), то позиционные варианты в одних языках зависят от супрасегментных характеристик (ср., например, сильную редуцированность гласных азербайджанского языка в безударной позиции: /p' \ 'k/ «кошка», /p'sax/ «нож» и т. д.), в других языках от места их в структуре единиц вышестоящих ярусом (ср. реализацию гласных фонем в немецком языке?:

в абсолютном начале слов и морфем с сильным приступом: /a':lɛt/ «дыхание», /a:bont/ «вечер» и т. д.).

К необязательным типам вариантов относятся индивидуальные и факультативные варианты, которые обусловлены индивидуальными особенностями говорящего и возможностью их взаимозаменяемости (ср., например, шепелявые или свистящие реализации щелевых согласных, картавую реализацию фонемы /R/ и т. д.). Классическим примером факультативных вариантов являются /R/ и /t/ в немецком языке, где увулярный вариант все больше и больше вытесняет переднеязычный раскатистый вариант.

Следует отметить, что для функционирования фонологической системы языка обязательные варианты более значимы, чем необязательные. Подтверждением этого может служить тот факт, что употребление одного обязательного варианта вместо другого значительно затрудняет понимание смысла воспроизведенного, в то время как факультативные варианты находятся в отношении свободного варьирования. Что же касается индивидуальных вариантов, то они могут быть рассмотрены в диахроническом аспекте как один из новых возможных в языке источников появления фонем. Чисто синхронически они для механизма языка незначимы,

но весьма информативны для распознавания личности говорящего. Рассмотренные выше типы вариантов могут быть описаны и с точки зрения эмоциональной насыщенности речи. В этом случае мы будем иметь дело с противопоставлением вариантов по стилистическому признаку «нейтральный/эмоциональный».

Несмотря на разработанность проблемы вариантов в фонологии, некоторые вопросы требуют дальнейшего рассмотрения. К таким вопросам относятся: выявление инвентаря вариантов фонем, исследование сети отношений между вариантами и инвариантами, установление точных критериев, определяющих диапазон варьирования отдельных единиц языка. Нет также достаточно четкого подхода к вопросу о том, можно ли пренебречь акустико-артикуляторными характеристиками при отношении вариантов к одной фонеме. Важно иметь в виду, что существующие правила определения вариантов базируются в основном на анализе отдельных слов, что не дает возможности распространить эти правила на целые высказывания.

Совершенно очевидно, что разработка проблемы соотношения вариантов и инвариантов способствовала бы лучшему пониманию дихотомии языка и речи и связанных с нею других вопросов: проблемы социального и индивидуального в языке, системы и нормы и т. п. Практически же разработка проблемы вариантов способствовала бы оптимальному решению задач преподавания неродного языка и автоматического распознавания устной речи.

Выявление оттенков, на которые распадаются фонемы, а также объяснение причин появления каждого из оттенков Л. В. Щерба считал основными, но вместе с тем весьма трудными задачами фонетики: «Насколько же, однако, трудно обратить на них внимание в первые, явствует из того, что „открытие“ того или другого оттенка обыкновенно вменяется *в* особую заслугу» [5, с. 112].

На необходимость изучения вариативности фонем указывали в свое время также немецкие лингвисты. Еще Э. Зиверс, один из основоположников фонетической науки в Европе, говоря о деятельности фонетиста, отмечал, что установление одной только системы звуков языка (*Sprachlaute*), каким бы оно ни было важным, всегда является лишь элементарной задачей. Для каждого звука, в широком смысле слова, имеется определенный простор, в пределах которого проявляются его разновидности (варианты), точное определение которых, по мнению Э. Зиверса, и составляет основную задачу описательной фонетики [7].

Существенный вклад в разработку проблем варьирования фонем внесли фонометрические исследования Э. и К. Цвириеров, по мнению которых коммуникативная функция языка ставится в зависимость от того, насколько последовательно говорящий и слушатель, принадлежащие к одному и тому же языковому коллективу, придерживаются унаследованной системы норм, устойчивых при данном состоянии языка. Из этого, теоретически правильного утверждения основоположники фонометрического метода не сделали надлежащего вывода, касающегося объединения вариантов фонем. Вместе с тем этот метод достоин внимания, поскольку он позволяет критически проверить средние значимости на основе вычисленных отдельных значимостей [8].

Важность изучения вариативности фонем признается также представителями перцептивной фонетики. В отличие от бинаристов, указывающих на принципиальную важность однозначной фонемной идентификации на основе одних лишь дифференциальных признаков данного речевого

отрезка, лингвисты, занимающиеся перцептивной фонетикой, доказывают, что для распознавания языковых единиц решающее значение имеет информация о данном звуке, содержащаяся не в самом звуке, а в окружающих его звуках или же в переходных участках. Это, по мнению некоторых авторов, относится особенно к гласным в их сочетании с предшествующими согласными [9]. Поэтому вполне естественно стремление многих авторов разрабатывать модель восприятия языка, исходя из единиц, больших, чем фонемы [10].

В решении вопроса о соотношении фонемы и варианта Н. С. Трубецкой, как известно, основывался на дихотомии языка и речи. В фонологическом построении с опорой на дихотомию языка и речи нет места вариантам фонем, за исключением тех случаев, когда варианты выполняют делимитативную функцию ЦП; в этом случае последние оказываются отнесенными к языку.

Вместо бинарного подхода целесообразным и научно обоснованным представляется тернарный подход, исходящий из наличия трех уровней: уровня функциональной системы, уровня нормы и уровня конкретного речевого акта [3, с. 8; 12, 13]. Все эти уровни характеризуются собственными единицами, образующими диалектическое единство. Уровень конкретного речевого акта, самый низкий в этой иерархии, представлен звуками, выступающими как «отдельное», варианты, единицы уровня нормы, представляют «особое», а фонемы, единицы функциональной системы, выступают как «общее». Определение фонемы как «общего», варианта как «особого» и звука как «отдельного» основывается на диалектико-материалистическом истолковании фундаментальных понятий фонологии [3]. Фонемы образуют функциональную систему, основывающуюся на противопоставлении дифференциальных признаков. Эти признаки являются системообразующими. Варианты же представляют собой совокупность дифференциальных и интегральных признаков, причем последние являются приобретенными на уровне нормы. Варианты как единицы нормы зависят от системы. Любое изменение в системе влечет за собой; изменение в норме, любое передвижение в норме регулируется системой. В то же время отклонение от нормы приводит к перестройке единиц системы. В норме нет хаоса, она целиком контролируется системой, следовательно, является уровнем, допустимым системой. Фонема невозможна без вариантов, точно так же, как вариант невозможен без фонемы. Вариант каждой данной фонемы, кроме дифференциальных признаков, включает еще и интегральные признаки, возникающие в той или иной позиции. Варианты противопоставлены на уровне нормы. Если фонема как инвариант — единица неподвижная, ограниченная своими дифференциальными признаками, то вариант, благодаря интегральным признакам, имплицитно содержит возможность диахронических изменений. Интегральный признак — это дифференциальный признак в потенции. Варианты относятся к уровню нормы. Однако диапазон нормы шире, чем диапазон системных единиц. Так, в консонантизме немецкого языка нет противопоставления согласных по признаку «придыхательный/непридыхательный». Вместе с тем в определенных позициях, в частности, в анлауте перед ударным гласным, а также в ауслауте лексем глухие* смычно-взрывные согласные /p/, /x/, /k/ произносятся с заметной аспирацией: /p^h, t^h, k^h/. Эта аспирация является обязательной для всех говорящих на немецком литературном языке. Несоблюдение этого правила воспринимается немецким языковым обществом как акцентное отклонение от немецкой орфофонической нормы [14].

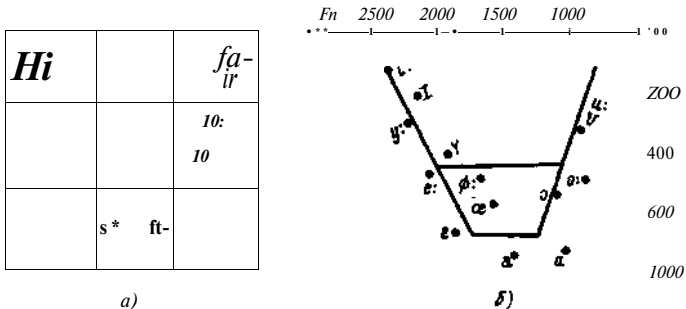


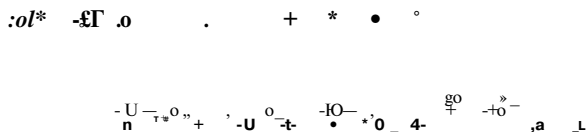
Рис. 1. а) Треугольник немецких гласных, составленный на основе таблиц Л. В. Щербы и Л. Р. Зиндера; б) Схематическое изображение гласных немецкого языка по формантным характеристикам, составленное на основе собственных данных автора.

Ниже будут проанализированы комбинаторные варианты гласных фонем немецкого языка. Исследование можно проводить как в артикуляторных, так и в акустических терминах. Исследования в области акустики речи, интенсивно проводимые в последние два десятилетия с различной целью, показывают, что между данными артикуляторной и акустической фонетики нет противоречия. Наоборот, они дополняют друг друга. В качестве примера можно сравнить классический треугольник гласных с результатами их акустических характеристик (см. рис. 1).

Рис. 16 построен на основе данных анализа формантной структуры гласных немецкого языка. С целью наглядного сравнения результатов акустического анализа с данными классической фонетики мы перевернули систему координат так, чтобы на основании системы оказались гласные /a/ и /a:/. Как видно из сравнения, акустический анализ показывает правильность выводов артикуляторной фонетики. На формантном рисунке гласные расположены почти так, как они даны на треугольнике. Поэтому в дальнейшем анализ будет проводиться в акустических величинах (в соответствующих случаях тому или иному акустическому корреляту будет найдено артикуляторное соответствие). Исходным для настоящего исследования является идея возможного сочетания каждого гласного с каждым согласным, т. е. исследование не ограничивается комбинациями в пределах слога или слова, но и охватывает предложение, поскольку именно последнее выступает в процессе общения в качестве коммуникативной единицы.

Имеющиеся исследования по акустической характеристике сочетания звуков отмечают, что на качество гласного в сочетаниях с согласными наибольшее влияние оказывают предшествующие согласные. На рис. 2 даны результаты исследования начального переходного участка гласных немецкого языка с предшествующими согласными. Согласные сгруппированы с точки зрения активно действующих органов (артикуляции). Из рисунка видно, что после губных согласных гласные имеют довольно низкий переходный участок своей F_n-структуры, после переднеязычных же этот переходный участок заметно выше, чем собственная стационарная часть F-структуры. Такое положение характерно для переходных участков тех гласных, которые отличаются от предшествующих согласных по

ft



а. а: з а- ъ а се ф- у у. ф е: I t= гласные

Рис. 2. Изменения в переходных участках гласных в сочетаниях СГ:0 — после губных (пг); ф — после переднеязычных (пп); -\— после заднеязычных (пз).

артикуляторным характеристикам. Гласные переднего ряда, например, не имеют столь ощутимого повышения в переходном участке сочетания с переднеязычными согласными, в то время как для гласных заднего ряда в сочетаниях с предшествующими переднеязычными согласными отмечается существенное повышение в переходном участке F-структур (см. рис. 2).

В отличие от этого нет резкого переходного участка между гласным и последующим согласным. Именно поэтому анализу подвергаются ударные гласные в комбинациях по модели СГ. Мы не привлекаем к анализу неударные гласные, потому что в неударной позиции кроме характеристик, зависящих от комбинации, необходимо принимать во внимание факторы влияния на гласные супraseгментных характеристик, что является объектом самостоятельного исследования. Исходя из сказанного, можно сгруппировать реализации гласных в сочетаниях СГ по пяти классам:

1. Гласные после губных согласных /b, p, v, f, pf, m/. Нелабиальные гласные /a/, a, e:, s, i:, l/ вступают в непосредственный контакт с губными согласными, т. к. уже конечная фаза предшествующего согласного совпадает с начальной фазой последующих нелабиальных гласных. Эти гласные артикулируются без участия губ. Но поскольку они сочетаются с превокальными губными согласными, то естественно, что губы остаются активными при переходе от согласного к гласному. В спектре гласных в сочетании с превокальными губными согласными обнаруживается своеобразный переход, выраженный в понижении F_i- и F_n-структуры. Лабиальные гласные такого перехода не имеют, потому что губы являются активными как при согласном, так и гласном. Следовательно, контраст между согласными и гласным отсутствует. Реализацию лабиальных гласных после губных согласных можно рассматривать как вариант особого типа. Одинаковые по активному органу звуки характеризуются отсутствием признака. А отсутствие признака позволяет противопоставлять лабиальные гласные в этой комбинации нелабиальным, с одной стороны, и собственным реализациям в комбинациях после переднеязычных и заднеязычных, с другой. Первое противопоставление является инвариантным, а второе — вариантным. По отношению к нелабиальным гласные /o:, э, u:, u, 0 оз, y:, y/ ^&

рактируются отсутствием контраста, а по отношению к реализациям этих гласных в комбинациях после негубных согласных они имеют самое низкое положение F_i и F_u, но без заметного начального переходного участка (см. рис. 2).

II. Гласные после переднеязычных /d, t, z, n, ts, t*, l, l, s/. В комбинациях с этими согласными гласные /i:/, /ɪ/, /y/, /y/, /o:/, /ce/, /e:/ и /e/ не имеют в звуковом спектре четко выраженных переходных участков. Причиной этого является то, что эти гласные, как и предшествующие согласные, артикулируются при активном участии передней части спинки языка. Конфигурация речевого тракта при переходе от согласного к гласному существенно не изменяется, поскольку они характеризуются гоморганностью, вследствие чего на спектре нет переходного участка. Однако спектры гласных /y:/, /y/, /ɪ&-l и /ce/ обнаруживают изменение в переходном участке в силу участия губ при их произнесении, чего не отмечается в отношении согласных. Губы при образовании последующих гласных влияют на артикуляцию предшествующих согласных. Что же касается реализации гласных /a:, a, o:, o, i:, и/ после этих согласных, то в их спектре обнаруживается значительное повышение F_j- и F_n-структуры. Причиной этого является артикуляторная гетероганность. Артикуляторная гетероганность всегда вызывает определенный контраст, выраженный в своеобразном переходном участке между членами сочетания. Напротив, артикуляторная гоморганность не вызывает контраста. Условия для реализации гласных остаются те же, что были у предшествующих согласных. Гласные заднего ряда в комбинациях с предшествующими переднеязычными согласными обнаруживают повышение F_i и F_u в переходном участке при реализации после переднеязычных. Это противопоставление является вариантным и отличается от противопоставления, имеющего место между ними и гласными переднего ряда, которое выступает как инвариантное (см. рис. 2).

III. Гласные после среднеязычных /j, c/. Отметим сразу, что согласный /c/ перед /и:, *ɛ, в, 0:, у/ не встречается. Перед остальными он встречается редко, причем в основном в словах иноязычного происхождения. Гласные /i:, i, e:, e, 0:, оз, у:, Y/ не имеют после среднеязычных особого переходного участка. Близость артикуляции гласных и согласных не ведет к резкому изменению конфигурации речевого тракта при переходе от согласных к гласным. Гласные же /a:, a, u:, u, o:, o/ обнаруживают в соседстве с поствокальными /j/ и /c/ переходный участок, выраженный в повышении F_i- и F_n-структуры. Этот вариант гласных встречается редко, в особенности после /c/. Спектрограммы показывают положение переходного участка.

IV. Гласные после заднеязычных могут быть охарактеризованы с точки зрения варьирования следующим образом: в соседстве с заднеязычными согласными гласные заднего ряда /a:, a, o:, o, i:, и/ не имеют контраста в переходе от согласных к гласным. Согласный /ŋ/ не встречается перед гласными, а /x/ сочетается с гласными в этой комбинации в весьма ограниченных пределах (в основном в словах иноязычного происхождения). Гласные /i:, i, e:, e, y:, y, &:, eel в соседстве с заднеязычными согласными обнаруживают контраст, выраженный в ослаблении начального переходного участка в F_i и понижении начала F_u. Спинка языка при артикуляции гласных переднего ряда в соседстве с превокальными заднеязычными согласными оттягивается назад, вследствие чего происходит изменение конфигурации речевого тракта, характерной для гласных переднего ряда. Конечно, конкретные рисунки глас-

еих отличаются здесь друг от друга так же, как и в рассмотренных выше случаях. Но общая тенденция изменения речевого тракта одинакова.

В. Варианты гласных после назальных согласных. В этой позиции гласные получают особый оттенок, заключающийся в значительном изменении не только⁴ в переходных участках, но и в стационарной части гласных. Согласные /т/ и /п/ артикуляторно характеризуются включением носового тракта в результате опущения маленького язычка. Как известно, немецкие гласные являются чистыми. Оказавшись в соседстве с превокальными /т/ и /п/, гласные в своей начальной фазе получают назализованность в результате того, что опущенный язычок не успевает подняться к концу артикуляции согласного. В определенный промежуток времени он остается опущенным, а потом полностью поднимается, чтобы закрыть проход воздушной струи в полость носа. Такая артикуляторная гетерогенность приводит к изменению всего спектра гласного (см. рис. 2).

И, наконец, реализация гласных обусловлена их соседством с согласными в зависимости от участия голосовых связок в артикуляции предшествующих согласных. Этот контраст, вслед за Л. В. Бондарко, можно назвать контрастом по основному тону. В соседстве со звонкими согласными и сонантами резкого контраста нет. Но в соседстве с глухими согласными обнаруживается контраст, выраженный в отсутствии основного тона у согласных и наличии его у гласных. Артикуляторно причиной этого является включение голосовых связок при произнесении звонких согласных, сонантов и гласных, именно поэтому в комбинациях с ними нет контраста, в то время как при произнесении глухих голосовые связки не участвуют. Поэтому возникает контраст по отсутствию/наличию основного тона. Это относится и к сочетаниям ГС. Этот контраст, как и отмеченные выше, может иметь разную картину в зависимое и от конкретного *i* аподнения каждого члена сочетания СГ: в одних случаях он может быть выраженным очень отчетливо, в других слабее. Необходимо принять во внимание и контрасты по длительности и интенсивности. Однако, нам думается, что эти контрасты должны быть отнесены к вариантам на уровне суперсегментной характеристики, ибо факторы, влияющие на динамическое и количественное варьирование гласных фонем, тесно связаны с суперсегментными характеристиками речи.

Суммируя все сказанное, можно сделать следующие выводы:

1. Проблема конкретного описания варьирования фонемы не получила должного развития. При определенной разработанности проблемы вариантов в теоретическом плане вплоть до настоящего времени нет четкого метода определения вариантов отдельных фонем.

2. Варианты фонем отражают естественные условия их реализации. Каждый вариант обусловлен тем, что он непосредственно представляет какую-то фонему через те условия, в которых он обязателен. Иной вариант в этих условиях неестествен, следовательно, он будет восприниматься как некое отклонение от нормы.

3. Функционирование фонем подчинено правилам варьирования. Любой вариант связан с артикуляторно-акустическими характеристиками, находящимися вне данной фонемы, т. е. обусловлен внешними условиями. Разные реализации одной фонемы являются акустически несходными, поскольку условия их реализации разные. Акустическое несходство имеет свою артикуляторную базу. Фонемы с различными ДП при соседстве порождают больше интегральных признаков, а фонемы с одинаковыми или же частично одинаковыми ДП порождают множество ИП.

4. Основываясь на особенностях артикуляторного взаимодействия речевых органов, можно дать описание комбинаторных вариантов фонем. Число их может быть окончательно определено в том случае, если будут изучены акустико-артикуляторные особенности всевозможных сочетаний фонем языка. По модели СГ можно ограничиться пятью вариантами: 1) гласные после губных; 2) гласные после переднеязычных; 3) гласные после среднеязычных; 4) гласные после заднеязычных; 5) гласные после носовых. Варианты, обусловленные суперсегментными характеристиками, могут описываться с учетом суперсегментных единиц, что может быть объектом самостоятельного исследования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Зиндер Л. Р.* Общая фонетика. М., 1979.
2. *Касевич В. Б.* Проблемы общей и восточной фонологии. М., 1983.
3. *Вейсалов Ф. Е.* Вариативность гласных фонем современного немецкого языка (Экспериментальные данные и теоретические проблемы): Автореф. дис. ... докт. филол. наук. Л., 1980.
4. *Степанов Г. В.* К проблеме языкового варьирования. М., 1979. С. 3.
5. *Щерба Л. В.* Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974.
6. *Зиндер Л. Р.* К вопросу о системе фонем в современном немецком языке // *Philologica*. Исследования по языку и литературе. Памяти акад. В. М. Жирмунского. Л., 1973. С. 172.
7. *Sievers E.* Grundzüge der Phonetik. Leipzig, 1901. S. 45.
8. *Zwirner E., Zwirner K.* Grundfragen der phonometrischen Linguistik. В., 1936.
9. *Бондарко Л. В.* Слоговая структура и дифференциальные признаки фонем: Автореф. дис. ... докт. филол. наук. Л., 1969.
10. *Tscheschner W.* Ergebnisse bei der Analyse von deutschen Sprachlauten // *ZPhon*. 1964. Bd 17. Hf. 2—4.
11. *Трубецкой И. С.* Основы фонологии. М., 1960.
12. *Coseriu E.* Sprachtheorie und allgemeine Sprachwissenschaft. München, 1975.
13. *Вербницкая Л. А.* Русская орфоэпия. Л., 1976.
14. *Vejsalov F. E.* Die phonetische Wissenschaft in der UdSSR und einige Probleme der Phonologie // *Wissenschaft. Zeitschr. der Humboldt-Universität zu Berlin. Ges-Sprachwiss. Reihe*. 1978. Jg XXVII. Hf. 3.

© 1990 г.

ШЕРВАШИДЗЕ И. Н.

ФРАГМЕНТ ДРЕВНЕТЮРКСКОЙ ЛЕКСИКИ

ТИТУЛАТУРА

Этимология древнетюркских титулов представляет сложную задачу и в то же время — увлекательный материал для исследования. Прежде, чем перейти к собственно этимологической части, нам хотелось бы процитировать пассаж из работы Г. Дёрфера [1, с. 393—398], где содержится, на наш взгляд, наиболее содержательный разбор древнетюркской титулатуры.

«Среди титулов мы должны различать следующие 5 категорий:

1) Собственно ранговые титулы, различающие социальные градации и приблизительно соответствующие нашим дворянским титулам. Таковых было всего четыре: а) *xayan* „великий хан, верховный вождь всей Федерации“, б) *yjin* „хан, вождь Федерации, типа *Q'irqiz* и т. п.“, в) *tegin*, слово, обозначающее в узком смысле заместителя хана, т. е. наследного принца (в качестве постоянного заместителя, представитель хана при определенной акции, напротив, назывался *inal*), а в широком смысле объединяющее всех участников верховной коллегии кроме самого хана: так к примеру, в надписи в честь Кюли-чора выражение *tort tegin*, букв. „четыре тегина“ обозначает „два ябгу“ и „два шада“, d) *bag* „князь, глава от дельного племени или предводитель группы значительных должностные лиц“. Ниже этого ранга находилась уже народная масса (*qara bodari*)...

4) От ранговых титулов следует отличать чисто почетные звания и названия должностной принадлежности, такие, как *tar/an* «привилегированное лицо; завоевавшее привилегию на основании особых заслуг», **batur* „лицо, отличившееся в бою“, *icraki* „придворный (при ханском дворе)“, *boila* „принадлежащий к государственному совету“ (... это постоянный почетный титул Тоньюкука), *sadapi* „лицо, не принадлежащее собственно ко двору, но назначенное на должность временного губернатора племени“...

5) Наконец, существовали также особые должностные звания, и в частности: а) *tegin* (*tegen*) = заместитель хана, сын или младший брат хана, часто обозначавшийся также как *kiil tegin* (что-то вроде „великий наследный принц“), с элементом *kiil*, встречающимся и в других названиях должностей... Выбор личности заместителя, как и условия этого выбора, были предоставлены на произвол верховного властителя. Например, вместо брата тегином мог быть выбран сын... В связи с существованием также „малых ханов“ (тегинов) иногда говорят о „двойном царском правлении“ древних тюрков. Выражение это, однако, не вполне корректно и ведет к некоторым недоразумениям: ведь *tegin* сам не имел титула *yayan* и вполне очевидно, что он назначался только по воле настоящего правителя, кагана... Подобное лицо никак нельзя квалифицировать как царя, но лишь как верховного чиновника государства... Однако это слово имело, кроме того, общее значение „принц“, причем звание это было вы-

ше, чем *sad* и *yaЦи* (также являющимся принцами)... б) и с) *yabyu* и *sad*. Хану и тегину в качестве нижестоящих членов верховной коллегии подчинились по одному ябгу и по одному шаду (так что в целом верховная коллегия в большой Федерации древнетюркского государства состояла из 6 человек, а в малых коалициях, сохранявших самостоятельность — таких, как *Tiirǵds*, — как будто бы только из 3 человек: *xa~{an, yabyu, sad*). Они также принадлежали к ханской семье и назначались из числа братьев или сыновей хана. Оба стояли во главе больших государственных уделов, состоявших из древних *el*, т. е. племенных Федераций, объединяющихся государством в так называемой „Великий eZ", так сказать, в Федерацию Федераций. Они часто упоминаются в надписях (в честь Могиляна, Тоньюкука и др.), причем *yabyu* прежде всего в качестве главы Федерации *Tolas*, а *sad* — в качестве главы Федерации *Tardus*. Эти же титулы встречаются и в китайских источниках, см. [2, с. 8, 132, 179, 429]... Как то обстоятельство, что ябгу всегда упоминается в надписях... перед шадом, так и то обстоятельство, что в китайском источнике (см. [2, с. 8]) ябгу стоит выше шада, ясно показывают, что его должностное положение было выше, чем у шада. Жиро [3, с. 73—75] считает, что *yabyu* и *sad* одновременно имелись только у западных тюрков, а восточные тюрки имели только двух шадов; однако конструкцию *eki sad* „два шада", несомненно, следует понимать как „ябгу и шад". Кроме того, китайские источники доказывают, что у восточных тюрков имелся *yabju*, см. [2, с. 81: „В верховных чинах у туцзю был *ye-hu* (*z/abyu*), а за ним — *she (sad)*" ... d) и е) Наряду с членами верховной коллегии существовали высокопоставленные чиновники с титулом *cor* (или *kul cor*). Они не обязательно принадлежали к правящему дому и не обладали собственной армией, но стояли во главе беков (*bag*) государственного удела, подчиненного ябгу и шаду... (M) *cor* был предводителем более привилегированного по тюркским понятиям левого фланга, а потому в перечислениях стоял перед *apa* — предводителем правого фланга, который в прочих отношениях занимал приблизительно тот же ранг, что и *cor*... f) Другие части страны управлялись различными вассальными князьями, исполнявшими обязанности губернаторов. Титулом определенных крупных вассалов и вождей таких коалиций, как карлуки, азы и уйгуры, был *eltabar*... Эльтэбэры не принадлежали к правящему дому, но происходили из древних родов некогда самостоятельных коалиционных правителей. Им как будто бы предоставлялась определенная автономия, см. также [3, с. 73]; g) Гораздо менее автономным и распоряжающимся меньшими владениями, чем *eltabar* был *tutuq (totoq)*, временный губернатор, назначавшийся ханом. В китайском государстве первоначально был титул военных губернаторов, т. е. распорядителей городских пограничных гарнизонов, в большинстве своем — некогда самостоятельных тюркских беков, превратившихся в китайских вассалов, а потому лишенных своих тюркских званий, как то произошло, к примеру в 657 г. с вождями трех карлукских племен; h) По назначению верховной коллегии губернаторы контролировались тудуном (*tudun*) или кюль тудуном (*kill tudun*), занимавшим положение, аналогичное баскаку Золотой Орды, возглавлявшему политически русских вассалов монгольского хана, следившего за сбором податей и т. п. Этот титул также засвидетельствован в китайских источниках, см. [2, с. 132, 179]... i) На вершине общегосударственного правительственного кабинета находился *buirug* „премьер-министр, великий визирь, рейхсканцлер". Кроме того, этот титул, по-видимому, обозначал в более общем плане всех членов министерской коллегии, к примеру, в выражении Ымгад *baglar*... j) Во главе прави-

гельств отдельных Федераций стоял *erkin* или *kill erkin* (например, в Федерациях *yer-Bayirqu* и *Qarluq*);- кроме того, это был титул заместителя буйрука... к) Титул *iiga* обозначал простых государственных советников, министров и в целом соответствовал исламскому визирю; *iiga* также входили в придворный совет, но рангом были ниже, чем *buiruq* и *erkin*. Кроме того, они были советниками малых князей... 1) и ш) В качестве военных титулов встречаются также *su basi* „предводитель войска, генерал” и *Yuca basi* „предводитель авангарда”.

Приведенный выше текст довольно ясно, на наш взгляд, характеризует структуру древнетюркской государственной власти и титулатуры. Не затронут здесь лишь некоторый ряд тюркских званий китайского происхождения, таких, как *tajsi*, *cigsi*, *oy*, *quncuj*, *sayun II saniin*, *tutu* и др.— эти термины отчасти разобраны нами в [4, с. 68—70], и мы более не будем здесь на них останавливаться.

Среди древнетюркских титулов выделяется прежде всего сравнительно малочисленная группа слов собственно тюркского происхождения:

1. *buj(u)ruq* «законодатель, глава королевской законодательной службы», производное от *bujur-* «приказывать, повелевать, распоряжаться» (по-видимому, к более поздней **blrukci* «герольд» — «глашатай, распорядитель и под.» восходит, в частности, др.-русск. *биручь*, *бирючь* «глашатай, надзиратель и под.», примерно как и др.-груз. *darai-i* «сторож» — к др.-тюрк. **toriici* «хранитель порядка, закона и под.»);

2. *gcsükz* «придворный», собственно «внутренний», производное от *icra* «внутри, внутрь» (*ic* «внутренность»);

3. *bdü* «мудрец, советник», производное от о- «думать, размышлять», ср. *bilga* «мудрый, мудрец» от *БИ-* «знать, ведать» (*БИ-* 6- парн. «знать, размышлять», *oga bilga* парн. «мудрый»);

4. *sil basi* «военачальник», букв. «глава войска»;

5. *bltja bast* «начальник отряда, тысяцкий», букв. «глава (отряда из) 1000 человек».

Прочие приведенные выше термины, однако, явно не могут быть этимологизированы на тюркской почве.

В [4, с. 57—58, 703 мы касались этимологии двух терминов из приведенного выше списка (*bag* <С поздне-др.-кит. *paik*; *tutuq* < ср.-кит. *to-tok*). Представляется перспективным поиск китайских этимологии и для ряда других древнетюркских титулов.

1. у а *uau* «каган, царь, верховный правитель», *%an* «хан, правитель, повелитель». Этимология термина *uajan* имеет большую историю, см. [5, с. 141—179]. Однако Г. Дёрфер критически разбирая существующие этимологии, сам не предлагает никакого позитивного решения, считая это слово вероятным заимствованием из неизвестного нам языка жуань-жуаней (как и ряд других древнетюркских титулов, в частности, *tegin*, *batur*, *tartan*, *yatun*, *yabyu*, *sad* и др., см. [1, с. 405, 541]).

0 заимствованном происхождении др.-тюрк. *xaуan* говорит, прежде всего, фонетика: это слово имеет в большинстве современных языков фрикативный анлаутный ^-, невозможный в исконной тюркской лексике (в др.-тюрк. текстах обычно транскрипция *da^an*, однако — как справедливо отмечает Дж. Клосон [6, с. 611],— в этих текстах отсутствовала возможность различения >- и q-). По этой же причине автоматически отпадает ряд предложенных этимологии: от др.-тюрк. *qan* «кровь» [7], от ср.-кит. (1)° *kwân* «министр, чиновник» [8], от ср.-иран. **kavakan* «царь ца-

¹ Здесь и далее полужирные цифры в скобках означают номера иероглифов, представленных в указателе.

рей» [91,— во всех подобных случаях в тюркском ожидалось бы *q*- в анлауте.

Э. Дж. Пуллиблэнк [10, с. 260—262] предложил усматривать прототип тюркского *ya'an*ⁿ гуннском слове (зафиксированном в «Ханьпу») (2) *küuy*, обозначавшем высшего сановника после шаньюя (о последнем см. ниже). Пуллиблэнк предлагает др.-кит. чтение этого слова **hwax-hwah*, отражающее гуннский прототип **^hajd* или **y^hay^hd* (в I в. до н. э.). Соображения Э. Дж. Пуллиблэнка ставятся под сомнение Г. Дёрфером [5, с. 179], но поддерживаются Дж. Клосоном [6, с. 611]. Позднедревнекитайское чтение (2), предлагаемое С. А. Старостиным — **y^ha-y^ha*, в целом соотносится с этой теорией. Происхождение *ya'an*ⁿ гуннского (прототюркского) **Y^haj^ha* представляется нам в принципе вероятным, но с некоторыми уточнениями:

а) в древнетюркском следует предполагать утрату лабиализации обоих согласных. Само по себе это явление естественно (в тюркском, как и в алтайских языках вообще, лабиализованные согласные отсутствуют). Однако если предположить алтайский (и даже конкретно — тюркский), характер языка сюнну, то наличие в этом слове лабиализованных согласных может объясняться только тем, что и в самом языке сюнну это слово было заимствовано из какого-то неалтайского источника, и сохранило — хотя бы отчасти — фонетику оригинала;

б) обращает на себя внимание наличие в тюркском *ya'an* конечного *-n* при его отсутствии в гуннском прототипе. Это может объясняться тем, что в языке сюнну здесь был не *-n*, но какой-то другой признак, к примеру, назализация гласного (*{^ha^h или ^hd^h}*), не отраженная в Китайской транскрипции, но обусловившая появление *-n* в более поздней тюркской форме. Совершенно аналогичное явление наблюдается и в другой гуннской передаче (см. ниже о гунн. **dan^ha* = тюрк. *taryan*);

с) в древнетюркском наряду с *ya'an*, как известно, встречается и форма *yan*. Как справедливо отмечает Дж. Клосон [6, с. 611], *yan* (*yan*) не может быть выведено из *ya'an* на тюркской почве (процесс выпадения *-f* в тюркских языках происходил гораздо позднее). Однако учитывая чрезвычайную близость значений и форм *ya'an*ⁿ и *yan*ⁿ никак не можем рассматривать их этимологию отдельно друг от друга. В языке сюнну, таким образом, должны были существовать обе формы: **^ha^ha* (= тюрк. *ya'an*, кит. (2) **y^hay^ha*) и **^ha* (= тюрк. *yan*) со сходными значениями. Соображения, высказанные выше, заставляют нас считать обе эти формы заимствованными из какого-то неалтайского источника.

Представляется, что таким источником (как и в случае с *bag* и др.) вполне мог быть древнекитайский. Действительно, обычным названием верховного правителя в древнекитайском является (3) *wang*, ср.-кит. *way*, поздне-др.-кит. **^hajj*, с которым вполне можно сравнить предполагаемую гуннскую форму **fa* (позднее тот же термин был заимствован в тюркский уже в виде *ou*, см. [4, с. 69]). Не исключена также связь с кит. (4) *kudng*, ср.-кит. *uway*, поздне-др.-кит. **y^hay* «высочайший, царствующий, монарший» (внутри китайского (3) и (4), по-видимому, этимологически связаны друге другом). Привлечение последней формы позволяет объяснить форму **y^h ay a*, поскольку в китайском существует и редуцированная форма (о) — поздне-др.-кит. **y^harj^har* со сходными значениями, см. [11].

Еще некоторые вопросы, связанные с этимологией и значением терминов *ya'an*, будут разобраны ниже.

2. *tagin* «наследный принц, принц крови». Как Г. Дёрфер [1, с. 541], так и Дж. Клосон [6, с. 483] сходятся в том, что это слово следует признать заимствованием из неизвестного дотюркского источника. Учитывая китайское происхождение прочих титулов верховной тюркской знати (*%ayan*, *%an*, *bag*), мы хотели бы и для *tagin* предложить китайскую этимологию. Как семантически, так и по форме, *tagin* хорошо соотносится с кит. (6) *dachen* «большой чиновник» (вопреки китайско-русским словарям, по сообщению С. Е. Яхонтова), ср.-кит. *daj-^hin*, позднее др.-кит. **daj-gin*. В цитировавшейся выше работе Э. Дж. Пул्लиблэнк [10, с. 257] предположил идентифицировать тюрк. *tagin* с гуннским титулом (7) *tuqi*, ср.-кит. (по С. А. Старостину) *do-gi*, позднее др.-кит. (по нему же) **da-gi*. Нам эта гипотеза представляется весьма вероятной. Учитывая возможность утраты носового в гуннской форме (см. выше с *u^ha^han*), следует реконструировать гуннской прототип в виде **da(j)gT*, что хорошо соотносится с предполагаемым нами китайским прототипом **daj-gin*.

Следует отметить, что при заимствовании китайской титул ату ры через посредство сюнну в тюркском происходило (в этом случае, как и в случае с *%ayan*) функциональное «возвышение»: термин **^ha^hra*, означавший в языке сюнну правителя ниже рангом, чем шаньюй, стал титулом верховного правителя; титул **daj-gin*, означавший в китайском высшего чиновника, превратился в тюркском в титул наследного принца. Только титул (8) **pqik*, означавший в китайском правителя 3-го ранга, сохранил свое значение и в тюркском.

3. *taryan* «тархан, сановник». Это почетное древнетюркское звание играет весьма важную роль в общей схеме происхождения тюркской титулатуры. Большинство имеющихся этимологии разобрано и отвергнуто в [1, с. 469—474] (точка зрения самого Г. Дёрфера сводится опять-таки к констатации заимствованного характера тюркского слова и вероятности его «жуань-жуаньского» происхождения).

Э. Дж. Пул्लиблэнк [10, с. 256—257] отождествил тюрк. *taryan* с верховным титулом сюнну (9) *shanyii*, ср.-кит. *gen-hii*, позднее др.-кит. (по С. А. Старостину) **djan-^ha*. Эту теорию (как и все прочие) оспаривает Г. Дёрфер, однако она получила поддержку со стороны Дж. Клосона [6, с. 539—540]. Предполагаемая форма сюнну должна была звучать как **d(j)ar^ha* (передача иноязычного -z через китайское -n—обычное явление в эпоху Хань, см. [10, с. 228—230; 4, с. 57, 71] (а также ниже — **mauh-tunh*). Мы бы добавили еще (как и в случае с *%a^han* < **fa^ha* и *tagin* < **da(j)gi*) вероятную назализацию последнего гласного в гуннской форме: **d(j)ary^ha* (чтобы объяснить наличие в тюркском конечного -n).

Непосредственно к гуннской форме восходит, очевидно, п.-монг. *йаеша* «старейшина» (к этой форме, в свою очередь, восходит ряд более поздних тюркских форм, см. [12, с. 133]). Дальнейшим по времени заимствованием следует считать монг. *darqan* «знатное лицо; кузнец» (характерно здесь сохранение звонкого -d, подвергнувшегося в тюркском впоследствии оглушению).

Какова же, однако, этимология самой гуннской формы **d(i)ar^hal*? Нельзя не упомянуть здесь об этимологии В. И. Абаева [13], выводящего тюрк. *tar%an* (без учета гуннских параллелей) из скиф. **tarxan* «судья, переводчик», осет. *taerxon* «суждение, суд», однако как фонетические (звонкость анлаутного согласного в прототюркской и монгольской формах при несомненном глухом в иранском), так и семантические проблемы здесь слишком велики. В то же время нельзя не обратить внимание на очевидное

сходство гуннских форм **y'ay'a* и **d(j)ar'a* (так же, как их более поздних тюркских рефлексов *qayan* и *taryan*). Если верно предложенное выше отождествление **y'a* с др*-кит. (3) **чTMay* «царь, император», то представляется логичной та же самая этимология для *-(*)TMav* **d(i)arfa*. Эта версия, несомненно, подкрепляется значением титула шаньюя — (9) у древних сюнну, где он означал именно верховного властителя.

В [4, с. 57, 62] мы указывали на регулярность передачи в древних китаизмах китайских глухих начальных согласных через тюркские звонкие и китайского конечного *-n* через тюрк. *-g*. Если предположить, что эти фонетические особенности характеризуют слова, проникшие в тюркский через посредство сюнну, то весьма заманчиво в таком случае целиком сравнивать предполагаемую гуннскую форму **d(j)ar'a* «верховный правитель» с самым обычным титулом китайского императора (10) *tian-wang* (по С. А. Старостину: ср.-кит. *thien-way*, поздне-др.-кит. **thien-[~]ar*), букв. «небесный император».

В отличие от титулов *%a*(an* и *tagin*, функционально «повысившихся» в тюркской среде, титул *taryan*, как мы видим, несколько «понизился» (произошел переход значения от верховного правителя к сановнику, и далее — к привилегированному лицу вообще). Однако вряд ли можно согласиться с В. С. Таскиным [14], считающим (без достаточных этимологических оснований) форму *ya-/an* монгольской по происхождению и объясняющим замену титула шаньюя на каган у тюрков «закономерным итогом многовековой борьбы между тюркоязычными и монголоязычными народами, закончившейся победой последних». Скорее нужно согласиться с традиционной точкой зрения К. Сиратори [15] о постепенном падении значения шаньюя у сюнну начиная с середины I в. н. э., когда сюнну разделились на северных и южных и появилось два шаньюя.

Общую схему развития древнетюркской высшей титулатуры можно, следовательно, представить следующим образом: -

Китайский прототип	Форма сюнну	Древнетюркская форма
(ок. II—I вв. до н. э.) <i>*fiien-y'ay</i>	(на рубеже нашей эры) <i>* d(j)ary'a</i>	(с VII—VIII вв. до н. э.) <i>tarxan</i>
«верховный правитель»	«верховный правитель»	«сановник»
<i>* У^mУ< * y'B-r)-y'a,y</i>	<i>(*)^TW⁽¹⁾. *T^waV^w</i>	<i>%an, %ayan</i>
«правитель, владыка»	«правитель» (второе лицо после шаньюя)	«верховный правитель»
<i>* daj-gin</i>	<i>* da(j)gl</i>	<i>tagin</i>
«большой чиновник»	«наследный принц»	«наследный принц»
<i>* paik</i>		<i>bag</i>
	(не засвидетельствована)	«князь»

4. Еще один термин, для которого весьма вероятно китайское происхождение — это *tudun* (о его значении см. выше). В [4, с. 70] мы касались этимологии др.-тюрк. *tuuf* < др.-кит. (11) *to-thou* «дутун, (военный) губернатор; командующий войсками». Весьма вероятно, что древнетюркский титул *tudun* является несколько более ранней (с характерными фонетическими особенностями: передачей *-th-* через *-d-* и *-y* через *-n*) передачей того же китайского титула.

Немногочисленным, но интересным представляется слой иранизмов в тюркской титулатуре. Сюда, по нашему мнению, могут быть отнесены следующие звания:

1 官	6 AIII	賢設
2 讓于	7 署耆	13 可賀郭
3 王	8 伯	14 頡利發
4 皇	9 單于	15 翁侯
5 皇皇	10 天王	16 昌頓

1. *s(td* «вице-король» (младший брат или старший племянник верховного правителя, принц крови). Несмотря на скепсис Г. Дёрфера [5, с. 323—324], иранская этимология слова представляется наиболее убедительной. Речь, конечно, не может идти о заимствовании из ср.-перс. *sah* «царь» <др.-иран. *xəyašša-*), что исключено по фонетическим причинам. Мы знаем, однако, что основная масса иранизмов проникла в общетюркский (и в древнетюркский) из восточноиранского, прежде всего, согдийского источника, см. [4, с. 71—78]. Поэтому можно думать о согдийской основе тюркской формы, в частности, о согд. *xsʾ8(ʿ) [xʁabʿ(ʿ)]// *xsʿ(ʿ)8 [xsaʿ(ʿ)8] «царь» <^ др.-иран. *Xsabra-*, *XsaQa-*, древнее Божество иранских племен во второй, в военной функции в трехфункциональной структуре верховных Богов индоевропейцев. В мифологическом фонде Индии эквивалент этой формы — *ksatrd-* (индийская и иранская формы восходят к индоиранскому **ksatra-*). Судя по аналогии с др.-инд. *ksatrd-*, иранское слово одновременно должно было обозначать класс воинов, из которого обычно происходят цари, могущество и светскую власть. Именно последний аспект верховности закрепится за *Xsabra-*, *Xšaʾa-* после зороастрийской реформы, однако прежнее содержание его полностью не исчезло (материальный атрибут Бога — металл, ср. изображение *Xsabra- V airy a-* под именем *Saoreoro* на монетной легенде царя Канишки), см. [16, 17]. Старая функция иранского имени как будто бы прослеживается и в тюркской форме. Известное сближение тюрк. *sad* с согд. *xsyʾ5*, *ʿxsyʾ5* [xʁseβ] «царь» (см. в [18]), таким образом, становится еще более сомнительным не только с чисто фонетической стороны (заднерядный вокализм в тюркском при переднерядном согдийском), но и в свете предлагаемой*трактовки (этимологически тождественным производному от этой формы — **xsyʾ8k*, **xsyʾ8y* [xʁsede] «царский», по-видимому, является название рода Тоньюкука — **Asida*, ср. родоплеменное название тюрков *Asina* <^ согд. **xzuyʾk*, **xzuyʾy* [oxsene] «синий» от др.-иран. **axsaina-ka-* тж., букв. «не-сияющий»).

Могут быть приведены еще дополнительные аргументы в пользу иранской этимологии тюрк. *sad*. В закавказской топонимике встречаются этимологически дублетные топонимы тюркского происхождения *Sahverdi* (в зоне иранского Азербайджана) и *Satberdi* (древнегрузинский монастырь

в Тао-Кларджетском княжестве первой половины IX в.), восходящие к *sah*/**sad verdillberdi* «владыка даровал». В последней форме несомненно отражен тюркский термин *sad* (с нейтрализацией противопоставления по глухости/звонкости перед последующим звонким в грузинской передаче), представленный при этом и в ономастике того же региона, например, в составе Элыпад (= *al sad*). Одним из ранних упоминаний данного слова в тюркском можно считать, в частности, китайскую запись имени юного вождя из второй версии тюркской легенды — (12) — **axien-set* (в среднекитайской транскрипции, по С. А. Старостину), см. [2, с. 490; 19].

2. *sadap* «сатрап, наместник». К сожалению, нам неизвестен согдийский эквивалент ср.-перс. *sahrap*, парф. *hstrp* (= *xsahrap*) «сатрап». Однако по аналогии с согд. **xΓ8()* II **xs'()*8 «царь», понимаемым как наместник Бога на земле, можно предполагать наличие равнозначной согдийской формы **xΓ8'()*Yp [xsa8'()ap]/**zs'()*8'j9 [xsa'()8ap] < [др.-иран. *xsaWa-pa* (-van), откуда, в частности, греч. са-срат;] и др. «сатрап, наместник персидского царя, правитель области».

В тюркском руническом памятнике в честь Кюль-Тегина встречается форма *sadapit* в предложении *barija sadapit bδgldr firaja tarqat buj(u)ruq baglar* «[Вы, стоящие] справа наместники и князья! [Вы, стоящие] слева сановники, законодатель и вожди!» Представляется вполне вероятной трактовка здесь ~(i)t как обычного в титулатуре показателя множественного числа от тюрк. **sadap* <^ согд. **xs'6C)*p II **xs'()*8p (ср. в Бугутской надписи [20] группу титулов: *fdpyt tfw'nt 'wr^p^nt twbwnt*).

Если данная версия окажется соответствующей действительности (аналогичное суждение высказано также О. А. Мудраком в устной форме), то она станет сильным дополнительным аргументом в пользу вышепредложенной этимологии титула *sad*.

Альтернативная этимология, предложенная А. Бомбачи [21], выводит тюрк. *sadapit* из гипотетического др.-иран. **sata-pati-* «сотник» (= др.-инд. *sata-pati-*), что маловероятно: она противоречит иерархической последовательности (например, в «табели о рангах» Бугутской же надписи) и неудовлетворительна фонетически (неясны причины передачи иран. *s-* через тюрк. *š-*, а непосредственное заимствование из древнеиндийского источника довольно сомнительно).

3. *iftun* «царица, императрица; вельможная дама». Теория иранского происхождения слова широко распространена в тюркологической литературе, безоговорочно принята Дж. Клосоном [6, с. 602]. Предполагается заимствование из согд. *uwfyn*, **xwfyw* [xwaten] «царица» <Г др.-иран. **xwa-tdwayani* [22], представлявшего собой дериват от *^wt^w*, *xwfw* «господин, государь» « др.-иран. **xwa-tdwaya-*).

Однако Э. Бенвенист решительно возражает против этой этимологии, считая совпадение согд. **xwaten* и тюрк. *yatun* (*qatun*) чистой случайностью. Основания для этого выдвигаются фонетические: отсутствие лабиализации (*xw-*) и несоответствующая передача согд. -*ë-* в тюркском. Нам эти возражения представляются неубедительными: а) выше мы видели, что прототюркская лабиализация (в заимствованной лексике) в древнетюркском регулярно утрачивается. Развитие **xwaten* ^> **qatun*, таким образом, вполне закономерно, и полностью аналогично развитию **y^d-^fa* ^> **%a^an*; б) некоторые современные формы (типа тур. *kadm* и др.) без лабиализации второго гласного указывают на возможность существования в древнетюркском формы **%atin* наряду с **%atun*. Это снимает второе возражение Э. Бенвениста: можно предполагать, что при утрате первоначальной лабиализации первого слога она могла быть факультативной.

тивно перенесена на второй, что привело бы к возникновению вариантов **%atun//%atin*². Как бы то ни было, чрезвычайная фонетическая близость и полное семантическое совпадение тюркской и согдийской форм, на наш взгляд, исключает какую-либо иную возможность этимологизации тюркской формы.

4. *al-tibar* «канцлер, начальник королевской канцелярии, хранитель печати и под.», «рейхсканцлер, премьер-министр». Титул имеет, по-видимому, частично иранское происхождение: первая его часть — это тюрк. *al* «государство», а во второй представляется возможным усматривать «р.-перс. (парф. и др.) *dybr* [dibir] «канцелярист» <^ др.-иран. **dipi-vara-* (для тюркской формы не исключено согдийское посредство).

Засвидетельствована среднекитайская передача этого термина в виде — (14) **fiet-H-pwdt* (по С. А. Старостину), что, очевидно, должно передавать тюркское звучание типа **al-tipdr* или **al-tibar*. Сходная форма отмечена также у жуань-жуаней, однако, учитывая иранский характер титула с тюркским компонентом *al*, представляется вероятным его тюркское начало в языке жуань-жуаней.

Имеются еще некоторые древнетюркские титулы, происхождение которых не вполне ясно:

1. *jabyu* «вице-король» (член царствующего дома). Надежной этимологии слово не имеет. Предлагаемая К. Менгесом [24] идентификация титулов *jabyu* и *shanyii* не выдерживает критики по фонетическим причинам (тюрк. *-b-* при ср.-кит. *-n-*). Г. Дёрфер [25] достаточно убедительно показывает, что этот термин попал к тюркам от тохаров, однако тохарская этимология его также неясна.

Первые титул *jabyu* засвидетельствован в китайской хронике для 123 г. до н. э. — (15) **(iap-yo* (по С. А. Старостину). Заманчиво сравнение слова с тиб. *skjabs-mgon* «помощник, заместитель» (вкупе с диалектными вариантами). Можно полагать, что форма типа *s-kjab-s-m-go-n* [kjabgo] «вице-король», т. е. «помощник, заместитель (правителя)» прошла через фильтр конкретного языка и сложилась по его фонетическим образцам. Отметим, что тиб. *skjabs-mgon* «помощник; защитник, покровитель» использовалось в титулах тибетских далай-лам и панчен-лам.

2. *bojla* «советник». В связи с наличием эллинизмов в общетюркском (и в древнетюркском) [4, с. 78—79] было бы заманчиво сопоставить слово с греч. *ρουXσία* «звание члена совета» при *ροιXτῆ*, дор. *stovXa*. «совет, наставление», (ἄοχατο? «подающий (благие) советы» и др., тем более, что титул носил Тоньюкук — советник тюркских каганов в Восточном каганате. По-видимому, греческой форме тождественен и титул В01ЛН (в бактрийской передаче) на монетах восставших селевкидских правителей).

Если удастся доказать греческое происхождение данного слова (неза-

² К. Сиратори [23] и др. приводят еще среднекитайское чтение — (13) **kM-ya-ton* (по С. А. Старостину), которое отражает, видимо, тюрк. **qayatuṅ* «императрица» от **kd x^{mn}* «член царствующего дома; принцесса» (аналогично др.-тюрк. *qayadas* «родственник, родич» от **ka kadas* «кровный родственник» при равнозначном *qap qadas* от **kap kadas*, вероятно, сюда же др.-тюрк. *qaryuṅ* «капган, царь, верховный правитель» в *qaryuṅ qayan* от **kap ʕan* «член царствующего дома; принц» при авар. *carpan-us* — в латинской передаче и др.; на фоне этих предположений допустить происхождение формы *hayuṅ* от **ka x^{mn}* «член царствующего дома; принц», по-видимому, нельзя, поскольку отсутствуют фонетические аргументы для подтверждения гипотетической тюркской праформы). Вместе с тем некоторые аспекты здесь все еще не вполне ясны (в том числе возможность этимологизации термина *bayatur* «герой, богатырь» от **bakatlr* < **ka batir* «отпрыск героя», «герой», при осет. *qasbatyr* «храбрый, отважный» и предполагаемой связи тюркского слова с названием Бактрии; см. ниже).

висимо от того, что оно может оказаться проникшим в тюркский через иранское посредство), то можно было бы выдвинуть предположение о греческой этимологии еще двух титулов — *arkin* и *cug*.

3. *üelln* «правитель, вождь». Слово обычно трактуют как производное от тюрк. *ark* «сила, могущество, власть». Однако, на наш взгляд, его можно было бы связать с греч. $\alpha\rho\tau\omega$ «архонт, предводитель, начальник, вождь, командир; правитель, владыка, царь», назначение которого практически совпадает с назначением *arkin* у тюрков. Данное предположение представляется заслуживающим внимания, несмотря на определенные фонетические трудности (переднерядный вокализм в тюркском при заднерядном греческом). Не исключена возможность контаминации на тюркской почве греческого $\alpha\rho\tau\omega$ с исконно тюркским корнем *ark* и его производным.

4. *cug* «властелин, предводитель». Функционально и фонетически этот титул схож с греч. хбр-юс, *хир-о? «повелитель, владыка; господин, хозяин, глава» (при др.-инд. *sura-* «герой»), хотя конкретный индоевропейский источник для тюркского слова реально не обнаруживается. Мы знаем, однако, что иран. *k* в соседстве с *g* может нерегулярно отражаться в качестве палатализованного *s*, например, в согдийском, ср. согд. *crks* [carkas] «гриф, стервятник» при авест. *kahrkasa-*, ср.-перс. *karkas*, н.-перс. *kargas*, осет. *csergses* и др., см. [26]. Поэтому есть определенные основания думать о согдийском посредстве и о наличии в нем формы **cwr* [cwr]³.

5. *batur*, *bayatur* «герой, богатырь». Надежных этимологии слова не имеют. Интересно предположение О. А. Мудрака (устное сообщение) о возможной связи тюрк. *bafatur* с названием Бактрии (типологически ср. перс. *pahlav-an* «герой, богатырь и под.», букв. «парфянин» от др.-перс. *parQava-*). Основа с начальным *m-* засвидетельствована в современных языках (типа тув. *madir* и под.) и в старых китайских источниках (Мао-дунь — имя собств. второго шаньюя сюнну — 209—174 гг. до н. э. — (16) **mduh-tunh*, по С. А. Старостину).

Итак, можно констатировать, что тюркская титулатура имеет многослойный характер, и в ней можно выделить: а) основной слой китаизмов (проникавших, по-видимому, через посредство сюнну); б) исконно тюркские основы; в) немногочисленный слой иранизмов; д) вероятно, также отдельные титулы греческого и пр. происхождения⁴.

Не исключено, что этимологическим дублетом от греческой основы может оказаться др.-тюрк. *qur* «положение, чин, достоинство, ранг». Изначальное значение тюркского слова выглядит сильно размытым, но оно как будто усматривается в сочетании *qurvi* срас «балдахин (для правителя), ханский шатер», где *qurvi* < **kuq uwı* (пара-таксис) «ханское становление, ханский шатер, балдахин» (откуда др.-груз. *karav-i* «куща»), а *euvae* — это «Паланкин и под.». В таком случае, известную фразу из «Слова о полку Игореве» — *ис Кулеа борискаше до курь Тмутараканя, великому Хърсови выкъльмь путь прЪрискаше*, по-видимому, можно будет переводить еще и так: «из Киева добегал до правителей Тмутаракани и волком великому Хорсу путь пересекал».

Довольно сложен вопрос о соотношении титулатуры тюрков и жуань-жуаней. Ряд тюркских титулов, в частности, $x^{\text{Г}}q^{\text{м}} > *qa^*(atun, Ul-tib\&r, arkin, засвидетельствован также в языке жуань-жуаней [27] (в подчинении у которых тюрки некоторое время находились). Теоретически не исключено поэтому, что эти формы проникли в тюркский из языка жуань-жуаней (о котором мы вообще знаем едва ли больше, чем о языке сюнну), однако не менее вероятно и обратное направление заимствования (а в каких-то случаях — общее существование и тюрками, и жуань-жуанями из третьего источника, — например, из китайского через посредство сюнну). В целом проблема интересна, но ввиду недостаточности материалов вряд ли пока однозначно разрешима и, по-видимому, для наших целей не очень существенна.$

Пользуясь случаем, мы приносим глубокую признательность С. А. Старостину, А. М. Щербак и С. Б. Яхонтову, прочитавшим в рукописи настоящий фрагмент в оказавшим нам помощь консультациями и критикой.

Характерно, что распределение иноязычные элементы в тюркской титулатуре вполне аналогично общей стратификации иноязычных заимствований в общетюркском, см. [4, с. 54—86]: основную роль играют китаизмы, затем — иранизмы, и в последнюю очередь заимствования из иного индоевропейского источника (источников).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Doerfer G.* Turkische und Mongolische Elemente im Neupersischen. Bd II. Wiesbaden, 1965.
2. *Liu Mau-Tsai.* Die chinesischen Nachrichten zur Geschichte der Ost-Turken (T'u-Kiie). Buch 1—2. Wiesbaden, 1958.
3. *Giraud R.* L'empire des Turks Celestes. Les regnes d'Elterich, Qapghan et Bilga (680—734). Contribution a l'histoire des Turcs d'Asie Centrale. P., 1960.
4. *Шервашидзе И. И.* Фрагмент общетюркской лексики. Заимствованный фонд // ВЯ. 1989. № 2.
5. *Doerfer G.* Turkische und Mongolische Elemente im Neupersischen. Bd III. Wiesbaden, 1967.
6. *Clauson G.* An etymological dictionary of pre-thirteenth-century Turkish. Oxford, 1972.
7. *Бернштам А. Н.* Социально-экономический строй орхон-енисейских тюрок VI—VIII вв. М.; Л., 1946. С. 29.
8. *Ramstedt G. J.* Aufsätze und Vorträge von G. J. Ramstedt / Ed. Aalto P. // JSFOu. 1951. T. 55. S. 61—62.
9. *Spuler B.* Die Mongolen in Iran. Politik, Verwaltung und Kultur der Ilhanzeit 1220—1350. 2. erw. Aufl. B., 1955. S. 553.
10. *Pulleyblank E. G.* The consonantal system of Old Chinese // AM. 1962. V. 9. Pt. 2.
11. Большой китайско-русский словарь. Т. 2. М., 1983. С. 161.
12. *Rasanen M.* Versuch eines etymologischen Wörterbuchs der Türkisprachen. Helsinki, 1969. S. 133.
13. *Абаев В. И.* Историко-этимологический словарь осетинского языка. Т. III: S—T'. Л., 1979. С. 276—277.
14. *Таскин В. С.* О титулах *шагьюй* и *каган II* Mongolica. Памяти академика Бориса Яковлевича Владимирцова (1884—1931). М., 1986. С. 217.
15. *Shiratori K.* Kakan to katon shogo ko (К этимологии титулов *каган* и *катун*) // Тбуб Gakuho. 1922. V. 11. № 3.
16. *Bartholomae Ch.* Altiranisches Wörterbuch. Strassburg, 1904. S. 542—546.
17. *Дюмезиль Ж.* Верховные боги индоевропейцев. М., 1986. С. 30—38, 211.
18. *Rossi A. V.* In margine a *On the Ancient Turkish Title «sa8»* // Studia turcologica Memoriae Alexii Bombaci Dicata. Napoli, 1982.
19. *Шервашидзе И. Н.* Еще раз об этимологии имен *Asina* и *Attila* — *Автохоль II* СТ. 1989. № 2. С. 19.
20. *Kljastornyj S. G., Livšits V. A.* The Sogdian inscription of Bugut revised // АОН. 1972. Т. 26. Fasc. 1. P. 86.
21. *Bombaci A.* On the Ancient Turkish title *sadapit* // UAJ. 1976. № 48.
22. *Benveniste E.* Titres et noms propres en iranien ancien. P., 1966. P. 29.
23. *Shiratori Kurakichi zenshu.* (Супатому К. Собр. соч.) Tokyo, 1970. V. 4. M. 140.
24. *Menges K. H.* The Turkic languages and peoples. Wiesbaden, 1968. P. 88.
25. *Doerfer G.* Turkische und Mongolische Elemente im Neupersischen. Bd 4. Wiesbaden, 1975. S. 124—136.
26. *Gershevitch I.* A grammar of Manichean Sogdian. Oxford, 1954. P. 40.
27. *Таскин В. С.* Материалы по истории древних кочевых народов группы дунху. М., 1984. С. 269, 280, 414.

© 1990 г.

ТАРИВЕРДИЕВА М. А.

ЛАТИНСКИЙ КОНЪЮНКТИВ В СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫХ
ПРЕДЛОЖЕНИЯХ

(ТИПОЛОГИЯ ЗНАЧЕНИЙ)

Типологические расхождения языков проявляются, как известно, не только в различии приемов передачи грамматических значений, но и в различной типологии построения самих систем грамматических значений, обусловленной несовпадением в содержательной стороне грамматических явлений [1]. Такие расхождения возможны и в грамматических системах близкородственных языков. Они обусловлены как внутриязыковыми процессами в ходе неодинакового исторического развития родственных языков, так и факторами экстралингвистического характера, как это было, например, при формировании романских языков из единого языка-основы (латинского языка) [2].

Проблеме структурной общности романских языков и их типологических расхождений с латинским языком посвящены многие исследования (см. [2—5]). Основу большинства работ составляет типологическое сопоставление фонетических систем, морфологических форм и лексических единиц сравниваемых языков. Значительно меньшее внимание уделено анализу синтаксических конструкций, особенно взаимодействию и взаимодополнительности синтаксических структур и морфологических категорий (в частности, категорий глагола) в разных языках при выражении аналогичного содержания. Между тем важность вовлечения в орбиту типологических изысканий содержательной стороны языка не подлежит сомнению, поскольку и в этой области языки обнаруживают черты как сходства, так и различия [6].

К числу таких сложных грамматических вопросов, нуждающихся в систематизации на основе семантического анализа, относится употребление конъюктива в сложноподчиненном предложении. Изучению семантики и функций романского конъюктива посвящены обширные разделы грамматик и специальные исследования (см., например [7]). При всем разнообразии мнений (см. обзор разных точек зрения на проблему наклонений во французском языке в [8, с. 198 и сл.]) созданы и системные описания употребления конъюктива в отдельных романских языках, построенные на едином семантическом основании (см. анализ функций французского субъюктива в [8, с. 206—209; 9, с. 53—96]). Большинство же исследований в области латинского синтаксиса (включая употребление конъюктива) выполнено на формально-описательной основе [10, 11] или на базе структурного анализа [12, 13]. Между тем типологическое сопоставление конъюктива в романских языках с латинским конъюнктивом остается невозможным до тех пор, пока не выявлена система семантических закономерностей функционирования этого наклонения в каждом из сопоставляемых языков.

В настоящей работе предпринимается попытка семантического анализа роли латинского конъюнктива в придаточной части сложноподчиненных предложений с целью выявления типологии значений конъюнктива в данном употреблении. Исследование проводится на материале латинского языка классического периода, характеризующегося развитой грамматической системой и устойчивой письменно-литературной нормой.

Согласно традиционной точке зрения, употребление конъюнктива в придаточных предложениях в латинском языке было в значительной мере формализованным: конъюнктив служил формальным средством обозначения грамматического подчинения [14, 15]. Между тем необходимо учитывать тот факт, что почти все союзы и соединительные слова, после которых употребляются придаточные с глаголами в конъюнктиве, могут вводить и придаточные с глаголами в индикативе. Это заставляет предположить, что чередование наклонений имеет семантическую основу и, следовательно, что конъюнктив в придаточных не является средством синтаксического подчинения, а семантически мотивирован.

В некоторых исследованиях обращается внимание на неодинаковость значений конъюнктива в придаточных предложениях. Указывается, в частности, что в придаточных с союзом *cum*, в придаточных определительных и в косвенном вопросе конъюнктив, «по своему абсолютному значению уместный в предложениях цели, желания, запрета, боязни и т. п., становится выражением внутренних связей между предложениями, оценки со стороны говорящего, установления разноплановости субъекта речи и субъекта предложения» [16, с. 214]. Однако комплексного изучения семантики латинского конъюнктива в придаточных предложениях почти не проводилось (к попыткам такого рода следует отнести [17]).

Употребление конъюнктива в придаточных предложениях разных типов свидетельствует о том, что его семантика носит очень общий характер. Построение гипотактических связей, выбор формы выражения этих связей (модели придаточного предложения, включающей союз и наклонение глагола) принадлежат говорящему. Следовательно, искомый параметр должен характеризовать не только объективное содержание высказывания, но и отношение говорящего к этому содержанию.

Учитывая обусловленность критерия выбора наклонения в придаточных предложениях содержанием высказывания в целом, а также зависимость формы выражения этого содержания от говорящего, предполагается, что параметром, определяющим употребление конъюнктива в придаточных предложениях, является модальность высказывания.

Под модальностью высказывания понимается «...представление действительности с точки зрения субъекта речи — «я» говорящего, но с точки зрения типизированной, объективированной „раз навсегда“ — для данного состояния языка — средствами самого языка» [18]. Современная концепция модальности, явившаяся результатом творческого развития идей В. В. Виноградова¹, подчеркивает универсальность этого понятия, его функциональную природу. В специальных исследованиях общее определение модальности подвергается более детальному толкованию. Модальность интерпретируют как характеристику высказывания с точки зрения его достоверности; включают в понятие модальности эмоционально-оценочные смыслы; исследуют роль модальности в общей системе средств выражения субъективности в языке, коммуникативный

¹ Ср. определение В. В. Виноградова: модальность — это «отношение действия к действительности, устанавливаемое говорящим лицом» [19].

аспект модальности. Думается, что при изучении функций конъюнктива в придаточной части сложноподчиненных предложений необходимо иметь в виду все перечисленные аспекты понятия модальности в их совокупности.

Структурные связи придаточных предложений с главным аналогичны структурным связям между членами простого предложения — предикатно-актантным, предикатно-сирконстантным и атрибутивным [20]. Придаточные предложения сгруппированы в соответствии с характером связи между ними и главным предложением.

1. Характер выражаемых предикатно-актантными связями дополнителных отношений зависит от семантики управляющих предикатов. Поэтому семантический анализ придаточных предложений, соединяемых с главным такого рода связями, должен проводиться одновременно с анализом значений глаголов-сказуемых главного предложения, управляющих этими придаточными.

Придаточные с союзом *ut*. В грамматиках отмечается [11, с. 226], что придаточные с союзом *ut* (или, при наличии отрицания в содержании придаточного, с союзом *ne*) употребляются после глаголов-предикатов волеизъявления: *Ita volo itaque postulo, ut fiat* (Тер. Андр. 550)² «Я хочу и требую, чтобы было так»; *Caesar postulavit, ne Ariovistus Aeduis bellum inferret* (Caes. В. Г. 1, 43, 9) «Цезарь потребовал, чтобы Ариовист не начинал войны с эдуями»; после глаголов боязни: *Omnes labores te excipere video, timeo, ut sustineas* (Cic. Fam. 14, 2, 3) «Вижу, что ты берешь на себя все труды; боюсь, что ты не выдержишь»; *Vereor, ne a te rursus dissentiam* (Cic. Leg. 3, 15, 33) «Боюсь, как бы вновь не разойтись с тобой во мнениях»; после глаголов препятствия: *Atticus, quamdiu Athenis affuit, ne qua sibi statua poneretur, restitit; absens prohibere non potuit* (Нер. 25, 3, 2) «Аттик, пока был в Афинах, противился тому, чтобы ему была поставлена какая-либо статуя; отсутствуя, он не мог этому воспрепятствовать». После глаголов препятствия возможно также употребление союзов *quin*, *quominus* — функциональных синонимов союза *ne*: *Non ea res me deterruit, quominus litteras ad te mitterem, quod tu ad me nullas miseris, sed quia, nec quid suaderem, nec quid consolationis afferrem in tantis malis, reperiebam* (Cic. Fam. 6, 22, 1) «Меня удержало от того, чтобы послать тебе письмо, не то обстоятельство, что ты мне ничего не написал, но то, что я не находил ни того, что я мог бы посоветовать тебе, ни того, чем бы я мог утешить тебя в стольких несчастьях».

Перечисляемыми в грамматиках семантическими группами глаголов список предикатов, присоединяющих придаточные с союзом *ut* и его отрицательными аналогами, однако, не исчерпывается. Вне семантической классификации остается большая группа предикатов, обозначающих различные конкретные действия, присоединяющих придаточные цели и следствия: *Alii in praedia sua proficiscuntur, ut locupletiores rever-*

² В статье используются следующие сокращения: Caes. В. Г. — С. Julius Caesar. De bello Gallico; Cic. Att. — М. Tullius Cicero. Epistulae ad Atticum; Cic. De or. — М. Tullius Cicero. De oratore; Cic. Div. — М. Tullius Cicero. De divinatione; Cic. Fam. — М. Tullius Cicero. Epistulae ad familiares; Cic. Fin. — М. Tullius Cicero. De finibus; Cic. Leg. — М. Tullius Cicero. De legibus; Cic. Marc. — М. Tullius Cicero. Pro M. Marcello; Cic. N. D. — М. Tullius Cicero. De natura deorum; Cic. Off. — М. Tullius Cicero. De officiis; Cic. Sen. — М. Tullius Cicero. Cato Major sive De senectute; Cic. Sulla — М. Tullius Cicero. Pro P. Sulla; Cic. Tusc. — М. Tullius Cicero. Tusculanae disputationes; Liv. — Titus Livius. Ab urbe condita; Nep. — Cornelius Nepos. Vitae; Ov. Pont. — P. Ovidius Naso. Epistulae ex Pontico; Plin. Ep. — С. Plinius Secundus (minor). Epistulae; Plin. N. H. — С. Plinius Secundus (major). Naturalis historia; Sen. Ep. — М. Annaeus Seneca. Epistulae ad Lucilium; Suet. Julius — С. Suetonius Tranquillus. Julius Caesar; Ter. Andr. — P. Terentius Afer. Andria.

tantur, ego, ut pauperior (Plin. Ep. 8, 2) «Другие уезжают к себе в имения, чтобы вернуться обогатившись, я — чтобы обеднеть» (придаточное цели); *Ne ita claudenda res est familiaris, ut earn benignitas aperire non possit* (Cic. Off. 2, 15, 55) «Имущество не должно быть закрыто так, чтобы его не могла открыть щедрость» (недоступность имущества — это возможный результат: придаточное так называемого «логического» следствия); *Delphini tanta vi exsiliunt, ut plerumque vela navium transvolent* (Plin. N. H. 9, 7, 20) «Дельфины выпрыгивают из воды с такой силой, что перелетают через паруса кораблей» (о перелетании дельфинов через паруса кораблей сообщается как о реальном положении дел: придаточное так называемого «фактического» следствия). Мы предлагаем назвать предикаты, управляющие придаточными цели и следствия, предикатами действия, поскольку все они обозначают те или иные действия, направленные на достижение определенной цели или дающие определенный результат.

В значении всех предикатов, управляющих придаточными с *ut*, можно выделить общий семантический компонент — «желание субъектом некоторого положения дел»³, — который выступает в данных предикатах в сочетании с другими семантическими компонентами: в предикатах волеизъявления — с компонентом «говорение»; в предикатах мысли — с компонентом «неуверенность в осуществлении желаемого». Семантика предикатов — *verba impediendi* — предполагает обязательное наличие другого субъекта — инициатора ситуации, нежелательной для субъекта препятствования; значения предикатов действия включают указание на практические действия субъекта волеизъявления.

Выражение желания обладает коммуникативной значимостью лишь в том случае, если желаемое отсутствует (ср. [9, с. 67]). Следовательно, желаемое положение дел — это всегда предполагаемое положение дел. Формальным показателем того, что содержание придаточных предложений с союзом *ut* (*nē*) составляет предполагаемое, возможное положение дел, «возможный мир»⁴, а не фрагмент объективной действительности, и является конъюнктив глагола в этих придаточных (этому объяснению не удовлетворяют только придаточные «фактического» следствия; возможно, в данном случае мы имеем дело с аналогическим употреблением конъюнктива).

Придаточные «косвенный вопрос». Среди придаточных предложений, характеризующихся как придаточные дополнительные, выделяется группа предложений, построенных по модели вопросительных, содержащих вопросительное слово или частицу и присоединяемых к главному предложению без участия союза, — так называемый «косвенный вопрос». В латинском языке классического периода в косвенном вопросе всегда употребляется конъюнктив: *Qui beatus est, non intellego, quid requirat, ut sit beatior* (Cic. Tusc. 5, 8, 23) «Я не понимаю, чего ищет тот, кто счастлив, чтобы стать счастливее».

Предикаты, вводящие косвенный вопрос, обозначают отсутствие у говорящего той или иной информации и его желание получить эту информацию⁵: *nescio* «не знаю», *non intellego*, «не понимаю», *existimare non possum* «не могу судить», *die, loquere* «скажи» и т. п. Их можно охарактеризовать

³ О том, что назначение придаточных с *ut* — указать на «желаемое» субъектом главного предложения, см. [13, с. 234].

⁴ О «возможном мире» как возможном положении дел см. [21].

⁵ И. М. Тройский считал, что часто содержание косвенного вопроса — *проблема...*, которую нужно решить» [16, с. 214].

как разновидность предикатов знания⁶ и назвать предикатами незнания. Вопросительное слово указывает, какой фрагмент действительности интересует говорящего⁷. Содержание косвенного вопроса отображает не саму действительность, а -ракурс ее представления участниками коммуникации — индивидуальное знание адресата, являющееся для говорящего «чужим» знанием. Посредством конъюнктива в косвенном вопросе отмечается отстранение говорящего от уточнения и оценки содержания придаточного, указывающего на концептуализированное «чужое» знание.

Придаточные с союзом *quod*. Союз *quod* в грамматиках обычно именуется «*quod explicativum*» (*quod* «изъяснительное»): *Fecisti mihi pergratum, quod librum ad me misisti* (Cic. Att. 2, 4, 1). «Ты доставил мне очень большое удовольствие тем, что прислал мне книгу»; *Quod adhuc Brundisii moratus es, valde probo et gaudeo* (Cic. Fam. 15, 17, 4) «То, что ты до сих пор остаешься в Брундизии, очень одобряю и рад»; *Accidit perincommodum, quod eum nusquam vidisti* (Cic. Att. 1, 17, 2) «Жаль, что ты его нигде не видел».

Как видно из примеров, придаточные с союзом *quod* употребляются после предикатов оценки, причем оценочное значение может содержаться как в глагольной лексеме, так и в оценочном наречии, сопровождающем глагол действия или состояния. Содержание придаточных с *quod* представляет собой мотивировку оценки. Оценка применима по отношению к фактам [24]. Содержание придаточных с *quod* (мотивировку оценки) также составляют факты — концепты действительности, истинность которых неоспорима для говорящего, чем и объясняется употребление глагола-сказуемого этих придаточных в формах индикатива.

В придаточных дополнительных с союзом *quod* возможно и употребление конъюнктива: *Legati ab Aeduis... veniebant... questum, quod Harudes fines eorum popularentur* (Caes. B. G. 1, 37, 2) «От эдуев... приходили послы... с жалобой, что гаруды опустошают их земли». И в данном случае содержание придаточного — фрагмент действительности, но теперь сообщение о нем опосредовано участием третьего лица, автора оценки (в приведенном примере — *legati*). Конъюнктив глагола-сказуемого придаточного предложения служит указателем на то, что содержание сообщения опосредовано «чужой» оценкой.

Итак, при существовании между главным и придаточным предложениями дополнительных отношений семантика придаточных предложений оказывается неодинаковой. Она взаимосвязана с семантикой управляющих предикатов. Последние представлены содержащими сему желания предикатами волеизъявления, боязни, препятствия, действия, предикатами знания (незнания) и предикатами оценки. Предикаты волеизъявления и им подобные соединяются с придаточными, имеющими значение желаемого (а отсюда — предполагаемого, а не реального) положения дел, что находит выражение в конъюнктиве глагола-сказуемого придаточного предложения. Предикаты знания (незнания) и предикаты оценки соединяются с придаточными, содержание которых отображает действительность. Конъюнктивом глагола-сказуемого придаточного предложения передается отстранение говорящего от «чужого» знания или от «чужой» оценки.

Соотнесение содержания пропозиции с объективной действительностью

⁶ О знании и мнении как логических операторах см. [22].

⁷ О включении номинализаций с вопросительными словами (w/s-nominalisations)- в объективную область языка и их совместимости со сферой знания, а также об индивидуальности последнего см. [23].

или с областью «возможных миров», с одной стороны, и обозначение отношения говорящего к этому содержанию, с другой, представляют собой различные аспекты модального содержания высказывания. Поэтому можно утверждать, что, независимо от конкретной разновидности придаточных дополнительных, во всех них конъюнктив выступает как средство выражения модального содержания высказывания — сложного предложения, частью которого является данное придаточное (хотя и различных модальных смыслов).

2. Предикатно-сирконстантные связи отражают обстоятельственные отношения. Поскольку любые обстоятельства в принципе могут сопутствовать любому действию, и, следовательно, содержание придаточных обстоятельственных не связано с содержанием главного предложения отношениями обязательной дополнительности, ориентация на семантику предиката главного предложения, как это было при рассмотрении сложноподчиненных предложений с придаточными дополнительными, в данном случае не имеет смысла. В свою очередь при изучении обстоятельственных отношений необходим сопоставительный анализ содержания придаточного и главного предложений — для установления конкретного характера отношений, в которых находятся компоненты сложноподчиненного предложения в каждом рассматриваемом случае, а также для выявления возможных сопутствующих оттенков значения.

Придаточные с союзом *cum*. При употреблении после союза *cum* индикатива в грамматиках выделяются несколько конкретных значений союза: *cum temporale* (временное соотнесение конкретных событий), *cum iterativum* (многократное соотнесение положений дел во времени), *cum inversum* (когда основная мысль высказывания содержится не в главном, а в придаточном предложении), *cum explicativum*, или *coincidens* (когда с помощью придаточного предложения разъясняется содержание главного). Ввиду одинаковой формальной характеристики придаточных (*cum* + индикатив) очевидно, что выявление у союза *cum* в данном употреблении различий в значении осуществляется в грамматиках путем интуитивного анализа содержания придаточных предложений. Общим семантическим компонентом в содержании связи между этими придаточными и главным предложением является соотношение во времени. Поэтому думается, что следовало бы трактовать союз *cum* во всех придаточных с индикативом как временной, а выделенные в грамматиках значения союза считать конкретными содержательными вариантами временных отношений, отмечаемых между содержанием придаточной и главной частей высказывания.

При употреблении в придаточных глагола в конъюнктиве союз *cum* также получает в грамматиках разные интерпретации. Ср.: *Zenonem, cum Athenis essem, audiebam frequenter* (Cic. N. D. 1, 21, 59) «Когда я был в Афинах, я часто слушал Зенона» (связь между содержанием придаточного и главного предложений трактуется как временная; значение союза — *cum historicum*); *Cum solitudo et vita sine amicis insidiarum et metus plena sit, ratio ipsa monet amicitias comparare* (Cic. Fin. 1, 20, 66) «Так как одиночество и жизнь без друзей полны опасности и страха, сам разум наставляет приобретать дружбу» (связь толкуется как причинная — *cum causale*); *Demosthenem scribit Phalereus, cum «rho» dicere nequiret exercitatione fecisse, ut planissime diceret* (Cic. Div. 2, 46, 96) «Фалерей пишет, что Демосфен, хотя не умел выговаривать „р“, путем упрежненного добился, что выговаривал его очень четко» (связь толкуется как усупительная — *cum concessivum*).

Несмотря на различное толкование в грамматиках союза *sit* в придаточных с конъюнктивом (выделяются значения времени, причины, уступки), одинаковая формальная характеристика придаточных (общий союз и глагол в конъюнктиве) позволяет предположить наличие общего компонента значения в семантике и этих придаточных.

Посредством высказываний в форме сложноподчиненных предложений с придаточными, присоединяемыми к главному союзом *sit*, говорящий сообщает о соотношении во времени двух положений дел, отображающих фрагменты действительности. Содержание этого сообщения может быть осложнено умозаключением говорящего о существовании между данными положениями дел причинно-следственной зависимости (уступительную связь можно трактовать как причинную со знаком «минус»: содержание придаточных уступительных — это обстоятельства, не повлиявшие на развитие событий). Причинно-следственная зависимость между событиями по своей сути объективна; однако она недоступна непосредственному наблюдению и устанавливается человеком в ходе его практической деятельности [25]. Поскольку реальность содержания придаточных обстоятельственных а priori обусловлена реальностью основного действия, конъюнктив глагола в придаточном не может иметь функции соотношения содержания придаточного с областью «возможных миров». Это позволяет использовать формы этого наклонения (очевидно, в силу того, что его семантика связана со сферой субъективного) для выполнения иной задачи — отображения субъективной (принадлежащей говорящему) интерпретации характера связи между содержанием придаточного и главного предложений как причинно-следственной зависимости⁸.

В возникновении у конъюктива в придаточных обстоятельственных с союзом *sit* новой функции, обусловленной конкретным контекстом (ср. [17, с. 330]), реализуется синтагматическая связь всех языковых средств в предложении при выражении его модального содержания. Благодаря асимметрии языкового знака оказывается возможным в случае, когда исключается употребление конъюктива в придаточном в основной функции, использование этой формы для выполнения других функций в пределах предложения-высказывания.

Различие конкретных вариантов причинно-следственной зависимости — причины и уступки — получает в высказывании имплицитное выражение. Слушающий (читающий) выявляет это различие путем соотношения содержания придаточного и главного предложений, а также факта их объединения в одном высказывании со своими «фоновыми знаниями», с «картиной мира» в своем сознании.

Придаточные с союзом *ut*. Союз *ut* в придаточных обстоятельственных со сказуемым-глаголом в формах индикатива используется для выражения как временного, так и пространственного соотношения двух положений дел. Ср.: *Ut Brundisio profectus es, nullae mihi abs te sunt reditae litterae* (Cic. Att. 1, 15, 2) «После твоего отъезда из Брунцшия мне не доставили от тебя ни одного письма» (временное соотношение); *Ut sementem feceris, ita metes* (Cic. De or. 2, 261) «Как посеешь, так и пожнешь» (пространственное соотношение). В последнем случае придаточные носят название сравнительных⁹.

⁸ И. М. Тройский считает, что конъюнктив в придаточных с союзом *sit* указывает «на нечто большее, чем простое временное соотношение, на характерную обстановку, на то, что одно событие не могло совершиться, если бы не было другого» [16, с. 215].

⁹ Формальным признаком отличия придаточных обстоятельственных с союзом *ut* от придаточных дополнительных с тем же союзом является форма выражения отрица-

Употребление в придаточных обстоятельственных с союзом *ut* конъюнктива связывается с уступительным значением союза *ut*: *Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas* (Ov. Pont. 3, 4, 79) «Пусть не хватаем сил, все-таки заслуживает похвалы желание». Уступительный характер связи опосредован (как и в придаточных с союзом *cum*) осмыслением соотношения содержания придаточного и главного предложений говорящим.

В придаточных обстоятельственных после союзов *cum* и *ut* роль конъюнктива как бы двупланова: уточняя конкретное содержание связи между придаточным и главным предложением, конъюнктив одновременно обозначает субъективный характер этого уточнения, «авторство» говорящего. Отношение говорящего к характеру связи между частями высказывания входит в его отношение к высказыванию в целом, т. е. представляет собой один из аспектов модального содержания последнего. Следовательно, и в данном случае конъюнктив выступает как средство выражения модальности.

Придаточные с другими обстоятельственными союзами. В придаточных с обстоятельственными союзами конкретного значения характер связи между содержанием придаточного и главного предложений получает конкретное выражение в лексическом значении союза, что позволяет использовать конъюнктив в придаточном для обозначения новых содержательных смыслов.

После союзов с временным значением *antequam*, *priusquam*, указывающих на конкретный характер временного соотношения, с помощью наклонения глагола в придаточном различается отношение говорящим пропозиции к объективной действительности или к области «возможных миров» (ср. [17, с. 322]), а не отсутствие/наличие в его содержании указания на цель главного действия, как об этом говорится в [11, с. 285]. Такое указание возникает только в контексте сообщения о «контролируемом» действии. Ср.: *Antequam opprimitur majoraque hostium agmina obsaepiunt iter, per hos, qui inordinati atque incompediti obstrepunt portis, erumpamus* (Liv. 22, 50, 8) «Прежде чем стемнеет и большие отряды врагов преграждают путь, прорвемся же сквозь тех, кто в беспорядке без всякого боевого строя загораживают ворота» (речь идет об очевидном на основании фоновых знаний положении дел, глагол придаточного — в индикативе) и *Antequam ad populares leges venias, vim istius caelestis legis explana* (Cic. Leg. 2, 4, 9) «Прежде чем ты перейдешь к законам, установленным людьми, объясни силу этого божественного закона» (в данном придаточном речь идет о предполагаемом положении дел, глагол — в конъюнктиве).

Функции наклонения в придаточных после союза *dum* различны в зависимости от того, какое наклонение употребляется в главной части. Поскольку с помощью этого союза чаще всего обозначается соположение событий в едином временном срезе, говорящий, используя в обеих частях предложения глаголы в индикативе или в конъюнктиве, тем самым относит содержание своего высказывания к объективной действительности или к области «возможных миров».

Придаточные после союза *dum* могут служить и указанием на временной предел совершения действия, составляющего содержание главной части. В придаточных обстоятельственных отрицание передается посредством частицы *non* при глаголе-сказуемом (при сохранении союза *ut*): *Ut ager, quamvis fertilis, sine ultura fructuosus esse non potest, sic sine doctrina animus* (Cic. Tusc. 2, 5, 13) «Как поле, пусть плодородное, не может быть плодоносным без возделывания, так и душа без учения» (ср. использование в придаточных дополнительных отрицательного союза *ne*).

части высказывания. В этом случае при употреблении в главной части индикатива глагол в придаточном может стоять и в индикативе, и в конъюнктиве. Формы конъюнктива используются в тех случаях, когда временной предел описываемого действия устанавливается субъектом данного действия, не совпадающим с говорящим. Ср.: *Mihi usque curae erit, quid agas, dum, quid egeris, sciero* (Cic. Fam. 12, 19, 3) «Я буду постоянно в тревоге о том, как идут твои дела, пока не узнаю, как они шли» (индикатив) и *Quintius paucos moratus est dies, dum se soripae ab Corcyra assequerentur* (Liv. 32, 9, 8) «Квинций пробыл там несколько дней, пока его не догонят войска от Коркиры» (конъюнктив). Конъюнктивом в придаточных после союза *dum* при индикативе в главной части маркируется «чужое» мнение.

Аналогичное семантическое различие отмечается в придаточных с индикативом и конъюнктивом после союзов *quoad* и *donee*, также указывающих на временной предел совершения действия, составляющего содержание главного предложения. Ср.: *Caesar occisus exanimis aliquamdiu jacuit, donee lecticae impositum, tres servuli domum rettulerunt* (Suet. Julius 82, 3) «После убийства Цезаря его бездыханное тело лежало на земле до тех пор, пока трое рабов, положив его на носилки, не отнесли домой» (индикатив) и *Jussus erat Ti. Claudius classem in Siciliam ducere atque inde in Africam trajicere, et alter consul M. Servilius ad urbem morari, donee, quo statu res in Africa essent, sciretur* (Liv. 30, 38, 6) «Тиберию Клаудию было приказано вести флот в Сицилию и оттуда перевести его в Африку, а другому консулу, Марку Сервилию, оставаться около Рима до тех пор, пока не будет известно, как обстоят дела в Африке» (конъюнктив).

Подобным же образом в придаточных после союзов с причинным значением *quod*, *quia*, *quoniam* конъюнктив служит указанием на то, что информация о выдвигаемой причине принадлежит не говорящему, а субъекту главного предложения: *Caesar, inopiam frumenti veritus, quod minime omnes Germani agri culturae student, constituit non progredi longius* (Caes. V. G. 6, 29, 1) «Цезарь, боясь нехватки хлеба, так как все германцы очень мало занимаются возделыванием земли, постановил приостановить продвижение вперед» (причина выдвигается автором; глагол в индикативе); *Dumnorix petere contendit, ut in Gallia relinqueretur, partim quod mare timeret, partim quod religionibus impediri sese diceret* (Caes. V. G. 5, 6, 3) «Думнориг упрашивал (Цезаря) оставить его в Галлии, отчасти потому, что он будто бы боится моря, отчасти потому, что, по его словам, ему мешают религиозные причины» (причина приводится Думноригом; глагол в конъюнктиве).

В придаточных уступительных употреблении индикатива или конъюнктива обычно связываются с определенными союзами. В грамматиках указывается, что после союза *quamquam* употребляется индикатив, а после союзов *quamvis*, *licet* — конъюнктив: *Gloriae te esse avidissimum, quamvis sis sapiens, non negabis* (Cic. Marc. 8, 25) ч. *Хотя ты и разумен, ты не будешь отрицать, что жаден до славы*; *Nee me ulla res delectabit, licet sit eximia et salutaris, quam mihi uni sciturus sum* (Sen. Ep. 6, 4) «Ничто, пусть даже это будет нечто особенное и полезное, не будет меня радовать, если я должен буду один знать об этом» (конъюнктив). Невозможность чередования наклонений при одних и тех же уступительных союзах нередко рассматривается как доказательство формализации употребления конъюнктива в этих придаточных. Однако сопоставление конкретного содержания придаточных уступительных с разными союзами позволяет утверждать, что эти придаточные различаются своей семантикой: содержание придаточных с глаголом в индикативе носит нейтральный характер, содержание

придаточных с глаголом в конъюнктиве включает оценку говорящим события или его участников (*sis sapiens, sit eximia et salutaris*). Представляется, что посредством конъюнктива отмечается субъективный характер оценки, ее принадлежность говорящему. Не отрицая определенной избирочности употребления конъюнктива в связи с тем, что субъективный элемент содержания придаточного уже получил отражение во «внутренней форме» союзов (*quamvis* буквально означает «насколько хочешь», *licet* — «можно»), допустимо предположить, что конъюнктив глагола придаточного находится с названными союзами в отношениях дополнительнойности (к тому же «внутренняя форма» союзов носителями языка, очевидно, уже не воспринималась, свидетельством чему служит употребление, хотя и редкое, после союза *quamvis* индикатива, а после *quamquam* — конъюнктива [17, с. 331-332])¹⁰.

В функциях конъюнктива в придаточных обстоятельственных после союзов с конкретным значением — отнесение содержания придаточного к области «возможных миров» (после союзов *antequam, priusquam, dum*), обозначение отстранения говорящего от определения истинности содержания придаточного предложения (после временных союзов *dum, quoad, donec*) или характера его связи с содержанием главного предложения (после причинных союзов), подчеркивание субъективного характера оценки положения дел, составляющего содержание придаточного предложения (после уступительных союзов), — отражаются различные субъективные оттенки модального содержания высказывания.

3. Атрибутивные связи, отражающие определительные отношения, в сложноподчиненном предложении передаются посредством придаточных определительных предложений (они именуются также относительными предложениями [10, с. 554]).

Содержание придаточных определительных с глаголом в индикативе — всегда информация о реальном событии: *Caesar Helvetios oppida vicisque, quos incenderant, restituere iussit* (Caes. B. G. 1, 28, 3) «Цезарь велел гелльветам восстановить *города и села, которые они сожгли*». Придаточные определительные с глаголом в конъюнктиве, при общности основной функции — характеристики членов главного предложения, — различаются сопутствующими оттенками значения¹¹. Ср.: *Litterae posteritatis causa repertae sunt, quae subsidio oblivioni essepossent* (Cic. Sulla 16, 45) «Ради потомства были изобретены *буквы, которые бы могли помешать забыванию*» (^ «чтобы помешать забыванию» — оттенок цели); *Nemo est tam senex qui se annum non putet posse vivere* (Cic. Sen. 7, 24) «Никто не является таким *стариком, который бы не думал, что может прожить год*» (s^ «старым настолько, чтобы не думать, что...» — оттенок следствия); *Me caesum, qui haec ante non viderim!* (Cic. Att. 10, 10, 1) «О, я *слепец, который не видел этого раньше!*» (^ «так как не видел...» — причинная зависимость); *Helvetii constituerunt ea, quae ad proficiscendum pertinerent, comparare* (Caes. B. G. 1, 3, 1) «Гельветы постановили подготовить *то, что (по их мнению) было необходимо для похода*» (информация приводится «с чужих слов»).

¹⁰ Ср. согласование значения субъюнктива в придаточных предложениях со значением союзов, присоединяющих эти придаточные, во французском языке [8, с. 207]. Однако между семантикой латинского конъюнктива и французского субъюнктива в придаточных уступительных есть существенное различие: латинский конъюнктив отображает субъективный характер оценочного содержания придаточного предложения, а французский субъюнктив — неактуализованный характер действия.

¹¹ Ср. семантически значимые отношения, которыми связаны с главным предложением придаточные изъяснительные в итальянском языке [26].

Добавочные смыслы, выражаемые в придаточных определительных посредством конъюнктива, совпадают со значениями, передаваемыми конъюнктивом в разных типах придаточных дополнительных и обстоятельственных: цель и следствие — как в придаточных с союзом *ut*, причинно-следственную зависимость — как в придаточных обстоятельственных с союзами *cum* и *ut*, отстранение говорящего от установления истинности содержания придаточного предложения — как в придаточных с *quod explicativum* и придаточных обстоятельственных с союзами конкретного значения. Иными словами, в придаточных определительных возможна реализация всех функций, свойственных конъюнктиву в других придаточных предложениях, т. е. выражение различных аспектов модального содержания высказывания.

Различение модальных смыслов в придаточных определительных с конъюнктивом осуществляется путем выявления характера соотношения между конкретным содержанием придаточного и главного предложений, на основании «фоновых знаний» адресата. Формальный показатель — конъюнктив в придаточном — служит лишь общим сигналом модального смысла.

Итак, модальность сложноподчиненного предложения представляет собой иерархию модальных значений. Конъюнктив глагола-сказуемого в придаточных предложениях может выражать модальные смыслы, занимающие места на разных ступенях этой иерархии. Функции конъюнктива весьма разнообразны: это и модальная характеристика содержания придаточного предложения, и обозначение субъективного (принадлежащего говорящему) истолкования связи между содержанием придаточной и главной части сложного предложения, и, наконец, выражение отстранения говорящего от оценки истинности содержания придаточной части.

Значения конъюнктива в придаточной части сложноподчиненных предложений в латинском языке можно систематизировать путем выделения первичных и вторичных функций (термин Е. Куриловича [27]). Развивая идеи Пражской лингвистической школы, В. Г. Гак разработал типологию функций грамматических категорий. Им сформулированы параметры, позволяющие определять первичные и вторичные функции грамматических форм. Первичная (I) функция характеризуется значимостью, оппозициями, формирующими данную категорию, независимостью от контекста. Вторичные (II) функции — нейтрализация (II, 1), транспозиция (II, 2), десемантизация (II, 3) — проявляются в определенных контекстуальных условиях [8, с. 29–30]. В латинских придаточных предложениях, содержание которых составляет «возможный мир» — придаточных дополнительных, цели и «логического» следствия после союза *ut*, придаточных времени после союзов *antequam*, *priusquam*, *dum* (последний — при отнесении содержания всего высказывания к области «возможных миров»), придаточных определительных с оттенками цели и «логического» следствия — конъюнктив выступает в своей первичной функции — отображения предполагаемого действия [1]. При обозначении конъюнктивом отстранения говорящего от определения истинности содержания придаточного — в придаточных дополнительных после союза *quod*, в косвенном вопросе, в придаточных времени после союзов *dum*, *quoad*, *donec*, придаточных причины и уступки после союзов с конкретным значением, в придаточных определительных в ситуации косвенной речи — происходит нейтрализация оппозиции «объективная действительность»/«возможный мир» (II, 1). В придаточных с союзами общего обстоятельного значения *cum* и *ut*, а также в придаточных определительных с оттенками причи-

ны и уступки у конъюнктива реализуется функция транспозиции (II, 2): глаголом в конъюнктиве выражается не предполагаемое, а реальное положение дел. Наконец, как структурную (асемантическую) функцию (II, 3) можно оценить употребление конъюнктива в придаточных «фактического» следствия, где конъюнктив не указывает ни на какую черту внеязыковой действительности¹².

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ!

1. Ярцева В. Н. Иерархия грамматических категорий и типологическая характеристика языков//Типология грамматических категорий. М., 1975. С. 17.
2. Алисова Т. В., Репина Т. А., Таривердиева М. А. Введение в романскую филологию. 2-е изд. М., 1987.
3. Сравнительно-сопоставительная грамматика романских языков. Проблема структурной общности. М., 1972.
4. Репина Т. А. Артикль и типологическая характеристика языка (на романском материале) // Теория языка, методы его исследования и преподавания. Л., 1981.
5. Muljagic Z. Fonologia generale e fonologia della lingua italiana. Bologna, 1969.
6. Кацнельсон С. Д. Типология языка и речевое мышление. Л., 1972. С. 11.
7. Cohen M. Le subjonctif en francais contemporain. P., 1965.
8. Гак В. Г. Теоретическая грамматика французского языка. Морфология. 2-е изд. М., 1986.
9. Сабанеева М. К. Функциональный анализ наклонений в современном французском языке. Л., 1984.
10. Leumann M., Hofmann J. B., Szantyr A. Lateinische Grammatik, Bd II: Syntax und Stilistik. München, 1964.
11. Соболевский С. И. Грамматика латинского языка. Ч. I (теоретическая). 3-е изд. М., 1950.
12. Lakoff R. T. Abstract syntax and Latin complementation. Cambridge (Mass.); London, 1968.
13. Bolkeslein A. M. Differences between iree and obligatory ui-clauses// Glotta. 1977. Bd LV. Hf. 3-4.
14. Ernout A., Thomas F. Syntaxe latine. P., 1953. P. 292.
15. Meillet A., Vendryes J. Traite de grammaire comparee des langues classiques. P., 1948. P. 254-255.
16. Троицкий И. М. Очерки из истории латинского языка. М.; Л., 1953.
17. Touratier C. Valeurs et fonctionnement du subjonctif latin. II // Revue des etudes latines. 1983. T. LX.
18. Степанов Ю. С. Имена, предикаты, предложения. Семиологическая грамматика. М., 1981. С. 241.
19. Виноградов В. В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. 3-е изд. М., 1986. С. 472.
20. Tesniere L. Elements de syntaxe structurale. 2 ed. P., 1976. P. 102 ss.
21. Хинтikka Я. Логико-эпистемологические исследования. М., 1980. С. 38.
22. Hintikka J. Knowledge and belief. An introduction to the logic of the two notions. Ithaca; New York, 1962.
23. Vendler Z. Res cogitans. Ithaca; London, 1972. P. 109.
24. Вольф Е. М. Функциональная семантика оценки. М., 1985. С. 14.
25. Кондаков Н. И. Логический словарь. 2-е изд. М., 1975. С. 479.
26. Алисова Т. Б. Очерки синтаксиса современного итальянского языка. М., 1971. С. 269.
27. Курилович Е. Очерки по лингвистике. М., 1962. С. 59 и ел.

¹² При сопоставлении функций латинского конъюнктива в придаточных предложениях с функциями французского субъюнктива (анализ последних см. в [8, с. 206—209; 9]) обнаруживается совпадение первичных функций (обозначение неактуализованного действия), что, очевидно, объясняется непосредственной связью формы и значения в первичной функции. Вторичные функции латинского конъюнктива не имеют аналога у французского субъюнктива (у последнего отмечаются такие вторичные значимые функции, как обозначение оценки, неопределенности, условия). Семантика конъюнктива во вторичных функциях опосредована синтагматической сочетаемостью конъюнктива в придаточном с другими языковыми средствами, используемыми в данном сложноподчиненном предложении. В латинской и романских языковых системах набор языковых средств для передачи смысловых оттенков высказывания неодинаков. По всей вероятности, изменения в инвентаре средств выражения модальности явились причиной типологических сдвигов в системе значений конъюнктива.

© 1990 г.

ЗАВЬЯЛОВА О. И.

О СУПЕРСЕКМЕНТНЫХ МОРФОНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ
В КИТАЙСКИХ ДИАЛЕКТАХ

Известно, что в языках типа китайского означаемым морфемы в большей части случаев (хотя и не всегда) является слог, который характеризуется здесь строго определенной фонетической структурой. Число слогов в каждой системе при этом сравнительно невелико и может быть задано небольшим списком. Существенно также, что те однослоги, которые не обладают значением и поэтому не равны морфеме, тем не менее — как на это обращает внимание В. Б. Касевич, — сочетаясь с другими однослогами, обнаруживают близкие или тождественные морфеме признаки и принимают участие в грамматических процессах наравне с нею; тем самым для языков рассматриваемого типа делается возможным выделение особой базовой единицы — слогоморфемы [1]¹. При образовании полиморфемных (точнее — полислогоморфемных) единиц, во-первых, недопустима ресилабация, иначе говоря, перемещение слоговых границ, и во-вторых, согласно общепринятой точке зрения, сама слогоморфема остается неизменной. Фонетические варьирование слогоморфем при их соединении друг с другом, таким образом, считается в китайском невозможным или, во всяком случае, чрезвычайно ограниченным, и это позволяет говорить об отсутствии как в национальном языке *путунхуа*, так и в диалектах тех процессов, которые принято называть морфонологическими.

Появлению представления о фонетической неизменяемости китайской слогоморфемы способствовали главным образом следующие обстоятельства.

Первое — это в значительной степени односторонняя — «слогоеиероглифическая» направленность диалектологии. До последнего времени диалектная фонетика в Китае — подобно традиционной фонологии — оставалась преимущественно наукой об изолированной слогоморфеме: основной единицей в ходе обследований являлся соответствующий слогоморфеме изолированно прочитанный иероглиф. В 50–60-х годах изучение диалектов к тому же рассматривалось в КНР скорее как вспомогательное средство, долженствующее выявить фонетические соответствия между национальным языком и диалектами: предполагалось, что установление соответствий поможет жителям диалектных районов осваивать пекинское чтение иероглифов, которое официально принято для *путунхуа* в качестве нормативного. Идеальной формой описания (так же, как на протяжении веков в традиционной фонологии) считались в диалектологических работах фонетические таблицы. Иероглифы (иначе говоря, слогоморфемы), имеющие одинаковое чтение (произношение), располагались в этих таблицах в одной и той же клетке, а место клетки, в свою очередь, определялось

¹ Термин слогоморфема употребил впервые А. А. Драгунов, используя его, однако, в несколько ином, чем В. Б. Касевич, чисто фонологическом значении [2].

качеством начальнoслoгoвoгo сoгласнoгo (инициали), oстальной, преимущественно вокалической части слoгa (финали) и тоном. Таблицы или слoвари oмонимичных мoрфем мoжнo oбнаружить и в публикациях группы Чжао Юаньжэня, положившей начало систематическому изучению китайских диалектов в 20—40-х годах, и в лучших, наиболее подробных описаниях, появившихся после общекайтайского диалектологического обследования 1956-1959 гг.²

Второе обстоятельство, способствовавшее появлению представления о неизменности слoгoмoрфемы в китайском языке,— это ограниченный характер мoрфонологических процессов в пекинском диалекте, который по сравнению с прочими диалектами изучен достаточно всесторонне: с языком столицы издавна знакомились не только выходцы из других районов Китая, традиционно довольствовавшиеся диалектным или полудиалектным чтением иероглифов, но также и иностранцы, которые хотели овладеть пекинским произношением во всей его полноте. Наибольший интерес в мoрфонологическом отношении представляет пекинская «эризация», сущность которой заключается в том, что при присоединении к корню суф. предметности *-eg* возникает думoрфемный «эризованный» однослог с конечным ретрофлексным элементом *-г* (часть эризуемых финалей при этом претерпевает изменения; ср. *pan + eg* → *par*). За пределами Китая эризации был посвящен ряд работ, где делались попытки фонологически разрешить противоречие, которое создает эризация, царушая в пекинской системе, во-первых, закон о невозможности ресиллабации и, во-вторых, правило, в соответствии с которым мoрфема не может быть по длине меньшей, чем слог (при том, что мoрфемы с числом слoгoв больше единицы возможны в исконных китайских словах и особенно в заимствованиях; последние продолжают легко конструироваться из слoгoмoрфем и в наше время; ср. *kékōi-kēTe* «кока-кола»³). В самом Китае эризация была предметом оживленного обсуждения в 50-е годы, когда ставился вопрос об ограничении ее употребления при выработке норм национального языка *путунхуа* и подчеркивалось, что для диалектов эризация вообще нехарактерна.

Что же касается мoрфонологии диалектов, то здесь к изучению полислoгoмoрфемных единиц ранее обращались главным образом некоторые европейские ученые, привыкшие к тому же анализировать не столько слог, сколько слово. В КНР отношение к диалектам изменилось лишь в конце 70-х годов, когда после более чем десятилетнего перерыва возобновилась публикация и обобщение результатов общекайтайского диалектологического обследования. Одновременно начал осуществляться сбор и в ряде слу-

²Следует, однако, отметить, что изучение материалов, включавших сведения о произношении изолированных слoгoмoрфем, и выявление системных соответствий современных инициалей, финалей и тонов среднекайтайским оказалось достаточно результативным с лингвогеографической и классификационной точек зрения. Оно позволило определить на карте Китая распространение диалектных групп [3], а в пределах северной группы (*гуаньхуа*) выявить важные лингвистические границы, среди которых наиболее существенной является образованная пучком изоглосс граница вдоль р. Хуайхэ и Центрального горного пояса [4, 5].

³В настоящей работе принято следующее обозначение тонов. Тоновые классы, традиционно именуемые *пин* («ровный»), *шан* («восходящий»), *цой* («уходящий») и *жу* («входящий») обозначаются цифрами соответственно I, II, III, VI. При наличии тонов двух серий — *инь* («высокая») и *ян* («низкая»), которые возникали для некоторых классов в результате фонологизации вариантов, обусловленных глухостью/звонкостью исторической инициали, используются буквы «а» и «б». Однако для тонов пекинского диалекта (и *путунхуа*) используются знаки официально принятого в КНР алфавитного письма *пиньинь изьму*; ср. *tí* (первый пекинский тон, *инь-пин*), *tí* (второй тон, *ян-пин*), *tí* (третий тон, *шан-шэн*), *tí* (четвертый тон, *цой-шэн*). Отсутствие обозначений соответствует нейтральному («легкому») тону.

чаев экспериментальное исследование новых материалов. С этого же времени диалекты, очевидно, стали восприниматься как объект, имеющий самостоятельную научную ценность, вне непосредственной связи с решением проблем социолингвистического характера. Появились данные, которые дают возможность составить представление о диалектной фонетике во всем ее многообразии, в том числе проанализировать фонетические процессы, сопровождающие образование полислогодморфемных единиц.

Наиболее заметное место среди сегментных морфонологических явлений, как позволяют установить опубликованные материалы, занимает в китайских диалектах — вопреки существовавшей ранее точке зрения — эризация пекинского или близкого пекинскому типа, а также ее аналоги, часть которых восходит к суф. -ег, часть имеет, по-видимому, иное происхождение. Другая обширная область представлена процессами, связанными с чередованиями и нейтрализацией тона.

Обобщение данных по диалектной эризации с учетом собственных полных записей, сделанных в Китае, можно найти у японских лингвистов — С. Хираты и И. Оты [6, 7]. Подготовленная И. Отой карта выявила достаточно широкое распространение в диалектах северного ареала *гуаньхуа* наиболее интересных с типологической точки зрения диалектных аналогов эризации: восходящих к суф. -ег ретрофлексизации инициали или вставке после инициали ретрофлексного-^-, приводящей к образованию обычно невозможного в китайском сочетании согласных в начале слога [7, с. 48—49]. Специальное исследование эризации и ее функциональных соответствий содержится также в недавно завершённой работе А. А. Монастырского, позволившей сделать ряд выводов лингвогеографического и типологического характера [8]. Выяснилось, что эризация пекинского или близкого пекинскому типа на самом деле характерна для многих диалектов, относящихся к *гуаньхуа*. Сравнивая различные диалекты между собой, А. А. Монастырский показывает также динамику развития суф. -ег: от отдельного слога, сохраняющего исходный тон, через промежуточную стадию в нейтральном тоне к различным видам фузии.

Суперсегментные морфонологические процессы, которые являются основным объектом изучения в настоящей работе, представлены, во-первых, чередованиями тонов и, во-вторых, нейтрализацией тона неодинаковыми способами, возможной в первом слоге полислогодморфемных единиц.

1. Основные типы чередований тонов

Среди чередований тонов в китайских диалектах необходимо прежде всего выделить чередования неморфонологического характера, которые сами по себе выступают в качестве грамматического средства, используются для образования новых слов или новых форм слов, исполняя те же функции, что и служебные морфемы, и в сущности представляют собой внутреннюю флексию (ср. у В. Б. Касевича относительно таких же чередований в бирманском [9, с. 111—112]).

Чередования этого вида (морфологические) были характерны для древнекитайского и в качестве неживых рефлексов сохраняются во многих (если не во всех) китайских диалектах. Ср. в пекинском *hao* «хороший» и *hao* «любить», *zhong* «семена» и *zhbng* «сеять». Значительное число подобных пар можно найти в кантонском диалекте, относящемся к группе Юэ [10, 11]. Кроме того, в диалектах этой же группы распространены продуктивные морфологические чередования, во-первых, со значением пекинской эризации и, во-вторых, использующиеся для образования глаголь-

ных форм завершенности действия [10, 11, 6]. Дialeкты Юэ, охватывающие территорию провинций Гуанси и Гуандун, когда-то занятых тайским населением, обнаруживают типологическое сходство с тайскими языками — как в рассматриваемом отношении, так и по другим признакам; поэтому появление морфологических чередований может, по мнению Кам Так Хима, объясняться здесь тайским субстратом [11]. Новейшие данные, однако, свидетельствуют о наличии морфологических чередований не только в Гуанси — Гуандуне, но также еще в двух географически не связанных ни с диалектами Юэ, ни между собой регионах:

а) на юге провинции Чжэцзян, в диалектах группы У, и в примыкающих к ним диалектах южной части провинции Аньхуэй, где чередования тонов функционально соответствуют пекинской эризации;

б) на севере Китая, в провинции Шаньси; ср. диалект Цзиньчэна, где в случае тонов Ia, II, IV наблюдается переход в более высокие, чем исходные, тоны, по своему значению совпадающий с суф. *-zi* национального языка *путунхуа*; некоторые морфемы измененного тона могут при этом эризоваться и в результате приобретать еще одно дополнительное значение уменьшительности [14]*.

Вторая разновидность чередований, морфонологических, которые не имеют собственного значения и сопровождают образование полислогоморфемных единиц, чрезвычайно широко распространена в китайских диалектах. Как показывает анализ имеющихся в нашем распоряжении многочисленных данных, морфонологические чередования охватывают в зависимости от диалекта разные тоновые классы, осуществляются по неодинаковым правилам и, очевидно, в пределах одинаковых единиц в разных диалектных группах.

Известно, что в пекинском диалекте морфонологические чередования тонов сводятся главным образом к диссимилятивному переходу низкого тона II (третий по терминологии, принятой для пекинского) в восходящий перед другим тоном II, в результате чего в этой позиции не различаются тоны II и 16 (второй). Нерешенным, однако, остается вопрос о единице, в рамках которой осуществляется этот переход, особенно если речь идет о цепочке слогоморфем тона II: в качестве такой единицы в практических пособиях и теоретических работах называют то предложение или «фразу», то синтагму. И лишь в последние годы, в результате серии экспериментальных исследований, которые провела Т. П. Задоевко, было доказано, что переход II — 16 в пекинском диалекте ограничен особыми единицами более низкого, чем синтагма, уровня [15].

Эти единицы, выделенные Т. П. Задоевко по ряду фонетических признаков (таких, как преобладание первого слога по высоте) и названные ею «ритмическими словами», не обязательно отделяются друг от друга паузой, чаще всего двусложны или трехсложны, реже представляют собой однослоги (односложные слова) или более, чем трехсложны. В случае двуслогов и многослогов «ритмические слова» могут быть равны как словам, так и словосочетаниям и, таким образом, очевидно представляют те комбинации слогоморфем различной степени связанности, которые, по мнению В. Б. Касевича, прежде всего наличествуют в языках типа китайского — при том, что единицы, соответствующие слову, занимают в системе этих языков периферийные позиции [9, с. 117]. В конечном счете

⁴ Сохраняющие ряд архаичных черт диалекты Шаньси и прилегающих к ней районов соседних провинций (диалекты Цзинь) тем не менее обнаруживают ряд существенных общих черт с диалектами северного ареала группы *гуаньхуа* (северной) и рассматриваются нами как принадлежащие этой группе [5].

деление синтагмы на «ритмические слова» — так же, как и деление предложения на синтагмы — определяется, по данным Т. П. Задоевко, семантико-грамматическими связями внутри нее, но эта зависимость неоднозначна и допускает варианты. Единицами, идентичными пекинским «ритмическим словам», по-видимому, являются и те многочисленные двуслоги («сочетания из двух иероглифов»), реже трехслоги («сочетания из трех иероглифов»), на примере которых описываются изменения тонов «при слитном чтении» в диалектах *гуаньхуа* — самой большой группе, охватывающей примерно три четверти китайского населения страны (число соответствующих работ достигает сейчас десятков наименований).

Анализ опубликованных материалов позволяет выделить для двуслогов диалектов *гуаньхуа* следующие два основных вида морфологических чередований.

Первый вид — достаточно распространенный — это комбинаторные чередования в позиции перед определенным тоном (тонами) внутри «ритмического слова», аналогичные переходу $\Pi \rightarrow 16$ в *путунхуа*. Они присущи по диалектам разным тоновым классам, характеризующимся неодинаковыми контурами и регистрами. Так, переход низкого ровного тона в восходящий отмечен в диалекте Сианя [16] и в близком ему шаньсийском диалекте советских дунган для класса 16, в диалекте Сяньюаня (Шаньси) — для класса Π (но здесь в этой позиции наблюдается не переход $\Pi \rightarrow 16$, как в *путунхуа*, а переход $\Pi > \text{III}$) [17]. В диалекте Ваньжун (Шаньси) зафиксированы чередования, связанные с диссимилятивными изменениями высоких тонов (1а, Π) в позиции перед другим высоким [18]. В близком пекинскому диалекте Тяньцзиня, как показало экспериментальное исследование, в результате комбинаторных чередований в неконечной позиции утрачено несколько противопоставлений: тонов 1а и Π перед тоном III , тонов 16 и III перед тоном 1а, тонов Π и 16 перед тоном Π [19].

Второй вид — почти не известный до последнего времени — это чередования, связанные с конечной/неконечной позицией слогоморфемы внутри «ритмического слова»: выяснилось, что во многих диалектах *гуаньхуа* различия между некоторыми тонами, исчезнув в односложных и в последней слогоморфеме многосложных «ритмических слов», тем не менее в последней морфеме сохраняются.

С исторической точки зрения такая ситуация возможна прежде всего для фонологизировавшихся во многих современных диалектах высокой {«а»} и низкой {«б»} тоновых серий, появление которых в среднекитайской было обусловлено глухостью/звонкостью инициалы. Для любого Среднекитайского тонового класса, кроме Π (*шан*), на достаточно ранней стадии разделившегося между классами Π и III (*цюй*), можно обнаружить системы двух видов: те, в которых противопоставление тонов серий «а» и «б» наблюдается во всех позициях, и те, которые сохраняют это противопоставление только в неконечной позиции. Для тона I подобная ситуация была впервые зафиксирована в ганьсуйском диалекте дунганского языка (ср. экспериментальное исследование [20, 21]) и казалась тогда скорее аномалией, обнаруженной на периферии *гуаньхуа*. В настоящее время, однако, подробное исследование обнаруживает противопоставление тонов 1а и 16 в неконечной позиции и во всех тех диалектах *гуаньхуа* (главным образом центральношаньсийских и южноганьсуйских), где оно считалось отсутствующим. В случае тона III рассматриваемый вид чередований распространен почти по всей территории северного ареала *гуаньхуа* (ср. карту [22]), для тона IV зафиксирован в ряде диалектов Шаньси. Кроме того, в Иньчуане (Нинся) и Цзиньчэне (Шаньси) только в неконеч-

ной позиции различаются принадлежащие к разным историческим классам тоны 16 и II, в Синьчжоу (Шаньси) — тоны 1а и II [23—25].

Во многих диалектах, однако, положение слогоморфемы в неконечной позиции оказывается необходимым, но не достаточным условием для осуществления того или иного противопоставления. В качестве одного из факторов, обуславливающих различие, может, как выяснилось, выступать тоновая принадлежность стоящего справа слога. Так, в упомянутом выше диалекте Синьчжоу тоны 1а и II различаются перед тонами 1а, 16, IV, но не II или III, в Иньчуане — перед тоном III, но не прочими тонами. Помимо этого, в некоторых диалектах исчезнувшее в конечной позиции противопоставление сохраняется в неконечной при условии, что в последующей слогоморфеме наблюдается нейтрализация тона. Ср. диалект Тунлюй под Баодином (Хэбэй), где противопоставление тонов Ша и Ш6 возможно только перед слогами в нейтральном тоне [26]. В диалектах Хундуна (Шаньси) [27] и Бошаня (Шаньдун) [28] в зависимости от позиции и наличия/отсутствия нейтрального тона в последующем слоге отмечены особые чередования для тонов IV и IVa соответственно. В конечной позиции в том и другом диалекте тон IV (IVa) совпал с тоном 1а. В неконечной (при условии, что в последующем слоге имеется нейтральный тон) в Хундуне слоги тона IV имеют свой особый мелодический контур, отличный от всех других тонов, а в Бошане совпали с тоном 16 (но не 1а); однако нейтральный тон при этом после тонов IVa и 16 неодинаков.

За пределами *гуаньхуа* чередования тонов в зависимости от конечной/неконечной позиции играют важную роль в диалектах южной группы Минь (как известно, диалекты группы Минь отделились от всех прочих диалектов китайского языка еще в досреднекитайский период). В качестве примера можно привести южноминьский диалект Сямэня (Амоя), где чередования в зависимости от позиции существуют для каждого из имеющихся здесь семи тоновых классов [29, с. 19—24]. Важно также подчеркнуть, что тоновые чередования в южноминьских диалектах, по-видимому, осуществляются не в пределах единицы более низкого, чем синтагма, уровня, а в рамках целого предложения; при этом с точки зрения чередований слогоморфема, стоящая перед частицей в нейтральном тоне, завершающей предложение, выступает как конечная и произносится с «конечным» тоном (ср. тексты, приложенные Ло Чанпэем к описанию диалекта Сямэня [29, с. 63—90]).

2. Способы и условия нейтрализации тона

В первом слоге полислономорфемных единиц в китайском языке возможна нейтрализация тона, которая осуществляется в зависимости от диалекта разными способами.

Известно, что во многих диалектах существует так называемый нейтральный («легкий») тон — иначе говоря, утрата тона, сопровождающаяся значительным сокращением длительности слога. В *путунхуа* и пекинском для слогов в «легком» тоне характерен слегка нисходящий контур на разном уровне, определяемом тоном стоящего слева слога. «Легкий» тон низкий после высокого ровного тона 1а (первого в *путунхуа*) и нисходящего тона III (четвертого), несколько выше после восходящего тона 16 (второго) и высокий после низкого ровного в неконечной позиции тона II (третьего). В некоторых диалектах *гуаньхуа* слоги «легкого» тона, характеризуясь сокращением длительности, тем не менее произносятся на одном и том же (низком) уровне вне зависимости от качества тона предыдущего слога.

Ср., например, низкий «легкий» тон после любого тона в диалекте Сианя [16]; экспериментально «легкий» тон этого вида был исследован на материале шэньсийского диалекта- советских дунган [30].

Помимо краткого «легкого» тона, как это сейчас стало ясно, в диалектах *гуаньхуа* также широко распространены функционально соответствующие ему вторичные, появление которых не сопровождается сокращением длительности слога (ср. экспериментальное исследование таких вторичных тонов в ганьсуйском диалекте дунганского языка [21] и в диалекте Баликунь в Синьцзяне [31]). В рамках одной системы при этом в некоторых диалектах параллельно существуют разные способы нейтрализации тона, максимальное число которых к настоящему времени зафиксировано в диалекте Ляньюньгана провинции Цзянсу (ср. экспериментальное исследование [32]). Здесь в случае нейтрализации на месте любого исходного тона возможен (а) вторичный тон II; (б) низкий нисходящий тон, отличный от всех тонов, существующих в этом диалекте в конечной позиции; (в) краткий «легкий» тон, высота которого — как в *путунхуа* — определяется тоном предыдущего слога (два последних способа возможны после любого тона, способ (а) — после любого тона, кроме II).

Возможны диалекты с параллельно существующими в одинаковых фонетических условиях двумя способами нейтрализации; ср. диалект Аньцина* провинции Аньхуэй (южный ареал *гуаньхуа*) [33] или диалект Синьчжоу (Шаньси) [24], где наряду с кратким «легким» тоном отмечен вторичный тон 16.

В ганьсуйском диалекте дунганского языка краткий «легкий» тон и вторичные находятся в дополнительной дистрибуции: после тона Ia на месте любого тона возникает вторичный тон I, после тона 16 — вторичный тон II, после тонов II и III — низкий краткий «легкий» тон [20]. Ср. *цин¹⁵зи¹* «золото», *мин¹⁶зы¹¹* «имя», *мин¹¹зы* «щетка», *э³ин³⁵зы* «зеркало».

Зафиксированы также и диалекты, в которых «легкий» тон невозможен, но зато широко используются вторичные (как, например, в диалекте Цзянь провинции Шаньси, где появление того или иного вторичного тона обуславливается тоном предыдущего слога [34]).

Нейтрализация тона в непервой слогоморфеме «ритмических слов» диалектов *гуаньхуа* возможна, но не обязательна. Ее наличие/отсутствие в этой позиции определяется для каждого сочетания слогоморфем факторами не фонетического порядка, причем соответствующие правила и область употребления нейтрализации (или разных ее типов) неодинаковы в разных диалектах.

В пекинском и *путунхуа*, как известно, «легкий» тон обязателен и поэтому предсказуем в случае ряда служебных морфем (таких, как суффиксы, считающиеся частью слова, с одной стороны, и показатель атрибутивности *-de* или стоящие в конце предложения модальные частицы, не образующие слова вместе с находящейся слева слогоморфемой, с другой), а также в случае двух видов удвоений: образованных удвоением корня существительных — терминов родства (*gege* «старший брат») и глагольной формы со значением кратковременности действия (*кан кан* «посмотреть»). Кроме того, в словах, не представляющих собой удвоения, он возможен также и для однословов, не являющихся служебными морфемами, причем в равной степени допускается как в знаменательных морфемах (*gaosu* «сказать», *jihui* «возможность»), так и в однословах, не имеющих значения и поэтому не равных морфеме (*boli* «стекло», *luoji* «логика»); в этих случаях для каждого слова человек, не знающий *путун-*

хуа, может определить наличие/отсутствие «легкого» тона только по словарю. Таким образом, в процессах нейтрализации (так же, как, впрочем, в описанных выше чередованиях тонов) слогоморфемы принимают участие вне зависимости от своей семантизированной/несемантизированнойности.

Публикации последних лет свидетельствуют также о том, что в пределах *гуаньхуа* есть диалекты с очень ограниченным использованием нейтрализации тона. В диалекте Шоюан провинции Шаньси нейтрализация тона (вторичные тоны) возможна только в существительных, образованных удвоением корня [35]. В диалекте Тайгх этой же провинции «легкий» тон (всегда низкий нисходящий) охватывает лишь служебные морфемы; помимо «легкого» тона в этом диалекте есть также вторичные, которые присущи здесь небольшому числу двуслогов, либо состоящих из двух разных знаменательных морфем, либо представляющих собой образованные удвоением корня существительные [36]. В то же время во многих других диалектах *гуаньхуа* область употребления нейтрализации гораздо шире, чем в *тунхуа*. Как показывает анализ минимальных по длине комбинаций слогоморфем — двуслогов, нейтрализация охватывает здесь не только большую часть тех из них, которые состоят из двух знаменательных морфем (либо незначимых слогоморфем) и при этом являются словами, но также, по-видимому, и некоторые двуслоги, которые можно считать атрибутивными словосочетаниями. Ср. в диалекте Чанчжи (Шаньси) х а^н кэи «черная собака» [37], в упомянутом выше диалекте Ляньюньгана провинции Цзянсу *re⁶ shut* «горячая вода», *hy¹ shui* «холодная вода».

За пределами *гуаньхуа* незначительную роль нейтрализация тона играет в диалектах групп Юэ и южной Минь, где «легкий» тон в основном присущ конечным модальным частицам. В то же время в диалектах группы У (шанхайский, сучжоуский), как показали исследования последних лет, нейтрализация занимает очень важное место и осуществляется по принципиально иным правилам, чем в других группах.

Экспериментальное исследование, впервые проведенное на шанхайском материале М. Шерардом [38] (ср. также недавно опубликованную работу [39]), свидетельствует о том, что в этом диалекте в потоке речи возможны два вида единиц («фонетических слов»), не вступающих во взаимодействие с такими же соседними единицами: а) однослоги (их относительно немного); б) сочетания двух, трех, реже — более чем трех слогоморфем с обязательной нейтрализацией тона во всех из них, кроме первой. В единицах второго вида при этом имеет место своеобразная экспансия тона: их мелодический контур определяется тоновой принадлежностью первого слога, причем не для каждой слогоморфемы в отдельности, а как в едином целом и одинаково вне зависимости от числа составляющих «фонетическое слово» слогов. Мелодически «фонетическое слово» с числом слогов больше единицы оказывается идентичным или близким «возглавляющему» его однослогу, когда последний сам по себе составляет отдельное «фонетическое слово» (как частный случай — произнесен изолированно). Так, однослоги в тоне 1а и двуслоги/многослоги, первый слог которых относится к этому же тону, в равной степени характеризуются общим нисходящим мелодическим контуром.

Подобно «ритмическим словам» *гуаньхуа*, по своему составу «фонетические слова» диалектов У могут быть равны как слову, так и сочетанию слов, причем многосложных. Ср. *zhagmhyu cdfiojco:j* «народно-освободительная армия», *hhojho weyhowhe* «эмигрантские организации», *sucʂdhoi/saijwhe* «Цзянсу-Чжэцзянское землячество» (транскрипция М. Шерарда). Существенно также, что деление предложения (очевидно, синтагмы) на

«фонетические слова» — подобно делению синтагмы *путунхуа* на слова «ритмические» — осуществляется неоднозначно и в конечном счете обусловлено семантико-грамматическими связями внутри нее. Если, как это недавно было высказано в работе У Тая [40], фонетическое слово диалектов У действительно представляет собой единицу, идентичную «дву с логам» и «трехслогом» (иначе говоря — «ритмическому слову») диалектов *гуаньхуа*, то эта единица в двух названных группах имеет принципиально важное отличие: в *гуаньхуа* наличие/отсутствие нейтрализации тона в каждом сочетании и для каждой слогоморфемы, находящейся в неначальной позиции в «ритмическом слове», определяется причинами морфологического порядка; в диалектах У в пределах «фонетического слова» она обусловлена только положением слогоморфемы в неначальной позиции.

*

Суперсегментные морфонологические процессы, таким образом, характерны для китайских диалектов как северной, так и прочих групп.

Чередования тонов охватывают по диалектам различные тоновые классы и осуществляются в зависимости от конечной/неконечной позиции слогоморфем внутри полислогоморфемных единиц, а в неконечной позиции — в зависимости от наличия/отсутствия справа того или иного тона (тонов) или нейтрализации тона. Уровень полислогоморфемных единиц, ограничивающих чередования тонов, — как это можно установить при сопоставлении диалектов *гуаньхуа* и южноминьских — неодинаков для разных диалектных групп. От чередований морфонологических при этом следует отличать чередования тонов, имеющие самостоятельное грамматическое значение, которые не только были характерны для древнекитайского, но также обнаружены в настоящее время в диалектах Юэ, У и шаньсийских на севере ареала *гуаньхуа*.

Различны также способы и условия нейтрализации тона. В одних диалектах ее употребление ограничено служебными морфемами, в других она охватывает не только служебные, но также и значительную часть знаменательных морфем и слогоморфем, не имеющих собственного значения и поэтому не равных морфеме. В последнем случае человек, не являющийся носителем данного диалекта, может определить наличие/отсутствие нейтрализации только по словарю. Особое место среди других групп занимают диалекты У, где появление нейтрализации, по-видимому, определяется причинами не морфологического, а фонетического порядка, обуславливаясь неначальной позицией слогоморфемы внутри «фонетического слова»; при этом имеет место нечто вроде экспансии тона, когда он распространяется на «фонетическое слово» в целом вне зависимости от числа слогов в последнем.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Касевич В. Б. Семантика, синтаксис, морфология. М., 1988. С. 171—172.
2. Драгунов А. А. Грамматическая система современного китайского разговорного языка. Л., 1962. С. 22.
3. Яхонтов С. Е. Географическое распространение диалектов китайского языка // Вестник ЛГУ. 1967. № 2.
4. Завьялова О. И. Некоторые вопросы лингвогеографического изучения фонетики *гуаньхуа* // ВЯ. 1982. № 3.
5. Zavalova O. I. A linguistic boundary within the *guanhu*a area // Computational analyses of Asian and African languages. 1983. № 21.
6. Хирата Сё:дзи. «Сюэчэ» юй бяньдяо (Значение уменьшительности и изменение тона) // Computational analyses of Asian and African languages. 1983. № 21.

7. *Ота Ицукү*. Санто: хо:гэн-ни окэру «эрхуа» (Эризация в диалектах Шаньдуна) // Дзимбун гахуко:. 1984. № 166.
8. *Монастырский А. А.* Лингвистическое районирование северного Китая (морфология суффикса -эр): Дис. ...канд. филол. наук. М., 1988.
9. *Касевич В. Б.* Морфонология. Л., 1986.
10. *Кат Так Нит*. Derivation by tone change in Cantonese: a preliminary study // Journal of Chinese linguistics. 1977. V. 5. P. 2.
- И. *Кат Так Нит*. Semantic-tonal processes in Cantonese, Taishanese, Bobai and Siamese // Journal of Chinese linguistics. 1980. V. 8. P. 2.
12. *Чжэньчжан Шанфан*. Вэньчжоу Фаньянь эрвэй цы ды юйинь бяньхуа (Фонетические изменения слов с -эр в диалекте Вэньчжоу) // Фаньянь. 1980. № 4; 1981. № 1.
13. *Хирата Седзи*. Хуэйчжоу Сюнин иньси цзяньзые (Краткое описание фонетики диалекта Сюнкань) // Фаньянь. 1982. № 4.
14. *Шэнь Хуэйюнь*. Цзиньчэн фаньянь ды «цывэп» бяньдяо (Изменение тонов со значением суффикса -ци в диалекте Цзиньчэна) // Юйвэнь яньцзю. 1983. № 4. С. 68.
15. *Забоев Т. П.* Ритмическая организация потока китайской речи. М., 1980. С. 116—142.
16. *Сунь Фуцяоюнь*. Сиань фаньянь ды бяньдяо (Изменения тонов в диалекте Сианя) // Чжунго юйвэнь. 1961. № 1.
17. *Чэнь Жуньлань, Ли Вэйши*. Сяньюань фаньянь чжи (Описание диалекта Сяньюаня) // Юйвэнь яньцзю цзэнкань. 1984. № 7.
18. *У Цзиньшэн*. Ваньжун фаньянь чжи (Описание диалекта Ваньжуна) // Юйвэнь яньцзю цзэнкань. 1984. № 11.
19. *Ши Фэн*. Тяньцзинь фаньянь шуаньцзыцу тэндяо фэньси (Анализ тонов в «группах из двух иероглифов» диалекта Тяньцзиня) // Юйянь яньцзю. 1986. № 1.
20. *Завьялова О. И.* Тоны в дунганском языке // Народы Азии и Африки. 1973. № 3.
21. *Завьялова О. И.* Диалекты Ганьсу. М., 1979.
22. *Астрахан Е. Б., Завьялова О. Л., Софронов М. В.* Диалекты и национальный язык в Китае. М., 1985. С. 289.
23. *Чжан Шэньюй*. Иньчуань фаньянь ды шэндяо (Тоны диалекта Иньчуаня) // Фаньянь. 1984. № 1.
24. *Вэнь Дуаньчжэнь*. Синьчжоу фаньянь чжя (Описание диалекта Синьчжоу). Бэйцзин, 1984.
25. *Шэнь Хуэйюнь*. Цзиньчэн фаньянь чжи (Описание диалекта Цзиньчэна) // Юйвэнь яньцзю цзэнкань. 1983. № 4.
26. *Ян Фумянь*. Хотэй То:рё хо:ген-но сэйтё: (Тоны диалекта Тунлюй, Баодин) // Тю : гоку гогаку. 1960. № 7.
27. *Цяо Цюаньшэн*. Хундун фаньянь чжи (Описание диалекта Хундуна) // Юйвэнь яньцзю цзэнкань. 1983. № 6.
28. *Цянь Цзэньи, Лю Юисинь, Ота Ицукү*. Бошань фаньянь цзи (Описание диалекта Бошаня) // Шаньдун дасюэ вэнькэ луньвэнь цзикань. 1982. № 1.
29. *Л о Чанпэй*. Самэнь иньси (Фонетическая система диалекта Сямьня). Бэйцзин, 1956.
30. *Завьялова О. И.* Тоны в шэньсийском диалекте дунганского языка // Проблемы реконструкции: Тезисы докладов конф. М., 1978.
31. *Цао Дэхэ*. Баликунь хуа ды циньинь цы (Слова с нейтрализацией тона в диалекте Баликунь) // Синьцзян дасюэ сэзбао. 1987. № 3.
32. *Ivata R., Imagawa H.* An acoustic study of tone, tone sandhi and neutral tone in Lian-yun-gang dialect of Chinese // Annual bulletin of the research institute of logopedics and phonetics. 1982. № 6.
33. *Син Гунвань*. Аньшин фаньянь «цзыдяюнь» ды цузэе могли (Слитные формы реализации тонов в «группах иероглифов» диалекта Аньшина) // Л о Чанпэй цзяньянь луньвэньцзы (Сборник статей в честь Л о Чанпэя). Бэйцзин, 1984.
34. *Ян Шуцзу, Ван Аилу*. Цисянь фаньянь чжи (Описание диалекта Цисяня) // Юйвэнь яньцзю цзэнкань. 1984. № 8.
35. *Чжао Пинсюань*. Шоюань фаньянь чжи (Описание диалекта Шоюаня) // Юйвэнь яньцзю цзэнкань. 1984. № 9.
36. *Ян Шуцзу*. Тайгу фаньянь чжи (Описание диалекта Тайгу) // Юйвэнь яньцзю цзэнкань. 1983. № 5.
37. *Хоу Цзиньи*. Чанчи фаньянь чжи (Описание диалекта Чанчи). Бэйцзин, 1985.
38. *Sherard M.* A synchronic phonology of modern colloquial Shanghai // Computational analyses of Asian and African languages. 1980. № 15.
39. *Шэнь Тун*. Синьпай Шанхай хуа шэндяо ды дицэн синшэн (Глубинная структура тонов шанхайского диалекта) // Юйвэнь яньцзю. 1985. № 2.
40. *У Тай*. Гуаньйой «ляньду бяньдяо» ды цзай жэньпиги (Новая интерпретация «изменений тонов при слитном чтении») // Юйянь яньцзю. 1986. № 1.

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

© 1990 г.

Н. С. ТРУБЕЦКОЙ

ОБЩЕСЛАВЯНСКИЙ ЭЛЕМЕНТ В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ *

IV

В связи с западнославянскими литературными языками следует рассмотреть и современный украинский литературный язык. Дело в том, что, хотя народный украинский язык является ближайшим родичем народного языка великорусского, тем не менее украинский литературный язык примкнул не к русско-церковнославянской, а к польской, т. е. западнославянской литературно-языковой традиции. Обстоятельство это заслуживает специального рассмотрения и освещения.

Прежде всего возникает вопрос, как относятся друг к другу украинское (малорусское) и великорусское наречия: являются ли они самостоятельными языками или только диалектами одного языка? Как это ни странно, но ответить на этот вопрос одними средствами языковедения невозможно. Вопрос о том, являются ли два близкородственных наречия диалектами одного языка или двумя самостоятельными языками, сводится к тому, насколько существующие между данными наречиями словарные, грамматические и звуковые различия фактически затрудняют языковое общение и взаимное понимание представителей того и другого наречия. А для решения этого вопроса никаких общих объективных норм не существует. Все зависит от степени чуткости данного народа к языковым различиям, а эта чуткость у всех народов различна. В частности, относительно русских племен следует отметить, что там, где малороссы и великороссы живут друг с другом бок о бок (в областях недавно колонизованных и на этнографической границе между обоими племенами, напр., в некоторых частях Воронежской и Курской губ.), они без труда понимают друг друга, причем каждый говорит на своем родном говоре, почти не приспособляясь к говору собеседника. Правда, в этих случаях встреча происходит обычно между представителями южновеликорусских говоров — с одной, и северномалорусских или восточноукраинских говоров — с другой: если бы встреча произошла между архангельским помором и угоруссом или буковинским гуцулом, то взаимное понимание, надо полагать, оказалось бы более затрудненным. Но на это можно возразить, что саксонцы и тирольцы тоже почти не понимают друг друга, когда говорят на своих родных говорах, а миланцы и сицилианцы просто-таки совсем друг друга не понимают.

Таким образом, различия между основными русскими («восточнославянскими») наречиями, — великорусским, белорусским и малорусским, —

* Окончание. Начало см. ВЯ, 1990, № 2.

не настолько глубоки, чтобы затруднять взаимное общение представителей этих наречий. Что касается до давности этих различий, то она тоже сравнительно незначительна. Звуковые особенности, отделяющие друг от друга три основных русские наречия, не древнее середины XII в.¹¹; словарные различия, — каковые особенно важны, ибо более всего затрудняют взаимное общение, — возникли преимущественно в эпоху польского владычества над западной Русью и сводятся, главным образом, к наличию в малорусском и белорусском народных языках огромного количества полонизмов (т. е. слов и выражений, либо прямо заимствованных из польского, либо созданных по образцу польских), чуждых великорусским народным говорам¹². Таким образом, ни о глубине, ни о древности различий между тремя основными русскими (восточнославянскими) наречиями говорить не приходится.

Но, даже если бы различия между великорусским и малорусским наречиями были гораздо глубже и древнее, чем они есть на самом деле, из этого отнюдь еще не следовало бы, чтобы украинцам необходимо было создать себе особый литературный язык, отличный от русского. Надо вообще предостеречь от довольно распространенного предрассудка, будто существование сильных различий между двумя наречиями неминуемо влечет за собой (или должно повлечь за собой) и создание для каждого такого наречия особого литературного языка. Живые языки современной Европы самым решительным образом противоречат этому мнению. Каждый из больших литературных языков Европы (французский, итальянский, английский, немецкий) господствует на территории лингвистически гораздо менее однородной, чем территория русских племен. Различия между нижненемецким (Plattdeutsch) и верхненемецким (Oberdeutsch) или различия между народными говорами северной Франции и говорами Прованса не только сильнее, но и значительно древнее различий между малорусским, белорусским и великорусским. Мы видели выше, что различия между этими основными русскими наречиями не древнее XII в.; между тем, нижненемецкий и верхненемецкий выступают как два самостоятельных и внутренне уже дифференцированных языка с самого начала средневековой немецкой письменности¹³, а различие между собственно французским и провансальским языками восходит к самому началу романизации Галлии¹⁴.

Таким образом, никакой *необходимости* создавать особый специально-украинский литературный язык не было. Все восточные славяне (великорусы, малороссы и белорусы) прекрасно могли обойтись одним литературным языком, тем более, что в создании этого общерусского литературного языка, как мы видели выше, принимали участие представители всех основных восточнославянских наречий. Далее мы видели, что некогда сущест-

¹¹ Об этих звуковых изменениях, приведших к распаденю общерусского языкового единства, см. нашу статью (на немецком языке) в Zeitschrift für slavische Philologie, 1924, I, особенно стр. 292 и сл.

¹² За вычетом этих полонизмов словарное различие между малорусским и южно-великорусским народным языком оказалось бы не большим, чем различие между рязанским и вологодским. Следует особенно, принять во внимание, что в южновеликорусских говорах есть очень много слов, не вошедших в русский литературный язык, но существующих в малорусском (*хата*, *девчина* и т. д.).

¹³ Древнейшие памятники нижненемецкого языка восходят к началу IX, а древнейшие памятники верхненемецкого — к середине VIII в.

¹⁴ Сказанное о крупных литературных языках Европы применимо и к менее крупным. Так, напр., население Голландии говорит частью на нижефранковском наречии немецкого языка, частью на языке фризском (ближайшем родиче англосаксонского), литературный же голландский язык для всей Голландии — один.

вовал особый специальнозападнорусский литературный язык и что этот язык после соединения Украины с Великодержавией прекратил свое самостоятельное существование. При этом, гибель его была вызвана не каким-либо правительственным запретом, а просто его ненужностью: поэтому он не был *вытеснен* московским, а *слился* с московским.

И тем не менее, новый украинский литературный язык возник. Возник он в конце XVIII в., при этом, вне всякой связи с вымершим западнорусским литературным языком. Основателем нового украинского литературного языка считают Котляревского. Произведения этого писателя («Энеида», «Наталка-Полтавка», «Москаль-Чарльвик. Одна князю Куракину») написаны на простонародном малорусском говоре Полтавщины и по своему содержанию относятся к тому жанру поэзии, в котором намеренное применение простонародного языка вполне уместно и мотивировано самим содержанием. Стихотворения наиболее крупного украинского поэта, Тараса Шевченки, написаны большей частью в духе и в стиле малорусской народной поэзии и, следовательно, опять-таки самим своим содержанием мотивируют употребление простонародного языка. Во всех этих произведениях точно так же, как и в рассказах из народного быта хороших украинских прозаиков, язык является нарочито простонародным, т. е. как бы преднамеренно нелитературным. В этом жанре произведений писатель преднамеренно ограничивает себя сферой таких понятий и представлений, для которых в безыскусственном народном языке уже существуют готовые слова, и выбирает такую тему, которая дает ему возможность употреблять только те слова, которые действительно существуют, и притом именно в данном значении, в живой народной речи. Разумеется, такой литературный жанр требует от писателя известной стилистической сноровки. Но все же, жанр этот строго ограничен, литература, даже беллетристическая, не может исчерпываться им, и на основе его невозможно создать настоящего литературного языка, способного отвечать всем потребностям. Ведь основное назначение литературного языка как орудия высшей духовной культуры именно в том и состоит, чтобы найти средства для выражения таких понятий, представлений и оттенков мысли, которые в сознании необразованных или малообразованных народных масс не существуют и потому не нашли себе словесного выражения в простонародном языке. Таким литературным языком для большинства образованных малороссов был русский литературный язык. Это, конечно, отнюдь не исключало закономерности применения чисто простонародного малорусского языка в произведениях известного литературного жанра, в которых писатель, будучи на самом деле интеллигентом, т. е. человеком с расширенным по сравнению с простолюдином кругозором и с установкой на высшую уместную культуру, намеренно становится на точку зрения простолюдина: к этому жанру относятся подражания народной поэзии, рассказы из народного быта с намеренно подчеркнутым местноэтнографическим колоритом и народные книжки, популяризирующие известные научные, технические сведения или известные религиозные, политические и философские учения. Но известная часть украинской интеллигенции захотела большего, именно, захотела создать на основе малорусского наречия настоящий литературный язык, применимый не только в вышеупомянутом литературном жанре, но и во всех других, и способный стать органом устной культуры для всей украинской интеллигенции. По существу, в этом стремлении ничего противоположного не было. Следовало только при достижении поставленной цели держаться естественного пути и исходить из реальных данных. Реально существовал русский литературный язык, создавшийся,

как мы видели выше, путем органического и естественного исторического процесса постепенного обрусения церковнославянского языка. Этот русский литературный язык естественным путем стал языком образованных украинцев, но, благодаря известным условиям своей истории, он представлял из себя соединение церковнославянского элемента не с малорусским, а с средневеликорусским элементом, и в отношении фонетики и грамматики, а отчасти и словаря, был определенно средне-великорусским. Естественный путь к созданию литературного языка на малорусской основе состоял бы именно в замене средневеликорусской стихии русского литературного языка стихией малорусской: церковнославянскую же стихию русского литературного языка при этом, конечно, не было никакой необходимости устранять, ибо, как это мы постараемся показать ниже, наличие этой стихии именно и составляет главное преимущество русского литературного языка, преимущество, отказ от которого был бы равносильен добровольному самооскоплению. Этот отказ от церковнославянского преемства был бы и изменой всему прошлому Украины, т. е. введению церковнославянского языка в России и сохранение чистоты русско-церковнославянской традиции теснейшим образом связано именно с Украиной. Еще в домонгольский период именно Киев более всего заботился о чистоте церковнославянского языка, так что киевские церковнославянские рукописи этого периода опознаются именно по нарочитой правильности церковнославянской орфографии; и именно Киев служил в это время образцом церковнославянского произношения для всей Руси, задавая в этом отношении тон всем другим областям,— как о том свидетельствует усвоение специфически южнорусского произношения согласной *з* в богослужебных текстах по всей Руси. А позднее, в эпоху польского владычества и борьбы с унией, тот же Киев явился очагом не только охранения церковнославянской традиции, но и первой систематической нормализации церковнославянского языка русской редакцией: до Ломоносова все грамотные русские (и даже нерусские православные славяне) учились церковнославянскому языку по грамматике украинского ученого Мелетия Смотрицкого¹⁵. Расширение сферы применения церковнославянского языка и распространение этого языка на чисто светскую литературу, опять-таки, именно в Киеве раньше и ярче всего проявилось. Украинским бурсакам и ученым принадлежат первые попытки писать рифмованные стихи (вирши) на церковнославянском языке,— и именно от этих вирш в XVII л в начале XVIII в. ведет свою родословную вся русская поэзия (разумеется, не простонародная). Точно также и риторика XVIII в. с ее славянизмами генетически восходит к красноречию именно украинских ученых риторов и проповедников, а не к «вяканью» великорусских краснобаев. Русская драма и комедия восходят тоже к украинским школьным интермедиям на церковнославянском языке. Словом, вся традиция и формы использования церковнославянского языка для светской литературы идут из Украины. Русскую литературу послепетровского периода приходится рас-

¹⁶ Эта приверженность к церковнославянскому языку стоит в связи с некоторыми чертами народного характера южнорусов. Южнорусские писатели издревле отличаются особым выпрепненным риторическим пафосом, несвойственным северорусам; этот пафос находим и у древних проповедников-южан (Илариона, Кирилла Туровского — особенно по сравнению с новгородцами Лукой Жидятой и Иаковом-Иоанном), и у южнорусского паломника Даниила (в отличие от новгородского паломника Антония), он же отличает южнорусскую летопись от сухо деловой новгородской; в новой литературе представителем того же специфически украинского пафоса является Гоголь. Естественно, что церковнославянская традиция находила в этом свойстве украинского литературного вкуса и дарования благоприятную почву.

смагивать как продолжение церковнославянской литературы Западной Руси (главным образом, Украины) XVII в.: с специфически великорусской, московской литературой допетровской Руси у русской литературы XVIII в. никакой связи нет¹⁶. Таким образом, в своем церковнославянском элементе русский литературный язык принадлежит украинцам даже больше, чем великорусам, и естественный путь для создания нового украинского литературного языка должен был бы заключаться в примыкании к уже существующему русскому литературному языку, в тщательном сохранении церковнославянской стихии этого языка одновременно с заменой его средневеликорусской стихии малорусской. Однако тот украинско-литературный язык, который получился бы при следовании по этому естественному пути, разумеется, оказался бы очень похожим на русский: ведь слова церковнославянского происхождения в русском литературном языке составляют чуть ли не половину всего словарного запаса, а многие из средневеликорусских слов, вошедших в этот язык, отличаются от соответствующих малорусских лишь очень мало. Это близкое сходство естественно созданного украинского литературного языка с русским само по себе было бы тоже совершенно естественно, ибо ведь и соответствующие народные языки, великорусский и малорусский, близкородственны и похожи друг на друга. Но те украинские интеллигенты, которые ратовали за создание самостоятельного украинского литературного языка, именно этого естественного сходства с русским литературным языком и не желали. Поэтому они отказались от единственного естественного пути к созданию своего литературного языка, всецело порвали не только с русской, но и с церковнославянской литературно-языковой традицией и решили создавать литературный язык исключительно на основе народного говора, при этом так, чтобы этот язык как можно менее походил на русский. Как и следовало ожидать, это предприятие в таком виде оказалось неосуществимым: словарь народного языка был недостаточен для выражения всех оттенков мысли, необходимых для языка литературного, а синтаксический строй народной речи слишком неуклюж для того, чтобы удовлетворить хотя бы элементарным требованиям литературной стилистики. По необходимости приходилось примкнуть к какой-нибудь уже существующей и хорошо отделанной литературно-языковой традиции. А т. к. к русской литературно-языковой традиции примыкать ни за что не хотели, то оставалось только примкнуть к традиции польского литературного языка. И действительно, современный украинский литературный язык, поскольку он употребляется вне того народнического литературного жанра, о котором говорилось выше, настолько переполнен полонизмами, что производит впечатление просто польского языка, слегка слобренного малорусским элементом и втиснутого в малорусский грамматический строй. Благодаря этому особому направлению в создании и развитии украинского литературного языка — направлению, не только противоестественному, но и противоречащему основной тенденции истории Украины, состоявшей

je Такие же соотношения наблюдаются и в других сторонах духовной культуры, в частности, в музыке и в живописи. Русская портретная живопись XVIII в. не имеет ничего общего с великорусской иконописью допетровского периода, но генетически связана с украинской иконописью XVII в. и т. д. «Украинизация» великорусской духовной культуры началась еще при Алексее Михайловиче (вспомним роль киевлян в реформе Никона!) и явилась мостом к европеизации. Обстоятельство это чрезвычайно важное, ибо без этого моста украинизации европеизм вряд ли мог бы привиться на русской почве.

всегда в обороне и борьбе против ополячения¹⁷ — современный украинский литературный язык должен быть отнесен к литературным языкам западнославянской (чешско-польской) традиции.

V

Таким образом, рассмотрение всех современных славянских литературных языков привело нас к выводу, что кроме языков сербохорватского и словенского, совершенно выпавших из всякой связи с литературно-языковыми традициями, современные славянские литературные языки по признаку примыкания к определенной традиции распадаются на две группы — группу церковнославянской традиции (русский и болгарский литературные языки) и группу польско-чешской традиции (польский, чешский, словацкий, верхнелужицкий, нижнелужицкий и украинский литературные языки). Связь между литературными языками первой группы есть связь *по преемству*, связь же между литературными языками второй группы есть связь *по влиянию*. Различие это, конечно, объясняется разницей во времени возникновения источников традиции той и другой группы. Староцерковнославянский язык возник в конце эпохи праславянского единства, т. е. тогда, когда отдельные славянские наречия относились друг к другу еще как разные диалекты одного языка, а не как самостоятельные языки. Поэтому старославянский язык был в потенции еще общеславянским литературным языком. Пересадка его из Солуни в восточную Болгарию, из Болгарии — в Сербию и в Россию и живое взаимодействие всех этих его очагов были возможны именно потому, что в каждом из этих очагов он ощущался по сравнению с местным народным языком не как язык иностранной, а просто как язык литературный. И позднее, когда отдельные народные языки уже основательно разошлись, церковнославянский язык, напр., у нас в России, ощущался не как чужой, а просто как старинный, устаревший, но тем не менее свой — родной литературный язык. Напротив, основной источник западнославянской (чешско-польской) литературно-языковой традиции, язык старочешский, сложился как литературный язык уже тогда, когда отдельные славянские языки совершенно обособились друг от друга. Пересадка его, хотя бы в Польшу, была невозможна, а возможно было лишь его влияние на местный польский язык.

Между обеими группами славянских литературных языков существуют и линии связи. Влияние русского литературного языка на западнославянские вообще не особенно значительно. Если в польском языке и есть некоторое количество русских (малорусских и белорусских) слов, то слова эти не литературного, а народноязыкового происхождения (напр., *wesele, okolica, horodyszczce, hubka* и т. д.). Несколько сильнее следы русского влияния в чешском литературном языке: деятели новочешского возрождения (особенно Юнгман) охотно черпали из русского словаря отдельные слова, для восполнения пробелов, образовавшихся в чешском языке за время упадка его литературной традиции. К заимствованиям из русского словаря охотно прибегали и создатели словацкого литературного языка. Тем же искусственным способом попали в чешский (и словацкий?) литературный язык и некоторые церковнославянские слова, — б. ч. та-

¹⁷ Мы констатируем этот факт, никого не осуждая. Было бы несправедливо приписывать вину в этом прискорбном факте уклонения украинского литературного языка от его естественного пути развития исключительно «глирым самостийникам». Вина была также и русского правительство, проявившее в данном вопросе изрядную меру безтактности и создавшее своими немудрыми репрессивными мерами благоприятную обстановку для врагов России и русского племени.

кие, которые имелись и в русском языке. — Обратное влияние западнославянской (чешско-польской) литературно-языковой традиции на русскую было гораздо сильнее. Мы уже упоминали о том, какое решающее влияние на русский литературный язык оказал переполненный полонизмами западнорусский литературный язык XVII в. Но и помимо окольного пути польский литературный язык повлиял на русский и непосредственно. Наконец, известное количество польских слов через Белоруссию и Украину проникло в разговорный язык русских горожан, а оттуда — в литературный язык. Таким образом, в русском литературном языке имеется довольно много польских слов. Тут и чисто польские слова, вроде *вензель, кий, огулом*, и характерные польские переделки немецких слов, вроде *рынок (Ring), крахмал (Krafmehl), фартук (Vartuck)*, или польские образования от немецких корней, вроде *кухня, кухарка, ратовать, рисовать, русунок, будка*, и слова общеевропейские в польском фонетическом обликах, вроде *банк, аптека, почта, пачпорт, музыка* (еще у Пушкина с ударением на *ы*), *пана*¹⁸. Иногда польское происхождение трудно угадать, но оно выдает себя, напр., ударением, напр., в *представитель* (по-русски было бы *представитель*). Особенно интересны такие тоже несомненно польские по происхождению слова, как *замок, право* (в значении / и *s*), *духовенство*, (ср. место ударения в *духовный*), *обыватель, мещане, правомочный*, и т. д.: слова эти взяты из польского, но в самом польском они представляют из себя лишь ополяченную форму соответствующих чешских слов, которые, в свою очередь, являются искусственными «кальками» немецких слов *Schloss, Recht, Geistlichkeit, Rewohner, Burger, rechtskraftig* и т. д. В таких случаях, — число которых, конечно, может быть преумножено, — мы, следовательно, имеем дело с проникновением в русский язык через польское посредство известных элементов старочешской литературно-языковой традиции, характеризующейся, как указано было выше, зависимостью от традиции немецкой и латинской⁴⁹. Таким образом, влияние западнославянской (чешско-польской) литературно-языковой традиции на русский язык не подлежит сомнению²⁰.

VI

Итак, русский язык из всех современных славянских литературных языков имеет за собой наиболее долгую и непрерывную литературно-языковую традицию. Путем непрерывного преемства он восходит к староцер-

¹⁸ Слово *пана* вовсе не является самостоятельным созданием детского языка, как это принято думать. Оно заимствовано. Старинному русскому языку оно было чуждо. В простонародный язык оно проникло только недавно из языка городских мещан, получивших его из языка более высших классов (исконно простонародны только *тятя, батюшка*). В языке же высших классов слово это имеется в двух формах: — непосредственно заимствованной из немецкого *пана* (несклоняемое!), с ударением на втором слоге, господствовавшей еще недавно в великорусском дворянстве, и в форме заимствованной через польское посредство *пана* (склоняемое!), с ударением на первом слоге, господствовавшей в западно- и южнорусском дворянстве.

¹⁹ Вопрос осложняется, тем, что некоторое количество «кальков» с романо-германских литературных языков было образовано на русской почве и совершенно независимо от западнославянского влияния и что довольно большое число немецких, французских, голландских и т. д. слов проникло в русский литературный и разговорный язык и помимо польского посредства. Приходится с досадой констатировать, что история словаря русского литературного языка до сих пор чрезвычайно мало изучена.

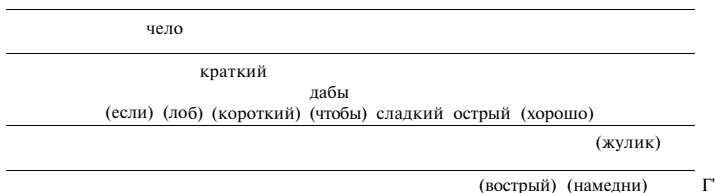
²⁰ М. б. в русском литературном языке есть и слова, заимствованные непосредственно из чешского. Таким словом, м. б., следует считать, напр., слово *набожный*, неизвестное церковнославянскому языку, из которого русский почерпнул почти всю свою религиозную терминологию. Правда, слово это из чешского языка пришло еще и в польский: но ударение на первом слоге русского слова *набожный* говорит скорее в пользу прямого заимствования из чешского, без польского посредства.

ковнославянскому, т. е. к потенциально-общеславянскому литературному языку конца эпохи праславянского единства. Эта преемственная связь с старой и продолжительной литературно-языковой традицией сообщает русскому языку целый ряд преимуществ.

Прежде всего,— преимущество чисто внешнее: однородность и устойчивость самого внешнего облика русского литературного языка. Такая устойчивость и однородность может существовать только у языков, опирающихся на продолжительную чисто литературно-языковую традицию и поэтому совершенно независимых от народных говоров. Это особенно ясно при сравнении с языками, не имеющими традиции и созданными на основе народных говоров. Так, словацкий литературный язык сначала базировался на западнословацком, потом стал базироваться на среднесловацком наречии, причем долгое время каждый писатель считал себя вправе писать на своем родном говоре, и диалектическую стабилизацию словацкого литературного языка и до сих пор нельзя еще признать окончательно законченной: то же наблюдается и в сербохорватском литературном языке, где канонизованное Вуком Караджичем довольно архаичное «йекавское» наречие борется за право «литературности» с менее архаичным «экавским»; наконец, еще в большей мере это справедливо относительно украинского литературного языка, где неустойчивость и разнородность настолько велики, что практически под общим именем украинского языка существуют несколько довольно отличных друг от друга языков,— галицийский, буковинский, карпаторусский, восточноукраинский.

Но главные преимущества русского языка, зависящие от его преемственной связи с староцерковнославянским языком, касаются не внешней, а внутренней стороны его. Благодаря органическому слиянию в русском литературном языке церковнославянской стихии с великорусской словарь русского языка необычайно богат. Богатство это заключается именно в оттенках значения слов. Целый ряд представлений допускает по-русски два словесных выражения: одно по своему происхождению церковнославянское, другое — русское. Оба словесных выражения дифференцируются в своем значении, притом либо так, что церковнославянское слово получает торжественный и поэтический обертон, отсутствующий у соответствующего русского (*ладья* : *лодка*, *перст* : *палец*, *око* : *глаз*, *уста* : *рот*, *чело* : *лоб*, *дева* : *девушка*, *дитя* : *ребенок*, *великий* : *большой*, *согбенный* : *согнутый*, *хладный* : *холодный* и т. д.), либо так, что церковнославянское слово имеет переносное и более абстрактное, а русское — более конкретное значение (*обратить* : *оборотить*, *небрежный* : *небережный*, *страна* : *сторона*, *глава* : *голова*, *оградить* : *отгородить*, *открытый* : *открытый*, *равный* : *ровный*, *краткий* : *короткий*, *чуждый* : *чуждой*, *мерзкий* : *мерзкий*, *влячить* : *волочить*, *вопросить* : *спросить*, *разница* : *розица*, *биение* : *битье*, *древесный* : *деревянный* и т. д.). Эти соотношения оттенков значения обычны: лишь очень редко наблюдается обратное соотношение, когда, напр., русское слово имеет специфический поэтический обертон, а церковнославянское ощущается как прозаическое (*шелм* : *шолом*, *плен* : *полон*, *между* : *меж*). Соотношение между церковнославянской и великорусской стихией в словаре русского литературного языка можно представить в виде словарных пластов или этажей, расположенных один под другим. Есть церковнославянские слова, не вошедшие в литературный язык в собственном смысле, напр., *аще*, *яко*, *убо*, *токмо*, *егда*, *днесь*, *глаголю*, *реку*, *вертоград* и т. д. (назовем эти слова условно «тип *аще*»). Употреблять такие слова в литературном произведении можно только при специальной сюжетной мотивировке, напр., при ведении рассказа от ли-

ца старообрядческого начетчика (как в «Запечатленном ангеле» Лескова). Далее, есть церковнославянские слова, употребление которых допустимо лишь в поэзии или в особо торжественном, напыщенном стиле, напр., такие названия частей тела, как *чело, око, уста, вежды, брада, вяя, длань, перст, чресла, чрево*, далее слова вроде *злато, млат, хлад, страж, твердь, дева* и т. д. «тип *чело*». Соответствующие им великорусские слова (*лоб, глаз, золото* и т. д.) употребляются в литературе и в разговоре без специфического оттенка вульгарности или простонародности. Далее идут слова церковнославянские, отличающиеся от соответствующих великорусских только своим переносным и абстрактным значением, напр., *краткий : короткий, равный : ровный, чуждый : чужой* и т. д. («тип *краткий*»). Следующий пласт составляют церковнославянские слова, отличающиеся от русских только почти неуловимым оттенком большей «учености» вроде *ибо (: потому что), дабы (: чтобы), середина (: середина)* и т. д. («тип *ибо*»), — слова, в сущности, просто «дублирующие» соответственные великорусские. Наконец, идут церковнославянские слова, просто совсем вошедшие в литературный язык, как книжный, так и разговорный, не имеющие при себе великорусского дублета и не связанные ни с каким специфически торжественным или абстрактным оттенком. Такие слова можно подразделять еще на несколько групп: а) вошедшие и в народный говор, напр., *сладкий, облако, платок*, б) чуждые народному языку по самому своему значению, напр., *раб, дерзкий, член*, в) такие, которые в литературном языке существуют без дублетов, но в народных говорах имеют чисто великорусские эквиваленты, не вошедшие в литературный язык, напр., *острый, пламя, бремя, польза, помощь, пещера* (ср. чисто великорусские *вострый, польмя, берема, польга, помочь, пещора*, неупотребительные в литературном языке). Что касается до слов великорусских, то их можно делить на три группы: а) одни входят в литературный язык (напр., *говорю, лоб, золото, короткий, середина, хорошо*), б) другие употребительны в разговорном языке интеллигенции, но не допускаются в литературе без специальной стилистической мотивировки (*дуралей, жулик, пройдоха*), в) третьи существуют только в народных говорах и могут быть введены в литературное произведение только при особой сюжетной мотивировке (напр., в рассказах из народного быта), напр., *вострый, тетереча, намедни, под микитки* и т. д. Графически получается следующая схема:



Примечание к схеме: — сплошные линии (AA' и BB') обозначают границы собственно-письменного литературного языка; пунктирные линии (BB' и ГГ') — границы словаря разговорно-литературного языка образованных русских; ниже линии ГГ' и выше линии AA' находятся словарные элементы, допускаемые в литературный язык только при специальной сюжетной мотивировке; части словаря, ограниченные с одной стороны сплошной, с другой — пунктирной линией (т. е. отрезка AA'BB' и BB'ГГ')

ГГ"), заключают в себе словарный материал, допустимый в литературном языке только при определенной стилистической установке²¹.

Из факта сопряжения в словаре русского литературного языка двух основных стихий — церковнославянской и средневеликорусской — объясняются и некоторые дальнейшие особенности и особые «удобства» русского языка. Прежде всего — совершенная техника образования «новых слов». Когда надо выразить какое-нибудь понятие, для которого в языке нет точного специального слова, то поневоле приходится «сочинять» новое слово, причем это новое слово либо состоит из двух уже существующих слов (слитых или неслитых воедино), либо образовано при помощи разных суффиксов и префиксов от уже существующего слова по образцу других уже существующих. Для того, чтобы такие «новые слова» стали действительно «этикетками», обозначающими только данное понятие как таковое, необходимо, чтобы те уже существующие «старые слова», из которых (или из частей которых) эти новые слова образованы, не имели слишком ярко-конкретного значения: иначе ассоциации с этими значениями будет мешать воспринимать данное слово как простую «этикетку» данного понятия. И вот тут-то русскому литературному языку приходит на помощь его церковнославянская словарная стихия. Т. к. церковнославянские слова за редкими исключениями (вроде *сладкий*, *платок* и проч.) не ассоциируются в сознании с слишком конкретными представлениями обыденной жизни, они как нельзя более подходят именно для образования «новых слов» в вышеописанном смысле. Русская научная терминология создавалась поэтому преимущественно именно из церковнославянского словарного материала. Мы говорим *млекопитающие* и при этом представляем себе определенный класс животных, имеющий целый ряд общих признаков; слово это для нас такая же «этикетка», как *рыбы* или *птицы*. Но это именно потому, что составные элементы этого слова не великорусские, а церковнославянские: если слово *млекопитающие* заменить словом *молокомкормящие*, то «этикетки» не получится, а будет определенное «высказывание» лишь об одном, а не о всех признаках данного класса животных,— и это потому, что слишком конкретно и определенно-обыденно значение великорусских слов *молоком* и *кормить*. Точно так же, как *млекопитающие*, образованы, напр., такие термины и «новые слова», как *млечный путь*, *пресмыкающиеся*, *влияние* и многие другие: если бы вместо них составить слова из чисто-великорусских элементов (*молочная дорога*, *ползающие*, *вливанье*), то от ассоциаций с конкретными обыденными представлениями трудно было бы отделаться и «этикетки» для соответствующих понятий не получилось бы. Вообще, научному, философскому, публицистическому, вообще «теоретическому» языку очень часто приходится стремиться к тому, чтобы обесплотить отдельные слова, потушить их слишком яркое конкретно-житейское

²¹ Следует заметить, что линии, начертанные на этой схеме, в процессе развития языка постоянно сдвигаются. Благодаря этому слова, заключенные в отрезках АА', ББ' и ВВ', ГГ', имеют склонность к переходу в соседние рубрики. Многие из слов, которые во времена Пушкина еще могли употребляться в торжественно стихотворной речи (т. е. принадлежали к «типу *чело*»), теперь ощущаются как принадлежащие к «типу *аще*» (напр., слово *клад*) или употребляются в переносном и абстрактном смысле, т. е. перешли в «тип *краткий*» (напр., слово *страж*). С другой стороны, слово *на-медни*, являвшееся в настоящее время исключительно простонародным, еще сравнительно недавно употреблялось и «образованными» русскими в разговоре (но не в письменной литературе), т. е. принадлежало к «типу *жулик*». Другие слова «типа *жулик*», наоборот, так сказать, «повышаются в чине» и становятся допустимыми и в письменной литературе без специальной стилистической мотивировки.

значение. Гусский литературный язык уже обладает в этом отношении готовым словарным запасом церковнославянского происхождения, причем весь этот церковнославянский запас слов, корней и формальных элементов по самому месту, занимаемому им в русском языковом сознании, уже является обесплоченным, потушенным. И это — громадное преимущество.

Но церковнославянская стихия оказывает русскому литературному языку и другие услуги. Еще Ломоносов совершенно правильно указал на то, что разные комбинации церковнославянской и великорусской стилистики русского литературного языка порождают *стилистические* различия. Ломоносов различал еще только три стиля. Но на деле таких стилей, конечно, гораздо больше. Русский литературный язык очень богат разнообразнейшими стилистическими возможностями. И если приглядеться внимательнее к словарным палитрам хороших русских стилистов, то придется признать, что это богатство стилистических типов и оттенков становится возможным только благодаря сопряжению в русском литературно-языковом сознании двух стихий — церковнославянской и русской. Это сопряжение отражается не только в словарном составе, но и в синтаксическом строе отдельных стилистических типов. Выработавшиеся на переломах с греческого и по существу довольно искусственные синтаксические обороты церковнославянского языка сильно отличались от рудиментарно простых и в своей простоте мало разнообразных синтаксических оборотов чисто-великорусского разговорного языка. Но путем долгого сожительства в одном и том же языковом сознании грамотных русских людей оба эти синтаксиса применились друг к другу, и из их взаимодействия произошел целый ряд синтаксических стилей. Комбинация этих разных синтаксических типов с разными типами словарных наборов образует ту богато дифференцированную радугу стилей, которой отличается русский литературный язык.

Таким образом, сопряжение великорусской стихии с церковнославянской сделало русский литературный язык совершеннейшим орудием как теоретической мысли, так и художественного творчества. Без церковнославянской традиции русский язык вряд ли достиг бы такого совершенства²². Наблюдая современный русский литературный язык, убеждаешься в том, что преемство древней литературно-языковой традиции есть громадное преимущество. В самом деле, ведь все то, что может выразить язык без такого преемства, может быть выражено и русским языком, но, кроме того, русский язык может выразить и многое такое, чего язык без древнего литературно-языкового преемства выразить не может. Преемство церковнославянской традиции есть драгоценнейшее богатство; это богатство было потенциально дано всем православным славянам, и

²² Значение церковнославянского преемства явствует хотя бы из следующего частного факта. В русском народном языке причастия как таковые не существуют. Некоторые старые причастия с чисто русским окончанием *-чий* окаменели в виде прилагательных (*ходячий, стоячий, сидячий, лежащий, горячий, висячий, колошый, могучий, жезучий*), но они уже не сознаются как причастия, утратили способность конструироваться как глагольные формы (напр., уже не могут принимать прямого дополнения в винительном падеже) и почти утратили живую формальную связь с соответствующими глаголами (как о том свидетельствуют, напр., случаи вроде *воинчий, плакучий, дремучий, сытучий, неминучий, летучий, кипучий* с «неправильным» применением суффикса). Причастия русского литературного языка (*ходящий, колошый, могучий* и т. д.) по своему происхождению церковнославянские, и существование их в русском литературном языке зависит от церковнославянского преемства. Следует только попробовать обойтись без причастий, чтобы убедиться хотя бы на этом частном случае, как обеднел бы русский язык без преемства церковнославянской традиции.

добровольный отказ от него, наблюдаемый, напр., в сербохорватском или украинском литературном языке, есть безумие, самооскопление.

Сопряжение церковнославянской и великорусской стихии, будучи основной особенностью русского литературного языка, ставит этот язык в совершенно исключительное положение. Трудно указать нечто подобное в каком-нибудь другом литературном языке. Литературные языки мусульманского мира основаны всегда на сопряжении местного, народного языка с языком арабским, иногда еще и на сопряжении этих двух языковых стихий с персидской (напр., в турецком литературном языке). Но аналогия с русским языком здесь неполная, ибо дело идет о сопряжении языков совершенно различных, не похожих друг на друга не только по словарю, но и по всему своему грамматическому строю: арабский язык — семитический, персидский (а также афганский, индийский и т. д.) язык — индоевропейский, а турецкий язык — туранский. Эти языки по всей своей природе настолько различны, что неспособны слиться друг с другом в одно органическое целое и всегда продолжают существовать, не смешиваясь друг с другом. То же следует сказать и о сопряжении японского народного языка с китайским в японском литературном языке: весь строй «корневого» китайского языка слишком отличается от строя «агглютинирующего» японского языка, и это делает невозможным их органическое слияние. Нет полной аналогии между русским литературным языком и романскими, напр., французским. Правда, во французском языке мы находим использование латинских словарных элементов, напоминающее использование церковнославянских элементов русским языком, и самое отношение французского языка, развившегося из вульгарно-латинского народного говора Галлии, к литературному латинскому языку несколько похоже на отношение великорусского языка, потомка восточно-праславянского народного говора, к языку церковнославянскому, являющемуся в начале своего возникновения общеславянским литературным языком конца праславянской эпохи. Но, все же, аналогия неполная. Во-первых, французский язык гораздо сильнее отличается от латинского, чем русский от церковнославянского. В таких французских словах, как *singe, ennemi, droit, voire, eau, haut, sauvage*, трудно уже узнать их латинские прототипы *simia, inimicus, directus, videre, aqua, altus, silvaticus*, а в отношении грамматики французский язык представляет картину, совершенно и в корне отличную от латинского. Между русским и церковнославянским различия не так велики. Фонетические различия в большинстве своем были сглажены приспособлением церковнославянского языка к русскому произношению, и те немногие различия в этой области, которые еще сохранились (напр., *нощь — ночь, вижду — вижу, злато — золото, бръѣъ — берег, млѣко — молоко, растѣ — рост, ленѣ — лён, осмѣ — восемь*), настолько невелики, что не мешают свободному отождествлению церковнославянских слов с соответствующими русскими. В области грамматики русский язык утратил много форм, имеющих в церковнославянском (ср., напр., церковнослав. *ведохъ, веде, ведосте, ведоша, глаголаше, глаголаху, двѣ женѣ, двѣ сельѣ, жено\ рабе\ учителю\ сынови, людѣ, словесе* и т. д.), но, в общем, сохранил те же принципы грамматического строя, что и церковнославянский язык. В силу этих обстоятельств введение церковнославянских элементов в русский язык производится с гораздо большей легкостью, чем введение литературно-латинских элементов во французской. Французский язык не может так свободно дублировать чистофранцузские слова соответствующими латинскими, как это делает русский язык, напр., заменяя русские слова *золото*,

берег церковнославянскими *злато*, *брег* исключительно из стилистических соображений, для придачи речи торжественно-поэтического оттенка. Часто французский язык бывает вынужден вводить латинское слово, чтобы заполнить пробел 4Ф^мЦУ^{зскви} грамматики: так, напр., в этом языке нет средств, чтобы образовывать прилагательные от существительных, и там, где такое образование необходимо, приходится просто вводить соответствующее латинское прилагательное (напр., *aquatique*, *maritime*, *digital*, *feminin* в м. *d'eau*, *de mer*, *de doigt*, *de femme* и т. д.). Но такие слова не ассоциируются ни с какими особыми стилистическими оттенками. Вообще можно сказать, что слова, заимствованные из латинского литературного языка, сливаются с общим чисто французским словарным запасом гораздо менее органически, чем церковнославянские слова с великорусским словарным запасом²³. Таким образом, русский литературный язык в отношении использования преемства древней литературно-языковой традиции стоит, по-видимому, действительно особняком среди литературных языков земного шара²⁴.

VII

Особые свойства русского литературного языка как прямого продолжателя старочерковнославянской традиции должны бы придать ему и соответствующее этим свойствам культурно-историческое значение. Т. к. старочерковнославянский язык, как мы видели выше, был по своему замыслу общеславянским литературным языком конца эпохи праславянского единства и т. к. за исключением русского литературного языка ни один из славянских языков не сохранил непрерывной преемственности церковнославянской традиции, то естественно было бы русскому литературному языку стать языком культурных и деловых сношений между отдельными славянскими народами. Для этого необходимо было бы прежде всего введение обучения русскому языку в качестве обязательного предмета во все средние и технические заведения славянских стран. Однако до сих пор это было сделано только в одной Болгарии. В прочих славянских странах мы ничего подобного не наблюдаем, и даже теперь, после мировой войны, русский язык изучается в Германии и в Англии пожалуй больше, чем в получивших политическую независимость славянских государствах. На разных славянских конгрессах теперь принято, чтобы каждый оратор говорил на своем родном языке (или, в крайнем случае, по-французски!), — что, конечно, отнюдь не способствует взаимопониманию, т. к. славянские *литературные* языки отличаются друг от друга гораздо сильнее, чем соответствующие *народные* языки.

Таким образом, в силу разных политических и исторических причин русский литературный язык *в настоящее время* не может стать орудием междуславянского общения, несмотря на то, что по своей природе имел бы для этого все данные. Зато в силу других, опять-таки историко-культурных, причин русский язык фактически является и будет являться орудием

²³ Это относится, конечно, только к современному французскому языку. В более древние периоды своего существования французский язык гораздо свободнее и органичнее ассимилировал слова, заимствованные из латинского литературного языка, и некоторые такие слова остались в языке и поныне, причем ощущаются уже как чисто французские (*noble*, *siecle*, *homme*, *grave* и т. д.).

²⁴ Быть может, нечто приближающееся к русскому языку в этом отношении представляет современный бенгальский литературный язык, основанный на санскритском литературном преемстве. Пишущий эти строки практически недостаточно знаком с этим языком, чтобы высказывать по этому поводу какие-либо суждения.

культурного, политического и делового общения между народами России-Евразии. До революции русский язык был единственным официальным государственным языком для всей территории Российской Империи. При советском строе целый ряд областей России с нерусским коренным населением были признаны автономными и в некоторых из этих областей права официального государственного языка получил местный нерусский язык, причем для некоторых народов, прежде вовсе или почти совсем не имевших письменности, пришлось создавать и письменность, и новые литературные языки (на основе народных говоров). Рядом с этими местными официальными языками продолжает, однако, существовать и язык русский, являющийся и в настоящее время общим официальногосударственным языком всего СССР. Конечно, трудно предугадать, как сложится в дальнейшем история отдельных возникших при советском строе автономных областей и республик, все ли они окажутся одинаково жизнеспособными и долговечными. Но следует думать, что если не все, то большинство тех нерусских литературных языков, которые за время образования помянутых автономных областей и республик получили права официальных языков, останутся существовать и будут развиваться дальше. Таким образом, в результате революции число литературных языков в России значительно увеличится. Однако русский литературный язык от этого не утратит своего культурного и государственного значения. Не говоря уже о том, что он остается сейчас общим государственным языком всего «Союза Советских Социалистических Республик» и останется таковым и впредь, независимо от того, какие перемены произойдут со временем в государственной конструкции и строе этого «Союза», — можно с уверенностью утверждать, что он останется и языком культурного и делового общения между представителями разных народов, входящих в состав России-Евразии. Образованный зырянин будет всегда говорить с образованным грузином именно на русском литературном языке. Мало того, если литературные языки народов России-Евразии будут развиваться естественно²⁵, все они неизбежно испытают на себе сильное русское влияние. Это так же естественно, как то, что и соответствующие народно-разговорные языки подвергаются, правда, в разной степени, русскому влиянию. Те из инородческих литературных языков, которые возникли недавно и выросли главным образом за время революции, формируются преимущественно на переводах с русского и, таким образом, естественно примыкают к русской литературно-языковой традиции совершенно так же, как в свое время предок русского литературного языка — старославянский язык, формировавшийся на переводах с греческого, примкнул к литературно-языковой традиции греческой. Но даже и те из нерусских литературных языков России-Евразии, которые имеют за собой многовековое самостоятельное литературное преемство (напр., грузинский) или опираются на традицию не менее древнюю, но чужую (напр., на арабскую, как татарский), уже испытали и продолжают испытывать влияние русского литературного языка, благодаря тем же массовым переводам с русского и живому общению соответствующих интеллигентных кругов с русскими. Во всех литературных языках народов России-Евразии неминуемо появляется и еще появится масса «новых слов»,

²⁵ Под развитием «естественным» разумею развитие автоматическое без влияния посторонних (политических или иных) факторов, в противоположность неестественному или «искусственному» (регулятивному) развитию, совершающемуся под давлением определенных политических или национальных идеологий или правительственных мероприятий.

созданных по образцу соответствующих русских, масса словесных оборотов, дословно воспроизводящих русские, — не говоря уже о том, что неизбежно проникают в эти языки и прямо отдельные русские слова или иностранные слова в русской передаче. Таким образом, русский литературный язык в пределах разноязычного евразийского мира играет и будет играть роль мощного очага литературно-языковой традиции. Существует сейчас и будет существовать и впредь зона литературно-языковой радиации русского языка, подобная таковой же зоне греческого, латинского и т. д. языков. «Радиация» эта сказывается в определенной организации словарей и фразеологии литературных языков соответствующей зоны. В свое время церковнославянский язык возник в зоне радиации греческого, примкнул к греческой традиции и, будучи для своей эпохи общеславянским литературным языком, мог позднее путем преемства традиции дать начало новым славянским литературным языкам: но это преемство сохранил один только русский язык, который ныне сам становится очагом радиации для новой зоны, уже не славянской, а евразийской.

В связи с этим хотелось бы сказать несколько слов и о русском алфавите.

Выше мы уже говорили, что так называемая «кириллица» возникла на основе греческого заглавного алфавита (с присоединением нескольких букв, взятых в довольно сильно измененном виде из так называемой «глаголицы»). Этот алфавит претерпел в дальнейшем довольно значительные изменения, из «устава» превратился в «полуулав», потом в «скоропись». Наконец, при Петре тот же алфавит превратился в «гражданский шрифт», путем приближения начертания букв к латинице, и этот гражданский шрифт, подвергшись еще целому ряду мелких изменений в течение XVIII и первой половины XIX в., наконец, принял тот вид, в котором он существует и поныне. Нельзя сказать, чтобы этот шрифт вполне был приспособлен к звуковому составу русского языка, к тем звукопредставлениям, которые живут в русском языковом сознании²⁶. Но все же, благодаря долговременному применению, гражданская кириллица плотно пригнала к русскому языку и вошла в систему языкового сознания грамотных русских.

Мы сказали выше, что русский литературный язык, благодаря ряду исторически сложившихся обстоятельств, стал очагом литературно-языковой радиации для целой зоны литературных языков Евразии. Обычно такая литературно-языковая радиация связана и с радиацией алфавита: так, греческий алфавит возникший сам из финикийского, в древнее время породил латинский, позднее — готский и оба церковнославянские (глаголицу и кириллицу), латинский же послужил основой для графических систем всех европейских языков. То же явление наблюдается в настоящее время и с русским алфавитом. Таким образом, для культурной роли русского алфавита важно не только то, насколько он приспособлен к русскому языку, но и то, насколько на его основе можно построить алфавиты

²⁶ Русская фонетика основана на игре двух резких противопоставлений: противопоставления ударяемых гласных безударным и противопоставления мягких согласных твердым. Из этих двух фундаментальных противопоставлений первое на письме не выражается вовсе, а второе — лишь очень неполно, а порою и прямо неточно: напр., отличие между *томный* и *темный* для языкового сознания стоит в качестве согласных (*тв.тв*), а на письме выражается качеством гласных (*о.е*). Нет в кириллице и знаков для некоторых существующих в языковом сознании звуков, напр., для / или для долгого мягкого *ж*, изображаемого то через *жж* (*возжж*), то через *жжж* (*жжжет*), то через *жд* (*дожджик*), причем все эти три написания двусмысленны.

для других языков Евразии. И следует признать, что в этом отношении русский алфавит представляет громадные удобства и приспособлен для такой роли гораздо больше, чем какие-либо другие алфавиты Европы, Евразии и Азии. Для того, чтобы построить новый алфавит на основе старого, приходится, во-первых, снабжать отдельные буквы подстрочными — надстрочными знаками (напр., в французском языке *e, è, ê*, в немецком — *a, b, ÿ* и т. д.), во-вторых — использовать некоторые «лишние буквы» старого алфавита, придавая им особое значение (ср., напр., латинское *u*, использованное в каждом европейском алфавите в другом значении), и, наконец, — вводить совершенно новые буквы (напр., *w*, первоначально чуждое латинскому алфавиту). Над русским алфавитом все эти манипуляции производить гораздо легче, чем над каким-либо другим. Этот алфавит почти не имеет букв, уже снабженных подстрочными или надстрочными знаками (в противоположность, напр., арабскому алфавиту, где большинство букв уже снабжены одной, двумя или тремя подстрочными или надстрочными точками); большинство русских букв не выходит за пределы строчки ни вверх, ни вниз (в противоположность, напр., латинскому алфавиту с его *t, d, b, /, p, q, h, k, I, y*). Это значительно облегчает создание новых букв путем снабжения старых надстрочными и подстрочными точками, черточками, крючками и проч. Число «лишних букв», могущих быть использованными в новом значении для нового алфавита, в русском алфавите довольно велико (*v, 8, i, ь* и т. д.), особенно если принять во внимание и буквы, существовавшие в церковной кириллице, но не вошедшие в гражданскую («*зѣло*», «*юсь*», восмеркоподобное *у*, *омега* и т. д.). Самое число букв с реальным звуковым значением настолько велико, что добавлять новые знаки или комбинированные начертания к русскому алфавиту приходится гораздо меньше, чем, напр., к латинскому, не имеющему, напр., букв для звуков *ш, ж, ч, х* и т. д. Наконец, благодаря самой истории русского гражданского шрифта, возникшего путем приспособления церковной кириллицы (представляющей из себя стилизованное видоизменение греческого алфавита) к начертаниям латиницы, — к русскому алфавиту можно по мере надобности присоединять отдельные греческие и латинские буквы, почти не нарушая общего графического стиля²⁷. Таким образом, по своей гибкости и приспособляемости к звуковой системе разнообразнейших языков русский алфавит занимает совершенно исключительное положение.

Естественно ПОЭТОМУ, ЧТО целый ряд недавно возникших нерусских литературных языков Евразии использовали для создания национального алфавита именно русский гражданский шрифт. Некоторые из этих языков по самому свойству своей фонетики допускают простое применение русского алфавита без всяких изменений (напр., мордовский язык, особенно в своем «эрьянском» наречии). Другие (напр., чувашский, черемисский, вотский, зырянский) применяют русский алфавит с видоизменениями и с добавлением новых букв. В качестве естественной основы для национальных алфавитов нерусских литературных языков Евразии русская гражданская кириллица неизбежно конкурирует с другими алфавитами. Некоторые из этих других алфавитов имеют все основания для того, чтобы уцелеть. Так, грузины имеют свой национальный алфавит, освященный более чем тысячелетней исторической традицией и прекрасно приспособленный к грузинскому языку; конечно, о замене его каким-либо дру-

²⁷ Есть еще один способ образования новых букв, именно — перевоорачивание старых: в русском языке таким способом была образована в XVIII в. буква э.

гим не может быть и речи, и, мало того, этот грузинский алфавит естественно должен стать основой письменности и для мингрельского и сванского языков — ближайших, родичей грузинского²⁸.

Буддисты Евразии пользуются особыми алфавитами, восходящими к древнейуйгурскому, который в свою очередь происходит от арамейского алфавита, занесенного в Монголию несторианскими миссионерами. Эти «монгольские» алфавиты в общем очень хорошо приспособлены к передаче звуков соответствующих языков, но зато чрезвычайно неэкономны и неудобны с типографской точки зрения. У бурят с этим алфавитом конкурирует другой, созданный на основе русской гражданской кириллицы, и следует думать, что при дальнейшем развитии и интенсификации национальной письменности такой созданный на основе кириллицы национальный алфавит вытеснит из употребления алфавиты монгольско-уйгурского типа не только у бурят, но и у калмыков, а м. б., и у самих монголов.

Гораздо сложнее вопрос о национальных алфавитах некоторых мусульманских народов Евразии. До сих пор эти народы пользовались для своей письменности арабским алфавитом. Но этот последний является одним из наименее совершенных алфавитов Передней Азии, и приспособление его к передаче звуков отдельных языков (напр., кабардинского, чеченского и др.) связано с громадными трудностями. Это обстоятельство сильно тормозило развитие письменности у названных народов. Тем не менее, эти народы до сих пор упорно держались арабского алфавита. Объяснялось это религиозными соображениями и известным предубеждением мусульманских народов, готовых во всем подозревать попытки насилия над их религиозными убеждениями. Но в этом отношении мусульманский мир теперь переживает значительные изменения: отвращение ко всякому продукту немусульманской культуры, диктовавшееся сначала фанатизмом и заносчивостью победителей, а потом — инстинктом национального самосохранения поработенных, теперь постепенно исчезает и сменяется стремлением извне заимствовать средства и методы национального самоутверждения. При этих условиях неуклюжий и неудобный арабский алфавит вряд ли способен долго сохранять свое господствующее положение среди мусульман-неарабов. А из всего предыдущего явствует, что исторически наиболее естественной и технически наиболее удобной основой для национальных алфавитов мусульманских народов Евразии является гражданская кириллица. Однако это наиболее естественное решение до сих пор оказывалось неприемлемым: попытки составить национальный алфавит на основе гражданской кириллицы встречались мусульманами недоверчиво и истолковывались как покушение на национальную самобытность, как прием русификации. Поэтому за последнее время избран был другой путь, именно — составление национальных алфавитов для мусульманских народов на основе латинского шрифта. Большинству мусульман Евразии латинский алфавит совершенно незнаком: поэтому, когда им предлагают азбуку для их языка, составленную на основе латиницы, азбука эта в их сознании не ассоциируется ни с какой другой и воспринимается как совершенно особая, специально для их языка изобретенная. Это обстоятельство сообщает алфавиту, составленному на основе латиницы, преимущество перед алфавитом, основанным на кириллице, так как этот последний, ассоциируясь с русским, восприни-

²⁸ Но уже к абхазскому языку грузинский алфавит неприменим, хотя древняя культурная связь между Абхазией и Грузией подсказывала бы приспособление к этому языку именно грузинского алфавита.

мается, как видоизмененный русский алфавит: если против алфавита, основанного на кириллице, приверженцы арабского письма всегда могут выставить обвинение в том, что этот алфавит является—де средством русификации, то против алфавита, основанного на латинице, такого обвинения выставить невозможно. Поэтому мы видим, что новые алфавиты, основанные на латинице, в настоящее время вводятся в целом ряде автономных республик с мусульманским коренным населением (в Башкирской, в в Азербайджанской республиках, в Кабардинской, Балкарской, Карачаевской, Чеченской и Адыгечеркесской автономных областях). Трудно, конечно, предсказать, как дело пойдет дальше, но пока эти, основанные на латинице алфавиты как будто успешно конкурируют с арабским. Явление это, конечно, нельзя не признать уродливым. Ведь сам по себе латинский алфавит, хотя, конечно, и удобнее арабского, но все же настолько убог и неудобен, что даже большинство романо-германских народов лишь с трудом приспособили его к своим языкам (вспомним хотя бы те орфографические фокусы и ухищрения, к которым приходится прибегать английскому и французскому языкам!). Поэтому неромано-германские народы принимают для своих языков латинский алфавит только в тех случаях, когда они так или иначе вынуждены изучать один из романо-германских языков,— т. е. когда они попадают в духовную или материальную зависимость от какого-нибудь романо-германского народа (в силу аннексии, колонизации или при принятии одного из романо-германских вероисповеданий): тогда принятие латинского алфавита, несмотря на все убожество этого алфавита, является целесообразным, ибо позволяет детям в школе вместо двух алфавитов изучать один. В упомянутых выше мусульманских советских республиках и автономных областях этих условий нет налицо: слава Богу, ни одна из этих республик и областей не завоевана каким-либо романо-германским народом, так что ни в одной из них ни народным массам, ни детям в школе не приходится изучать какого-либо романо-германского языка, пользующегося латинским алфавитом. Таким образом, единственным стимулом, понуждающим евразийских мусульман принять за основу своей письменности не кириллицу, а латиницу, является суеверная боязнь русификации²⁹. Надо надеяться, что со временем обстоятельство изменятся: боязнь русификации имеет свои исторические причины, но с изменением характера русско-инородческих отношений основания этой боязни постепенно должны исчезнуть, а с ними вместе исчезнет и самая боязнь. Тогда станет психологически возможной, а следовательно, практически неизбежной замена противуестественного для евразийских мусульман латинского алфавита национальным алфавитом, основанным на гражданской кириллице,— замена, подсказываемая историей, техническими удобствами и педагогической целесообразностью. С углублением национального самопознания, которое неизбежно должно привести все народы Евразии к сознанию кровного, психологического и культурно-исторического общеевразийского братства, к сознанию этнопсихологического единства Евразии как особого мира,— гражданская кириллица перестанет быть для евразийских мусульман жупелом или символом русификаторских происков центрального

²⁹ Для некоторых мусульманских деятелей, впрочем, стимулом является еще и тот престиж, которым продолжает пользоваться все «европейское» в глазах провинциальной интеллигенции и полуинтеллигенции, знающих о европейской культуре больше понаслышке, а также ложное (навязанное общеромано-германским шовинизмом) представление об «тиштернациональности» и «общечеловечности» элементов романо-германской культуры.

правительства, а станет символом утверждения общевразийской культурно-исторической индивидуальности, в противоположность латинскому алфавиту, этому символу обезличивающего империализма романо-германской цивилизации и воинствующего общеромано-германского шовинизма, лицемерно прикрывающегося личиною «интернациональности» и «общечеловечности». Таким образом, весьма вероятно, что переход от арабского алфавита к латинскому, вызванный психологическими причинами чисто временного характера, окажется неокончательным и послужит только как бы трамплином для окончательного перехода мусульман Евразии к национальным алфавитам, построенным на основе гражданской кириллицы.

Итак, русская гражданская кириллица играет роль основы для национальных алфавитов разных нерусских литературных языков России-Евразии. В настоящее время она сослужила уже эту службу христианским или частично христианизованным народам России-Евразии (кроме христиан Закавказья, имеющих свои собственные алфавиты совсем иного происхождения), а в будущем ей предстоит, м. б., сыграть ту же роль и для некоторых нехристианских народов. Зона радиации русской гражданской кириллицы совпадет, таким образом, с зоной радиации русского литературного языка.

VIII

Русский литературный язык есть общеславянский элемент в русской культуре и представляет из себя то единственное звено, которое связывает Россию со славянством. Говорим «единственное», ибо другие связывающие звенья призрачны. «Славянский характер» или «славянская психика» — мифы. Каждый славянский народ имеет свой особый психический тип, и по своему национальному характеру поляк так же мало похож на болгарина, как швед на грека. Не существует и общеславянского физического, антропологического типа. «Славянская культура» — тоже миф, ибо каждый славянский народ выработывал свою культуру отдельно, и культурные влияния одних славян на других несколько не сильнее влияния немцев, итальянцев, тюрков и греков на тех же славян. Этнографически славяне принадлежат к различным этнографическим зонам.

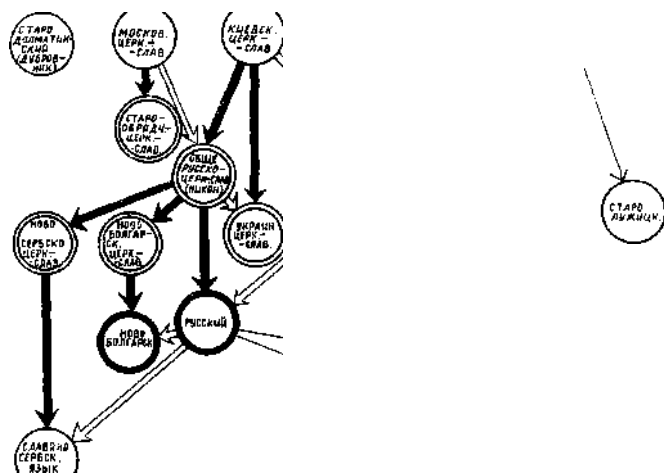
Итак, «славянство» не есть понятие этнопсихологическое, антропологическое, этнографическое или культурно-историческое, а понятие *лингвистическое*. Язык, и только язык связывает славян друг с другом³⁰. Язык является единственным звеном, соединяющим Россию со славянством. Мы видели, что по отношению к языку русское племя занимает среди славян совершенно исключительное по своему историческому значению положение. Будучи модернизированной и обрусевшей формой церковнославянского языка, русский литературный язык является единственным прямым преемником общеславянской литературно-языковой традиции, ведущей свое начало от святых Первоучителей славянских, т. е. от конца эпохи праславянского единства. Но взглядыывая пристальнее в ту роль, которую играл церковнославянский язык в образовании русского литературного языка, мы замечаем одно любопытное обстоятельство: церков-

³⁰ Можно сказать, что «славянство» является «районом однопризнаковым», причем единственным признаком районирования является язык, между тем как каждый отдельный славянский народ входит совместно со своими неславянскими соседями в разные «многопризнаковые районы» (напр., болгары - в балканскую этнографическую зону). Э терминах «однопризнаковый» и «многопризнаковый» район см. П. Н. Савицкий в «Эконом. ВистН.», кн. III (Берлин, 1924), стр. 242 сл.

[ЗАТСК
ЦІРК-СМВ)
ГЛАГОЛИЦ]

ТІВІ-Н
ЈАЕУ)СКОІ
Цирк-ани

/-СЛИЕНСК.
(ФРЕБЗКНГЕНН
•••••



Родословие славянских литературных языков

Тонкие стрелы обозначают направление влияния; толстые белые стрелы — направление сильного влияния; толстые черные стрелы — преемственность. Кружки, обведенные тонкой линией, обозначают мертвые языки; кружки, обведенные двумя тонкими линиями, — языки, живущие поныне, но лишь в церковно-богослужебном употреблении; кружки, обведенные толстой линией, — живые литературные языки.

нославянская литературно-языковая традиция утвердилась и развилась в России не столько потому, что была *славянской*, сколько потому, что была *церковной*. Это обстоятельство чрезвычайно характерно для русской истории. Россия-Евразия — хтрана-наследница. Волею судеб ей пришлось наследовать традиции, возникшие первоначально в иных царствах и у иных племен, и сохранять преемство этих традиций даже тогда, когда породнившие их царства и племена погибали, впадали в ничтожество и теряли традиции. Так, унаследовала Россия традицию византийской культуры и хранила ее даже после гибели Византии, унаследовала Россия и традицию монгольской государственности, сохранив ее даже после впадения монголов в ничтожество, наконец, унаследовала Россия и церковнославянскую литературно-языковую традицию и хранила ее, в то время как гибли один за другим древние центры и очаги этой традиции. Но любопытно при этом, что все эти унаследованные Россией традиции только тогда становились русскими, когда сопрягались с Православием. Византийская культура с самого начала была для русских неотделима от Православия, монгольская государственность, только оправославившись, превратилась в Московскую, а церковнославянская литературно-языковая традиция только потому и могла принести плод в виде русского литературного языка, что была церковной, православной.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ОБЗОРЫ

© 1990 г.

ПЕТРОВ В. В.

МЕТАФОРА: ОТ СЕМАНТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
К КОГНИТИВНОМУ АНАЛИЗУ

Метафора в наши дни представляется гораздо более сложным и важным явлением, чем это казалось ранее. Результаты последних исследований позволяют предположить, что метафора активно участвует в формировании личностной модели мира, играет крайне важную роль в интеграции вербальной и чувственно-образной систем человека, а также является ключевым элементом категоризации языка, мышления и восприятия. Поэтому изучение метафоры проводится в настоящее время не только в рамках лингвистики, но главным образом в психологии, когнитивной науке и теории искусственного интеллекта.

Современные исследования метафоры основываются на одной фундаментальной идее, идущей еще от Аристотеля, — идее метафорического переноса. Как хорошо известно, Аристотель утверждал, что метафора — это имя, перенесенное с рода на вид, или с вида на род, или с вида на вид. Детализация этой идеи — что и как переносится — лежит в основе многочисленных подходов к метафоре.

В данном обзоре выделяются два принципиально различных направления — семантическое и когнитивное, представленные в основном на материале зарубежной литературы. С позиций первого, механизм и результат переноса хорошо описываются посредством концепции значения. В рамках второго — основную роль играет «знание». В отдельное направление выделены работы по психологическим аспектам обработки метафор. Их значимость подчеркивается современным требованием обязательной психологической «верификации». По сути дела, вопрос о приоритете или приемлемости той или иной концепции метафоры решается сегодня в сфере психологии. Указанные подходы и составляют основное содержание настоящего обзора. Вне его рамок остались важные лексико-семантические аспекты анализа метафоры, ее типология и некоторые другие вопросы, достаточно подробно освещенные в нашей литературе [1—3].

Семантический уровень представления метафоры

Активное⁷ исследование семантики метафоры берет свое начало с работ М. Блэка, признанных в настоящее время классическими. Не останавливаясь подробно на их анализе — этому за четверть века посвящена огромная литература [4, 5] — выделим основные идеи этого подхо-

да. Во-первых, М. Блэк конкретизировал идею метафорического переноса путем использования понятия «фильтрации» [6]. При образовании метафоры «А есть B» (в его известном примере «человек — волк») ассоциируемые общие места (associated commonplaces) *B* пропускаются через «фильтр» ассоциируемых общих мест *A*. В результате на первый план выносятся вполне определенные характеристики, в данном примере — жесткость и агрессивность. В более поздних работах М. Блэк предпочитает говорить не о «фильтрации», относительно которой было высказано немало критических замечаний, а о «проекции» некоторых характеристик *B* на *A*.

Другая важная особенность теории М. Блэка — упор на концепцию значения при описании модели метафорообразования. Хотя сам М. Блэк склонялся в большей степени к коннотативной, а не референциальной версии значения, многие его последователи предпочитали использовать язык референциальной концепции значений. И это было вполне естественно в научной атмосфере шестидесятых годов с ее приверженностью к логическому анализу, формалистским семантическим программам.

В соответствии со строго семантической точкой зрения образование метафоры обязательно предполагает изменение значения исходного выражения. Самый простой вариант — экстенсивное расширение значения слова или выражения до нового, метафорического значения. При этом утверждается, что одно и то же выражение может иметь два вида значения — буквальное и так называемое метафорическое, появляющееся в конкретных актах употребления. Несмотря на критику в течение многих лет [7], этот подход имеет и сегодня немало своих сторонников, особенно среди лингвистов, тяготеющих к «нестрогим» методам анализа [8].

Несколько иной позиции придерживается Дж. Серль [9], полагающий, что перенос семантического содержания в метафорических выражениях должен рассматриваться в рамках более общей модели выведения значения. Дж. Серль проводит разграничение между значением предложений самих по себе и тем реальным значением, которое вкладывает говорящий в высказывание. Именно «значение говорящего» отождествляется им с метафорическим значением. С его точки зрения, выделение принципов, объясняющих, каким образом, употребляя «S есть R», я полагаю в действительности, что «S есть R», достаточно для объяснения процесса метафорообразования.

Однако ни выявленные Дж. Серлем принципы, ни модифицированные версии концепции «фильтрации» не проясняют основной вопрос — на каком основании из множества характеристик *P* мы вычленим те характеристики *L*, которые проецируем на *S*? Другими словами, почему в примере Дж. Серля «Салли — глыба льда» из всех многочисленных свойств льда мы выбираем прежде всего его температурную характеристику? Конечный вывод Дж. Серля о том, что выбираются именно те *R*, которые повышают значимость определенных свойств *S*, не представляется убедительным из-за его неопределенности.

Как же действительно осуществляется метафорический перенос и каков механизм выделения проецируемых семантических характеристик? Ответ на эти вопросы в определяющей степени зависит от принимаемой теории значения. Анализ литературы, вышедшей в последние двадцать лет, приводит к однозначному выводу — на основе референциальных атомистических концепций значения нельзя построить удовлетворительную модель метафорического переноса. Гораздо более перспективными с этой точки зрения кажутся теории значения, опирающиеся на структурно-системное понимание природы естественного языка.

В этом плане интересным является подход Д. Ротбарта, с точки зрения которого в метафорическом переносе «задействовано» не все буквальное значение, а только его отдельные фрагменты [10]. Д. Ротбарт выделяет в структуре понятий семантические постоянные и семантические переменные. Семантические постоянные передают наиболее существенные свойства семантики понятий. Например, семантическая постоянная слова «металл» — его способность взаимодействовать с кислотами. Семантические переменные передают несущественные свойства типа цвета, ковкости и т. д. С позиций Д. Ротбарта, необходимое условие успешности метафорического переноса — участие семантических постоянных. В случае же участия в переносе семантических переменных образуются, как правило, неудачные метафоры. Д. Ротбарт приводит следующий пример — австралийские аборигены, впервые увидев книгу, назвали ее «раковинной» на основании того, что книга, как и раковина, открывается и закрывается. Очевидно, что выражение «Книга — раковина» было образовано путем переноса несущественной с нашей точки зрения переменной и поэтому явилось неудачной метафорой.

Однако эта неудача есть прежде всего следствие незнания австралийскими аборигенами книг и чтения как таковых. Поэтому, собственно, метафорического переноса и не было, а была только попытка введения посредством метафоры новой информации о неизвестном объекте. Принципиально иная ситуация имела место в процессе образования упомянутых выше метафор: «Человек — волк», «Салли — глыба льда». Большинство людей хорошо известны все те существенные и несущественные характеристики, относительно которых делались утверждения в этих метафорах. Проблема состояла в отборе из P проецируемых характеристик R и в конечном счете в повышении значимости определенных характеристик S . Гораздо сложнее оказывается механизм метафорического переноса в тех ситуациях, когда об S слушателю известно очень мало или практически ничего. Здесь не может идти и речи о повышении значимости определенных характеристик S , поскольку неясно, какие вообще S имеет характеристики, как это и было, например, с австралийскими аборигенами.

Объяснение механизма образования такого рода метафор потребовало привлечения принципиально иной концепции значения — теории семантического поля. Ее истоки восходят еще к Ф. де Соссюру, утверждавшему, что значение слова в языке зависит от его смысловых отношений (типа антонимии, синонимии и т. д.) с другими словами. Крайне полезной оказалась и идея необходимости разделения уровня выражения и уровня содержания. Эти идеи Ф. де Соссюра послужили основой новых концепций метафорического значения, где место блэковского понятия «ассоциативные общие места» заняло «семантическое поле». В рамках данного подхода метафорический перенос стал рассматриваться как перенос от одного структурированного и взаимосвязанного в единое целое семантического поля к другому полю.

Согласно Е. Киттей — автору одной из последних фундаментальных работ по теории метафоры, — объяснение механизма метафорического переноса предполагает выделение трех типов полей: лексического, семантического и содержательного [11]. Основу лексического поля составляет неинтерпретированный набор лексических единиц. Этот набор образует поле в том случае, когда мы можем выделить в нем контрастивные отношения и отношения сходства. Например, лексические единицы «холодный», «теплый», «горячий» объединены в лексическое поле, характеризующееся отношением градуированной антонимии.

Содержательная область (content domain) — область, которая определяет интерпретацию элементов лексического поля. К ней относятся различные виды человеческой деятельности, социальные отношения, цвета и многое другое. Содержательная область первоначально идентифицируется в виде определенной неструктурированной области (континуума), как это было, например, с явлениями магнетизма и электричества, известными с давних времен. Только спецификация содержательной области, осуществляемая посредством наложения соответствующих лексических полей с их контрастивными отношениями и отношениями сходства, обеспечила научное понимание этих явлений. Подобным же образом только тогда, когда мы используем лексическое поле «холодный — теплый — горячий», возможно получить количественную информацию о степени различий тепловых состояний. Именно спецификация содержательных областей дает точную научную информацию.

Семантические поля представляют собой множества лексических единиц вместе с соответствующими содержательными областями. Если существует изоморфизм между двумя лексическими полями, относящимися к одной и той же содержательной области, то они определяют одно и то же семантическое поле. Элементами последних являются слова, соотносимые друг с другом в пределах поля с помощью следующих отношений — простых контрастивных множеств (*сестра, брат*), упорядоченных контрастивных множеств (*понедельник, вторник, среда...*), парадигматических отношений сходства, парадигматических контрастивных отношений, синтагматических отношений и т. д. Введение сложной системы отношений внутри семантического поля позволило Е. Киттей описать те аспекты семантических изменений, которые не могли быть выражены в атомистической концепции значения.

Каким же образом на основе концепции значения как семантического поля можно объяснить метафорический перенос? Здесь так же, как и ранее, следует различать два типа ситуаций. В рамках первой речь идет о переносе из одного структурированного семантического поля в другое структурированное поле. В примере Е. Киттей образование метафорического выражения «hot player» есть следствие переноса отношений семантического поля понятия «температура» на содержательную область понятия «игрока в баскетбол». В результате переноса усилилась значимость таких содержательных характеристик, как активность, бескомпромиссность, и параллельно произошла реорганизация семантического поля с соответствующим изменением значения. В какой-то степени этот процесс подобен процедуре «проекции» в духе позднего М. Блэка. Их различие в том, что, во-первых, в концепции семантического поля перенос идет не на одном, а на двух уровнях — семантическом и содержательном — и, во-вторых, взаимодействие семантических компонентов метафорического выражения происходит опосредованно через структурирование содержательной области.

Новизна обсуждаемого подхода гораздо более очевидна в ситуациях образования метафор типа «Книга — это раковина». В этом случае, когда имеется только одно структурированное семантическое поле и неструктурированная содержательная область, отношения семантического поля накладываются на содержательную область, структурируя последнюю. Именно так, в частности, Е. Киттей объясняет образование понятия «электрический ток», когда хорошо известное понятие «ток» было применено к малозвестному, неструктурированному явлению электричества. Таким образом, когнитивная значимость метафор определяется их способ-

ностью переструктурирования или вообще введением каких-либо структур в новые содержательные области. И в том, и в другом случае это ведет к реорганизации семантического поля и в конечном счете к сдвигу в значении.

И все же несмотря на то, что концепция семантического поля существенно прояснила сам механизм метафорического переноса, неясно, как происходит выбор проецируемых характеристик. Очевидно, что понятия, образующие метафорическое выражение, должны относиться к различным семантическим полям. Ясно также, что в основе отбора и дальнейшего согласования характеристик лежит их сходство. Но каким образом безошибочно и, главное, в крайне ограниченное время можно фиксировать это неуловимое сходство? На эти вопросы концепция семантического поля не дает удовлетворительного ответа.

Когнитивный анализ метафорического переноса

Интерес к метафоре со стороны когнитивной науки связан с ее представлением как языкового явления, отображающего базовый когнитивный процесс. По мнению многих сторонников когнитивного подхода, главную роль в наших повседневных семантических выводах играют не формализованные процедуры типа дедукции и индукции, а аналогия. В основе последней — перенос знаний из одной содержательной области в другую. И с этой точки зрения метафора является языковым отображением крайне важных аналоговых процессов.

Рассмотрим с этих позиций метафору Дж. Лакоффа и М. Джонсона: «Инфляция — это война» [12]. В чем полезность этой метафоры? Широкому кругу читателей еще недостаточно известна природа инфляции как экономического явления, причины, следствия и способы борьбы с ней. Поэтому метафора используется здесь для того, чтобы увеличить объем знаний относительно слабо понимаемой области путем переноса дополнительной информации из более известной ситуации.

Представление инфляции как «врага» позволяет адресату привлечь имеющиеся знания об известных ему ситуациях «столкновения с противником». Поэтому становится понятным — для того, чтобы «победить инфляцию», мы должны «мобилизовать все силы», «перейти в наступление», «перехватить, пока не поздно, инициативу» и т. д. Короче говоря, либо мы «разгромим инфляцию», «либо потерпим сокрушительное поражение».

Таким образом, все выводы относительно того, как следует поступать в случае инфляции, структурируются исходной метафорой. Очевидно, что разные метафоры дадут различающиеся наборы выводов: метафора «инфляция — это болезнь» иным образом структурирует исходную область. Здесь экономика оказывается «больным», а инфляция — «болезнью», которая должна быть изгнана с помощью «врача» (специалиста по экономике) и соответствующих «лечебных средств и процедур» (антиинфляционных мер).

Для того, чтобы отобрать из известной области полезную для понимания новой области информацию, необходимо установить, какие из аспектов известной области останутся при переносе инвариантными, а какие вообще будут проигнорированы. Как мы видели из приведенных примеров, инвариантными сохранились аспекты, связанные с планированием и целеполаганием. Проведенные Дж. Карбонеллом эмпирические исследования показали, что в процессе метафорического переноса инвариантными редко

остаются конкретные элементы и характеристики, гораздо чаще — схемы и правила вывода [13, 14]. Регулярности, наблюдаемые на большом массиве метафор, были обобщены Дж. Карбонеллом в виде нормативной иерархии инвариантности. Концептуальные отношения в приведенном ниже перечне следуют в порядке убывания ожидаемой инвариантности:

1. Совокупность целей, стоящих перед субъектами. Цели, если они присутствуют в исходной области, почти всегда инвариантно переносятся на новые области. Если исходная область включает субъекты, а в новой их нет, то цели переносятся на персонифицированные сущности новой области. Так, в случае метафоры «Инфляция — это война» инфляция представляется в виде врага, с которым необходимо бороться до победы.

2. Стратегии планирования и контрольного планирования при противоборстве и сотрудничестве субъектов. Эти стратегии почти всегда переносятся в неизменном виде; они упорядочивают цели по приоритетам и помогают выбрать возможные средства для достижения отдельных целей. Очень часто основным достоинством метафоры оказывается то, что она позволяет целенаправленно планировать в условиях недостаточно знакомой ситуации.

3. Каузальные структуры. Если каузальная структура исходной области достаточно эксплицитна, то она обычно сохраняется при переносе. Например, лекарственные средства излечивают болезнь; соответственно, экономические меры «вылечат» инфляцию.

Среди других типов отношений, которые гораздо реже сохраняются инвариантными при метафорическом переносе, Дж. Карбонелл выделяет: функциональные атрибуты, порядок следования во времени, естественные тенденции, социальные роли, структурные отношения, конкретные характеристики, конкретные объекты.

Предложенная Дж. Карбонеллом когнитивная модель метафорического переноса позволила сформулировать принципы отбора переносимых характеристик в виде последовательной иерархии инвариантностей. Это — несомненно значительный результат, особенно в сравнении с семантическими моделями метафоры, где поиски таких закономерностей переноса не были столь удачными. Но есть одно допущение, которое облегчило задачу Дж. Карбонелла, — метафорический перенос в рамках когнитивной модели рассматривается только как перенос знаний, т. е. без учета «языкового оформления» самой метафоры.

Кроме того, следует учитывать, что подход Дж. Карбонелла предполагает перенос от одних четко структурированных областей знания к другим. При этом сам метафорический перенос рассматривается как одно из эффективных средств решения проблем вообще. Трудно не согласиться с таким подходом, быть может, за исключением того, что мы далеко не всегда воспринимаем реальность в виде четко структурированных проблем, предполагающих оптимальные стратегии решения. И, следовательно, метафорический перенос в таких «идеальных» условиях, которые формулирует Дж. Карбонелл, — не единственный тип переноса, где может быть полезна метафора.

Модель Дж. Карбонелла не включает также и такой важный элемент метафорообразования, как представление структуры исходного метафорического выражения. В рамках семантической модели, опирающейся на концепцию значения, обсуждение именно этой проблемы выявило наибольшие трудности. С позиций когнитивного подхода данная проблема кажется гораздо менее значимой. Общепризнанная идея состоит в том, что между

метафорой и аналогией нет существенных различий, поскольку они выступают в качестве концептуальных средств, обеспечивающих перенос знаний. И поэтому результаты, полученные относительно внутренней структуры аналогий, могут быть использованы и для представления структуры метафор.

В соответствии с одной из наиболее известных концепций [15, 16], позволяющей прояснить внутреннюю структуру метафоры, выделяются следующие характеристики аналогий: 1) определенность базовой системы — степень нашего знания исходной содержательной области. Предполагается, что чем глубже мы знаем исходную область, тем легче нам определить, какие отношения считать важными при переносе; 2) ясность — степень точности задания соответствия между сопоставляемыми областями; 3) насыщенность — число переносимых предикатов; 4) широта охвата.

Попытаемся сравнить на основе этих характеристик известную аналогию Резерфорда, сопоставляющего Солнечную систему с атомом водорода, с метафорой Борхеса «С ружьем на плече трамваи патрулируют проспекты». Подобно аналогии Резерфорда, метафора Борхеса является небуковальным сравнением, в ходе которого происходит частичное отождествление «трамвая» и «военного патруля». Определенность базовой системы кажется приблизительно одинаковой — и в том, и в другом случаях в качестве исходной содержательной области выступают хорошо известные нам сущности.

Однако имеются и отличия. Метафора Борхеса представляется гораздо более насыщенной, поскольку переносится в основном визуальные характеристики, а не чисто пропозициональное знание. Аналогия Резерфорда обладает большей степенью ясности, между ее содержательными областями имеет место взаимно-однозначное соответствие. В метафоре Борхеса уровень ясности заметно ниже — трудно понять, какие конкретно аспекты базовой системы участвуют в сравнении. В то же время широта охвата в метафоре кажется большей из-за активизируемой сети образно-ассоциативных представлений.

Идея В. Гертнера об аналоговом переносе как сопоставлении на основе определенных характеристик была развита в нескольких направлениях. Во-первых, была предложена формализованная версия семантического переноса [17], во-вторых, были проведены психологические эксперименты с целью выявления особенностей формирования метафор в детском возрасте [18]. Следует также отметить, что интерес к изучению механизма переноса знаний в последние годы резко усилился, поскольку эта проблема выдвигается в качестве одной из центральных в методологии приобретения знаний, обеспечивающей формирование базы данных экспертных систем.

Вместе с тем когнитивный подход к изучению метафоры имеет, кроме отмеченных ранее, и другие ограничения. Неясно, в частности, каким образом можно объяснить структурирование новых содержательных областей. Если в рамках концепции семантического поля такое структурирование осуществлялось путем наложения семантических отношений на еще неспецифицированную содержательную область, то с позиций аналогового переноса вообще неясно, как и посредством чего производится структурирование. Использование языка кажется единственно возможным способом структурирования новой реальности. Аналоговый перенос без участия языка, как правило, эффективен только для объяснения уже имевших место случаев переноса, т. е. по сути ретроспективно.

Наконец, следует отметить, что отождествление метафоры с аналогией

представляется достаточно сильным допущением. Такая интеллектуализация метафоры противоречит и нашей внутренней интуиции, выдающей в ней не только перенос знаний, но и тонкие образно-ассоциативные подобию.

Понимание метафоры: психологические модели

Исследования в области психологии метафоры имеют давние традиции, однако устойчивый интерес к этой теме наблюдается лишь с начала семидесятых годов [19]. Можно выделить, на наш взгляд, две общие тенденции в анализе психологических аспектов метафоры. В рамках первой — основное внимание уделяется вопросу о том, как и благодаря чему мы понимаем метафору. Развивая идущее еще от Аристотеля понятие «сходства», психологи детализировали, каким образом адекватное восприятие метафоры может основываться на сходстве сопоставляемых содержательных областей. С этой целью было введено понятие «небуквального сходства», предложена геометрическая репрезентация сходства, а также выявлены такие дополнительные специфические характеристики метафоры, как асимметричность, неконгруэнтность, гиперболичность, прототипичность и т. д. [20–22].

Однако, как выяснилось позднее, сходство не может выступать в качестве специфического свойства метафоры, поскольку оно не характеризует ее однозначным образом. Осознание того факта, что сходство не может быть положено в основу механизма восприятия метафоры, привело к поиску новой исходной концепции. В этом качестве более перспективной была признана идея «переноса знаний» — идея, являющаяся по своей природе не психологической, а скорее когнитивной.

В рамках другой тенденции основное внимание уделялось созданию процессуальных психологических моделей интерпретации метафоры. В основе одной из первых психологических моделей такого рода — гипотеза о решающей роли буквального значения. Пафос этого подхода состоял в том, что интерпретация многих типов небуквального дискурса, включая косвенные просьбы, иронию, метафору, обязательно предполагает первоначальное установление буквального значения [23]. Соответственно, в этой модели выделяются три этапа в обработке небуквальных, метафорических выражений. На первом — устанавливается буквальное значение выражения; на втором — это значение сопоставляется с контекстом; и, наконец, на третьем, если имеется несоответствие между буквальным значением и контекстом, начинается поиск небуквального, метафорического значения. Таким образом, интерпретация метафор рассматривается в виде многоступенчатого семантического вывода.

Принятие указанной трехэтапной модели предполагает, что обработка метафор должна потребовать гораздо больше усилий и, следовательно, времени, чем интерпретация буквальных выражений. Ориентируясь на это предположение, Х. Кларк и П. Люси в середине семидесятых годов действительно получили экспериментальные данные, свидетельствующие о различии во времени обработки. Отсюда был сделан вывод об адекватности трехэтапной модели и решающей роли буквального значения в интерпретации метафор. Однако в ходе дальнейших экспериментов эти выводы были подвергнуты существенной корректировке.

В исходных экспериментах Х. Кларка и П. Люси детально не исследовалась роль контекста при определении необходимого времени на обработку. Отсюда создалось впечатление, что именно небуквальность усложняет

интерпретацию. Между тем принципиально иные результаты были получены в экспериментах, где учитывалась роль лингвистического и экстралингвистического контекста. Оказалось, что при достаточной контекстуальной поддержке на обработку метафор уходит не больше времени, чем на обработку буквальных выражений [24].

Обсуждение этих экспериментальных данных привело к двум важным выводам. Во-первых, при обработке буквальных и небуквальных выражений действуют одни и те же или сходные психологические механизмы. Имеющиеся различия во времени обработки связываются не с типом выражений, а с объемом привлекаемых знаний. Какова же при этом роль контекста? Представляется, что он выступает в качестве своеобразного ограничителя в процессе метафорического переноса, резко сужая область возможных семантических характеристик.

Другой важный вывод заключается в том, что интерпретация многих метафорических выражений осуществляется не в виде трехэтапной модели, а непосредственно. Как пишет Р. Гиббе, «установление буквального значения не является обязательным этапом в понимании и не может служить главной отправной точкой в теории понимания естественного языка» [25].

В ряде психолингвистических работ было показано, что слушающие далеко не всегда строят особый уровень синтаксического описания перед тем как перейти к обработке семантической информации. Точно так же часто используется прагматическая информация на самых ранних стадиях обработки языка без построения перед этим полного семантического представления выражений. Поэтому вряд ли есть смысл проводить в рамках психологической теории различие между буквальным и небуквальным, между семантикой и прагматикой. Все это свидетельствует в конечном счете о том, что опора на концепцию значения в психологическом плане имеет под собой шаткие основания.

Вряд ли эта оценка может измениться, если даже мы будем рассматривать значение с позиций теории семантического поля. Неясно, каким образом в условиях реального жестко ограниченного времени мы оказываемся способны осуществить множество операций между лексическими, семантическими полями и содержательными областями, учесть ограничивающие факторы и сопутствующие обстоятельства? Каким бы строгим ни выглядел в рамках концепции семантического поля механизм метафорического переноса, все же с психологической точки зрения остаются большие сомнения в том, что именно так это и происходит.

В итоге можно констатировать, что существует значительное несоответствие между предложенными теоретическими моделями метафоры и тем, как последние обрабатываются в действительности. Устранение этого несоответствия, видимо, следует искать как на пути проведения более широкой серии психологических экспериментов, так и посредством более глубоких теоретических исследований, выходящих за традиционные рамки.

Особое место в психологических исследованиях метафоры занимает подход, сторонники которого рассматривают метафору как нерасторжимое единство вербального и образно-ассоциативного. Так, с точки зрения А. Паивино, метафора есть результат взаимодействия образной и вербальной систем [26, 27]. Если образная система имеет дело с информацией о конкретных объектах и сущностях, организуя перцептуальную реальность, то вербальная — интегрирует дискретные лингвистические данные в структуры знаний более высокого порядка. Если первая объясняет гештальтную природу метафоры то вторая — роль языковой компетенции в ее интерпретации.

Предложенную А. Паивю концепцию «двойного кодирования» (dual coding) скорее можно рассматривать в качестве гипотезы, нежели тщательно разработанной теории, — она ставит больше вопросов, чем отвечает на них. В частности, неясен конкретный механизм взаимодействия языковых и ментальных структур, способы организации и трансформации перцептуальных образов и многое другое [28]. Вместе с тем, учитывая возрастающий интерес к известным особенностям функционирования правого и левого полушария и к той новой когнитивной архитектуре, которая формируется на базе нейробиологии, следует признать несомненную перспективность исследований метафоры в этом направлении.

Концептуальные основания метафоры

Анализ текущего состояния исследований метафоры свидетельствует о наличии гораздо большего числа конкурирующих и несоизмеримых между собой теорий, чем бесспорных результатов и выводов. Нет единства ни по вопросу механизма метафорического переноса, ни относительно критериев выделения проецируемых семантических характеристик. Неясно также, возможно ли объяснить метафорический перенос, не привлекая в качестве центральной концепцию значения. Наконец, невыясненной остается наиболее фундаментальная проблема — является ли метафора языковым, дискурсивным или концептуальным образованием? От того или иного решения последнего вопроса зависят и наше представление процессов метафорообразования, и понимание подлинной роли метафор в человеческом познании.

До настоящего времени доминирующей в современной литературе остается точка зрения на метафору как на языковое явление. Развитие когнитивных и психологических методов анализа метафоры способствовало модификации указанной точки зрения, но, тем не менее, упор на концепцию значения остался неизменным. Е. Киттей в упомянутой выше книге пишет, что понять концептуальную и когнитивную силу метафор мы можем только через метафорическое значение.

Е. Киттей разделяет мнение Дж. Лакоффа и М. Джонсона относительно того, что метафоры присутствуют не только в языке, но и в музыке, танцах, действиях и т. д. Однако она делает одно принципиальное дополнение. С ее точки зрения, разделяемой многими, в том числе и лингвистами, только язык структурирует и организует концептуальную (ментальную) систему человека. Именно язык выступает в качестве наиболее сложной и гибкой репрезентативной системы. Поэтому изучение любых характеристик метафоры возможно через язык и значение.

Позиция Е. Киттей поддерживается мощной тенденцией в философии сознания (philosophy of mind), сторонники которой полагают, что человеческие ментальные процессы могут быть структурированы только посредством естественного языка [29]. Однако еще в двадцатые годы были высказаны иные теоретические гипотезы, которые экспериментально подтвердились в самое последнее время. Полученные данные свидетельствуют о существенной роли культурной среды, предшествующего опыта (практических навыков) и телесной организации человека в структурировании ментальных процессов [30, 31]. Если это действительно так, то мы уже не можем относиться к естественному языку как единственному средству концептуальной организации мышления. И, следовательно, изучение языка не может дать нам всей необходимой информации о метафоре.

Таким образом, сейчас более оправданно говорить о метафоре не только как о языковом, но скорее как о концептуальном феномене. Этот вывод кажется еще более обоснованным, если помнить, что репрезентация метафоры осуществляется на двух принципиально различных уровнях — пропозициональном и образно-ассоциативном. Трудность состоит в том, что объяснение процесса метафорообразования производится посредством соответствующих каждому уровню репрезентации моделей и понятий. Например, активно используемые в ходе семантического анализа понятия «фильтрации», «проецирования» и «фокусирования» не работают на образно-ассоциативном уровне представления метафоры.

Видимо, следует четко различать собственно метафорическое выражение и тот сложный вербально-образный комплекс, который сопутствует каждому языковому употреблению в процессе коммуникации. Хотя в одних случаях этот комплекс представлен более явно, например, в художественных текстах, а в других менее, в частности, в научных публикациях, он тем не менее присутствует. И сама процедура метафорического переноса осуществляется в рамках взаимодействия вербально-образных комплексов, а не только значений и семантических полей. Однако это уже принципиально новый этап в исследовании метафоры.

Итак, в результате более чем тридцатилетнего активного изучения метафоры мы имеем значительное число несоизмеримых и соперничающих между собой подходов. Они различаются как своими «дотеоретическими» базами данных, так и конечными целями. Нельзя сказать, что теперь мы хорошо понимаем, что такое метафора. Скорее мы гораздо сильнее сознаем глубину и фундаментальность этой проблемы. Несмотря на многочисленные исследования, остается еще слишком многое неясным и неизвестным. В общем, в этой золотой жиле — метафоре — осталось еще много самородков и самые крупные еще не найдены.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Арутюнова Н. Д. Языковая метафора // Лингвистика и поэтика. М., 1979.
2. Петров В. В. Научные метафоры: природа и механизм функционирования // Философские основания научной теории. Новосибирск, 1985.
3. Метафора в языке и речи. М., 1988.
4. Телия В. Н. Типы языковых значений. М., 1981.
5. Бессонова О. М. Очерк сравнительной теории метафоры // Научное знание. Новосибирск, 1987.
6. Black M. Models and metaphors. Ithaca, 1962.
7. Davidson D. What metaphors mean // Critical inquiry. 1978. № 5.
8. Eco V. Semiotics and the philosophy of language. Bloomington, 1984.
9. Searle I. Expression and meaning. Cambridge, 1979.
10. Rothbart D. Semantics of metaphor and the structure of Science // Philosophy of science. 1984. № 4.
11. Kittay E. Metaphor: Its cognitive force and linguistic structure. Oxford., 1987.
12. Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем // Язык и моделирование социального взаимодействия. М., 1987.
13. Carbonell J. Metaphor comprehension. Carnegie Mellon Univ., 1981.
14. Carbonell J. Towards a computational model of metaphor in commonsense reasoning // Cultural models in language and thought. Cambridge, 1988.
15. Gentner D. Structure-mapping: A theoretical framework for Analogy // Cognitive science. 1983. № 2.
16. Gentner D., Toupin C. Systematicity and surface similarity in the development of analogy // Cognitive science. 1986. № 3.
17. Indurkha V. Constrained semantic transference: A formal Theory of Metaphors // Analogica. Palo Alto, 1988.
18. Gentner D. Metaphor as structure mapping: the relational shift // Child development. 1988. № 1.

19. *Verbrugge R., McCarrell N.* Metaphoric comprehension // *Cognitive psychology*. 1977. № 5.
20. *Ortony A. et al.* Salience, similes, and the asymmetry of similarity // *Journal of memory and language*. 1985. № 5.
21. *Tourangeau R., Sternberg R.* Aptness in metaphor // *Cognitive psychology*. 1981. № 1.
22. *Weiner E. A.* Knowledge representation approach to understanding metaphors // *Computational linguistics*. 1984. № 1.
23. *Clark H., Lucy P.* Understanding what is meant from what is said // *Journal of verbal learning and verbal behavior*. 1975. № 3.
24. *Glicksberg S., Gildea P., Bookin H.* On understanding nonliteral speech: Can people ignore metaphors? // *Journal of verbal learning and verbal behavior*. 1982. № 1.
25. *Gibbs R.* Literal meaning and psychological theory // *Cognitive science*. 1984. № 3. P. 289.
26. *Paivio A.* Psychological processes in the comprehension of metaphor // *Metaphor and thought*. Cambridge, 1979.
27. *Paivio A., Begg I.* Psychology of language. New Jersey, 1981.
28. *Honeck R., Kibler C.* Representation in cognitive psychological theories of figurative language // *The ubiquity of metaphor*. Amsterdam, 1985.
29. *Fodor J.* The language of thought. N. Y., 1975.
30. *Lakoff G.* Women, fire and dangerous things. Chicago, 1987.
31. *Johnson M.* The body in the mind: the bodily basis of reason and imagination. Chicago, 1987.

РЕЦЕНЗИИ

Tomlin R. S. Basic word order. Functional principles. London; Sydney; Wolfboro: Croom Helm, 1986. 308 p.

Одной из основополагающих работ современной синтаксической типологии — дисциплины, в конечном счете составившей в американской лингвистике альтернативу трансформационной порождающей грамматике, — стала известная статья Дж. Гринберга о порядке слов [1]. С того времени синтаксическая типология исследовала множество аспектов структуры и функционирования языка, однако неизменно возвращалась и возвращается к проблеме базисного, или нейтрального, порядка слов (в качестве наиболее представительных примеров приведу книги [2, 3]). Идея базисного порядка состоит в том, что применительно к любому языку можно абстрагироваться от всех частных отношений расположения составляющих в предложении и выявить немаркированный, нейтральный, независимый от прагматических факторов и контекста грамматически заданный порядок слов. При этом необходимо оперировать наиболее базисными сущностями. Обычно рассматривают простейшие, базисные конструкции — двухчленную предикацию с переходным глаголом, трехчленную предикацию с переходным глаголом, атрибутивную группу, посессивную группу, предложную / послеложную группу. В первую очередь анализируется, как правило, трехчленная конструкция, включающая переходный глагол (V), подлежащее (S) и прямое дополнение (O). До недавнего времени господствовала точка зрения, что в языках мира встречаются только порядки SOV, SVO и VSO.

Наряду с традицией, восходящей к Дж. Гринбергу, существует вторая, не менее влиятельная традиция изучения порядка слов, генетически связанная с Пражской школой [4], согласно которой тема/данное/топик всегда линейно предшествуют реме/новому/комментарю.

Книга Р. Томлина продолжает одновременно обе эти традиции. В ней на основе материала 402 языков строится частотное распределение всех этих языков по шести

возможным способам относительной расстановки V, S и O и предлагается мотивировка неслучайности именно такого распределения в виде трех функциональных принципов (один из них — принцип «тема вначале»).

В гл. 1 (Введение) автор обращается к определению исходных понятий работы — V, S и O. Томлин идет по пути определения S и O как синтаксических отношений ИГ к глаголу (а не семантических ролей или дискурсивных/прагматических единиц), добавляя, что использовались лишь данные из тех конкретно-языковых работ, в которых термины «подлежащее» и «дополнение» употребляются именно в синтаксическом смысле, а сомнительные случаи отсеивались. Это одно из самых уязвимых мест всей работы. Во-первых, синтаксические отношения существуют не во всех языках (в отличие от таких универсальных статусов, как агенс или тема/топик). Во-вторых, далеко не всегда можно, вернее, почти никогда нельзя понять по тексту дескриптивной работы, в каком смысле автор употребляет термин «подлежащее». Чтобы установить реальное соотношение синтаксических статусов с семантическими и дискурсивными, нужно детальное знание языка.

Р. Томлин чрезвычайно тщательно подошел к проблеме построения математически и лингвистически обоснованной выборки языков, на базе которой могут быть сделаны все дальнейшие выводы. Как он справедливо отмечает, работы по типологии и универсалиям очень ослабляются малым размером и/или недостаточной представительностью используемых выборок. Исходная база данных исследования Томлина включает 1063 языка из всех языковых групп мира. (Список языков с указанием базисного порядка, генеалогического и географического положения и источника сведений прилагается.) Используя статистически обоснованные процедуры, автор строит выборку из 402 языков, в которой прео-

должны два главных недостатка обычных выборок: генетическая и ареальная неравномерность. Доля языков любого ареала и любой генетической группы в конечной выборке со статистической точки зрения несущественно отличается от доли этих языков среди всех языков мира. Однако, как пишет Томлин, и эта выборка не является статистически безупречной — в ней есть неустранимые недостатки, связанные с ограниченной доступностью материала, степенью исследованности языков, наличием неисследованных и мертвых языков.

В гл. 2 «Частотность базисных порядков составляющих» обсуждается вопрос о теоретическом статусе понятия «базисный порядок слов». Автор исходит из того, что базисный — это прототипический порядок, и в любом языке есть более и менее базисные порядки слов. В общих чертах концепция Томлина состоит в следующем.

Статистическое распределение базисных порядков среди языков выборки таково: SOV —44,78%, SVO —41,79%, VSO —9,21%, VOS —2,99%, OVS —1,24%, OSV —0%. Игнорируя статистически несущественные различия, общее соотношение по частотности следующее: SOV = SVO > VSO > VOS = OVS > OSV.

Таким образом, базисные порядки SOV и SVO равны по частотности и демонстрируют огромное статистическое превосходство над всеми другими базисными порядками. Среди оставшихся четырех порядков сравнительно частым является VSO; VOS и OVS примерно в равной степени редки; OSV надежно не засвидетельствован. Такое разбиение шести возможных порядков на четыре класса не может считаться случайным, а должно получить функциональное объяснение. Для этой цели автор постулирует набор универсальных функциональных принципов, призванных предсказывать зафиксированное распределение. Этих принципов три.

1. «Тема вначале» (Theme First Principle): в простом базисном переходном предложении (clause) более тематичная ИГ предшествует менее тематичной.

2. «Спаанность глагола с дополнением» (Verb-Object Bonding): дополнение переходного глагола крепче спаяно с глаголом, чем подлежащее.

3. «Одушевленное вначале» (Animated First Principle): в простом базисном переходном предложении более одушевленная ИГ предшествует менее одушевленной.

Р. Томлин в Предисловии пишет: «Я также попытался связать эти общие принципы с принципами человеческой когнитивной системы, так как, по моему мнению, общие характеристики языка и языков как объектов исследования в конеч-

ном счете являются производными от общечеловеческих и индивидуальных ограничений на память, внимание и систему обработки информации. Хотя эта связь не может быть убедительно показана в настоящее время, она, как я полагаю, представляет собой важный способ концептуализации типологических объяснений». Подробному обоснованию трех функциональных принципов посвящены главы 3, 4 и 5 книги.

В гл. 3 «Принцип „Тема вначале“» автор опирается на понятие «тематическая информация» (ТИ). ТИ содержит те референты, которые, по мнению говорящего, отслеживаются слушающим. ТИ — это когнитивное средство, позволяющее говорящему «ориентировать внимание... слушающего на конкретные точки в его ментальном представлении» (с. 40). ТИ может рассматриваться как в аспекте динамической теории дискурса (т. е. описания языковых и когнитивных процессов, управляющих синтаксическими выборами при реальном порождении и понимании дискурса), так и в плане статического анализа текста (т. е. установления конкретных случаев соответствия между функцией и формой). Для идентификации ТИ Томлин вместо традиционного интроспективного метода предлагает более объективные методы: экспериментальный (манипуляции с вниманием испытуемых), экспертный (суждения экспертов о тематичности разных референтов), статистический (измерения «референциальной густоты» текста).

Коррелятом ТИ в предложении/предикации является подлежащее. ТИ и подлежащее отнюдь не совпадают: подлежащее определяется синтаксически, ТИ — как когнитивная категория. Принцип «Тема вначале» не является абсолютной универсалией; он вступает во взаимодействие с другими принципами и в конкретном случае может игнорироваться. Свидетельства в пользу реальности данного принципа автор делит на две группы: на доказательства прямые и симптоматические. Прямые доказательства могут быть получены лишь экспериментальным путем. Симптоматическими же служат многочисленные факты перемещения данного/тематичного/определенного влево, а нового/нетематичного/неопределенно го вправо в различных языках мира. Так, во многих языках типа SOV порядок OSV может возникать тогда и только тогда, когда дополнение является определенным. Во многих языках типа SVO (например, русском) при местоположении (а следовательно, определенном) дополнении основной порядок меняется на SOV. Если некоторое перемещение в некотором языке ограничено только определенными ИГ, то это обязательно перемещение влево;

если оно ограничено неопределенными ИГ, то это перемещение вправо.

Второй функциональный принцип, описанный в гл. 4 «Спаянность глагола с дополнением» (СГД), до сих пор был в меньшей степени осознан в лингвистической теории, нежели первый, однако соответствующие интуиции выражаются, например, в традиционном отделении подлежащего от прочих актантов (дополнений). Последнее представление отражено, в том числе, в структуре НС трансформационной грамматики, где подлежащее отделяется от сказуемого в первую очередь, а прямое дополнение — в последнюю.

Р. Томлин указывает, что СГД наблюдается повсеместно и может проявляться на семантическом, на синтаксическом и на фонетическом уровнях. В качестве доказательств реальности СГД приводятся следующие факты из различных языков: явления инкорпорации имен-дополнений; нежелательность вставления адвербов и модальных частиц между V и O; возможность замены группы VO (но не SV) на проверб; высокая частотность идиом структуры VO, при редкой SV; первоочередное возникновение фонетических стязаний между глаголом и дополнением и т. д.

Хотя автор не дает мотивировки принципу СГД, по-видимому, этот принцип может быть объяснен так же, как и феномен эргативности. Дело в том, что эргативное объединение актантов мотивируется семантически: одинаково кодируются наиболее вовлеченные в ситуацию актанты (в отличие от аккумулятивного объединения, имеющего дискурсивную / референциальную природу, а именно отождествление наиболее известных/определенных/конкретно-референтных актантов).

Третьему функциональному принципу посвящена гл. 5 «Принцип „Одушевленное вначале“». «Одушевленное» в данном случае является переводом термина «animate», а не традиционного «animat», которое, по Томлину, лишь входит в пучок признаков, определяющих прототип признака «animatед»: «агнс — одушевленное (animate) — активное — обладающее свободной волей (volitional) — действительное (effective)». Наиболее одушевленным является агнс-человек, наименее одушевленным — неживой пациент. В качестве гипотезы, объясняющей данный принцип, Томлин приводит соображение Р. Лэнгекера об иконизме языка: в соответствии с порядком вещей во внешнем мире в языке вначале вербализуется причина/источник/агнс, а уже затем все остальное.

Автор приводит ряд языковых фактов, свидетельствующих в пользу принципа

«Одушевленное вначале»: предпочтительная интерпретация первой ИГ в языках со свободным порядком как агенса/одушевленного; существование особых средств маркирования непрототипических ситуаций, когда первая ИГ не является агенсом (например, в языке навахо); сохранение агенса-номера в позиции самой левой ИГ и т. д.

В гл. 6 «Объяснения и дискуссия» автор замечает, что предложенная им концепция в состоянии отвечать на вопросы типа «Почему нет (или почти нет) языков типа OSV? Почему языки типов SOV и SVO охватывают 87% всей выборки? Почему тип VSO встречается чаще типов VOS и OVS? и т. д.». Идеальным является базисный порядок, в котором соблюдены все три принципа. Чем ближе данный тип к «идеалу», тем выше его встречаемость в языках. Действительно, при порядках SOV и SVO выполняются все три принципа, порядок VSO выполняет два из них, VOS и OVS — по одному, а OSV нарушает все три принципа. Статистические данные говорят и о том, что с точки зрения выбора первого элемента типы распределяются так: S->V->O-. Выбор S как первого элемента позволяет реализовать все три принципа; если в качестве первого выбран V, то можно реализовать максимум два принципа, а если O — максимум один.

Все эти рассуждения вызывают два общих возражения. Первое. Несмотря на новизну и небезынтересность «принципа максимальной реализации» (чем ближе к идеалу, тем частотнее), сомнительно, чтобы грамматика хотя бы некоторых языков была построена на коренном противоречии с универсальными функционально-когнитивными принципами. Спрашивается, какие обстоятельства могут быть до такой степени важнее этих универсальных принципов, чтобы отменять их действие? Так, принцип «Тема вначале» — наиболее существенный и наиболее обоснованный автором — в языках с базисными порядками VOS и OVS систематически нарушается. Как отмечает сам Р. Томлин, в языке оджибва (VOS) TI постоянно ставится в конце предложения, определенные ИГ также тяготеют к концу; так же обстоит дело в языках масатек и малагасийском (VOS), ойампи (OVS). Этим фактам может быть предложено два объяснения. Во-первых, вполне вероятно, что эти языки неправильно описаны и для них понятие «базисный порядок слов» вообще нерелевантно. В последнее время появились убедительные свидетельства, о том, что, например, в полисинтетических языках базисной моделью предикации является глагольная словоформа со связанными местоименными морфемами, полные ИГ не управ-

ляются глаголом, а лишь находятся в корелативных отношениях со связанными местоимениями и, следовательно, не представляют из себя S и O в обычном понимании [5, 6]. Второе возможное объяснение состоит в том, что наряду с привычной для нас когнитивной стратегией «Тема вначале» существует и другая когнитивная стратегия «В первую очередь наиболее срочное (т. е. новое)» [7], и именно она преобладает в языках типа оджбива.

Еще одно возражение касается набора функциональных принципов. Легко видеть, что принципы «Тема вначале» и «Одушевленное вначале» являются «склеенными», т. е. всегда выполняются или не выполняются одновременно (так как S является коррелятом и ТИ, и одушевленного). Принцип «Одушевленное вначале» логически избыточен; принцип «Тема вначале» и СГД достаточно для описания четырех классов, на которые разбиваются по частотности шесть возможных базисных порядков:

Тема вначале	СГД	
	+	-
+	SOV, SVO VOS, OVS	VSO OSV

Единственный факт, которого не учитывает двухпризнаковая система,— это большая частотность VSO по сравнению с VOS и OVS. Чтобы учесть этот факт, достаточно весьма похожего на правду допущения, что принцип «Тема вначале» «весит» больше, чем принцип СГД. С содержательной точки зрения принцип «Одушевленное вначале» мог бы переформулироваться как исходная точка всей концепции и дать универсальное наполнение символом S и O (вместо не-универсального синтаксического наполнения). В этом случае S и O понимались бы как прототипы «агенса / одушевленное» и «пациенса / неодушевленное», а ТИ проверялась бы на сочетаемость с обоими этими прототипами.

Герд А. С. Основы научно-технической лексикографии (Как работать над терминологическим словарем). Л.: Изд-во ЛГУ, 1986. 72 с.

Рецензируемая книга состоит из предисловия, трех глав и заключения. В предисловии определяется объект научно-технической лексикографии, выявляются

С точностью до этих, не фатальных для концепции Томлина, поправок книгу можно оценить как отличный образец типологического исследования, сочетающего уникальный охват языкового материала с детальным анализом отдельных языковых примеров, статистической скрупулезностью и в то же время теоретической глубиной и смелостью мысли. Особого внимания заслуживает когнитивная ориентация функционализма Томлина. Лишь включение в инструментарий лингвистики базисных характеристик человеческого сознания (таких, как долговременная и текущая память, распределение внимания и др.) позволит дать действительное объяснение языковых феноменов.

Специально хочется отметить высокие стилистические достоинства книги. В ней практически нет ни «темных мест», ни столь частых в лингвистических работах сознательных «натяжек», ни камуфлирования трудностей, ни логических несообразностей. Книга Р. Томлина безусловно вносит конструктивный вклад в теоретическую лингвистику.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Greenberg J. Some universale of grammar with particular reference to the order of meaningful elements // *Universale of language* / Ed. by Greenberg J. Cambridge, 1963.
2. *Syntactic typology* / Ed. by Lehmann W. P. Sussex, 1978.
3. Hawkins J. *Word order universale*. N. Y., 1983.
4. Firbas J. On defining the theme in functional sentence analysis // *TLP*. 1966. 1.
5. Lambrecht K. On the status of SVO sentences in French discourse // *Coherence and grounding in discourse* / Ed. by Tomlin R. Amsterdam, 1987.
6. Mithun M. Is basic word order universal? // *Coherence and grounding in discourse* / Ed. by Tomlin R. Amsterdam, 1987.
7. Givón T. *Topic continuity in discourse: An introduction* // *Topic continuity in discourse* / Ed. by Givón T. Amsterdam, 1983.

Кибрик А. А.

типы специальных словарей и раскрывается лингвистическая сущность единиц описания этих словарей. Первая глава посвящена рассмотрению ис-

точников терминологических словарей. Продолжая лексикографическую традицию акад. Л. В. Шербы, автор с присущей ему убедительностью доказывает, что за основу терминологических словарей следует брать современные тексты, относящиеся к данной отрасли знания, принадлежащие перу ведущих ученых и специалистов-практиков (с. 12). Полученные текстовые сведения А. С. Герд рекомендует дополнять и корректировать данными, почерпнутыми из соответствующих терминологических и энциклопедических словарей, ГОСТов, ОСТов, информационно-поисковых тезаурусов и других справочных документов.

Вопросы теории и практики формирования словаря терминологических словарей рассматриваются во второй главе книги. Автор вводит применительно к терминологическим словарям понятие «хронологические рамки», имеющее важное значение для научно-технической лексикографии. Дело в том, что «хронологические» терминологические словари не только отражают развитие подъязыка науки и техники, но и предоставляют в распоряжение специалистов в области фундаментальных наук терминологические сведения из работ предшественников, из исследований разных школ, времен и направлений. Терминологические словари, составленные с учетом периодизации истории соответствующей науки и истории языка данной науки, демонстрируют общелингвистический и историко-культурный уровень лексикографического труда.

Словники терминологических словарей обычно строятся путем отбора из текстов основных с точки зрения отдельных специалистов терминов. Такой подход послужил той почвой, на которой вырос и развивался субъективизм в научно-технической лексикографии. В целях его уменьшения при формировании словаря терминологических словарей автор предлагает предварительно смоделировать логико-понятийную систему, характерную для той или иной отрасли знаний, и лишь потом ставить вопрос о том, какие сегменты текста в плане выражения соответствуют единицам этой системы в плане содержания. Однако остается неясным, как соотносить тот или иной сегмент текста с тем или иным научно-техническим понятием, отраженным в предварительно смоделированной логико-понятийной системе. Следует ли опираться здесь на логико-лингвистическую интуицию лексикографа или базироваться на общественно-профессиональном мнении? Возможно, есть смысл пользоваться некоторым формальным аппаратом.

Касааясь вопросов включения в терминологические словари «ученых» слов, раз-

личающихся неодинаковой распространенностью, сферой употребления, происхождением, стилистической окраской, формой и другими особенностями, автор считает, что такие пласты научно-технической лексики, как диалектизмы, профессионализмы, устаревшие термины, собственные имена, варианты слов, аббревиатуры и символы, следует подавать в словаре при основном термине со специальными пометками, а общенаучную и межотраслевую лексику включать в терминологические словари целесообразно.

В третьей главе книги рассматриваются вопросы организации данных в терминологических словарях и структура отдельных фрагментов таких словарей. Здесь имплицитно выражена позиция автора относительно принципа терминологической кодификации слов и словосочетаний. Если терминологический словарь ориентирован на человека, то целесообразно пользоваться алфавитным принципом, а при его ориентации на ЭВМ лучше опираться на принципы идеографического лексикографирования. Для нужд учебной терминологической лексикографии целесообразнее всего алфавитно-гнездовое расположение словарного материала.

Остановившаяся на самой сложной части словарной статьи — семантической характеристике термина, А. С. Герд справедливо считает, что «...полное описание содержания понятия встречается только в специальных монографиях узкого профиля и в специальных энциклопедиях» (с. 54), а лаконичное компактное и более точное формулирование соответствующих терминологических значений — дело лингвистов вместе со специалистами. Далее отмечается, что выделение существенных признаков научно-технических понятий и отношений (родовидовых, ассоциативных и др.), в которых находятся данные понятия с другими научно-техническими понятиями, является основным требованием к построению полного лексикографического определения термина.

Рецензируемая книга завершается характеристикой перспективных направлений в терминологической деятельности как в СССР, так и за рубежом.

Некоторые положения книги А. С. Герда являются дискуссионными. Так, например, трудно согласиться с тезисом автора о том, что «отношения, которые не могут быть выражены обычной схемой иерархического подчинения» (с. 60), являются ассоциативными отношениями. Представляется не совсем удачным употребление словосочетаний «речевые текстовые термины» (с. 38), «речевые термины» (с. 42 и ел.) для обозначения одного

и того же понятия научно-технической лексикографии. Это объясняется, по-видимому, тем, что научно-техническая лексикография является новой, молодой отраслью общей лексикографии, в которой многие понятия еще не устоялись и не нашли своего общепринятого языкового воплощения.

Бураев И. Д. Становление ЗВУКОВОГО
Наука, 1987. 185 с.

Хотя русское и советское монголоведение за всю историю изучения монгольских языков, в том числе и бурятского, накопило довольно большой материал, касающийся проблем исторической фонетики, однако все проводившиеся до сих пор разнообразными исследованиями в этой области выполнялись преимущественно на фонетическом уровне, затрагивая эволюцию не всей системы, а ее отдельных звуков. Причинно-следственные связи и исторический фон, объясняющие ход и направление эволюции фонологических систем монгольских языков, до сих пор не были вскрыты. Атомарность в описании эволюционных процессов наблюдается и у таких крупных компаративистов-монголоведов, как Г. И. Рамstedт, Б. Я. Владимирцов, В. Котвич, А. Д. Руднев, Г. Д. Санжеев. Все это в значительной мере было обусловлено недостаточной разработанностью фонологической теории. Кроме того, сравнительно-исторические исследования в какой-то мере сдерживались из-за отсутствия материалов по ряду современных монгольских языков и диалектов.

В последние десятилетия после выхода в свет целой серии работ Б. Х. Годаевой, Э. Р. Тенишева и других исследователей, посвященных ранее неизученным монгольским и тюркским языкам Китая, а также многочисленных публикаций по разным диалектам и говорам бурятского, калмыцкого и халхаского языков ситуация существенно изменилась. Появился огромный фактический материал, требующий обобщения и интерпретации с позиций достижений современной лингвистической науки, создания ретроспективной картины звуковой динамики монгольских языков на основе современной фонологической теории, сначала хотя бы по отдельным языкам этой семьи. Нам кажется, нет нужды доказывать, насколько актуальны и важны сравнительно-исторические исследования монгольских языков как сами по себе, так и в плане общей алтаистики.

В заключение хочется пожелать, чтобы рецензируемая книга была переиздана достаточным тиражом, ибо она уже стала недоступной для широкого круга специалистов по информатике, терминологии, терминологии и др.

Арзикулов Х. А.

строю бурятского языка. Новосибирск:

Рецензируемая работа И. Д. Бураева, известного бурятского фонетиста-экспериментатора и фонолога, как раз и дает развернутую динамическую картину звукового строя бурятского языка, показывает эволюцию всей его фонетической системы в фонологическом аспекте, являясь по сути дела первым исследованием бурятского языка такого рода.

Последовательно проводя принципы фонологической теории в системном исследовании звуковых процессов, И. Д. Бураев впервые в монголоведении осуществил удачную попытку проследить эволюцию звуковой системы бурятского языка во взаимодействии внутренних и внешних факторов. В работе широко использован большой фактический материал из современных живых монгольских языков, их диалектов и говоров. В научный оборот при этом вводятся во многом новые данные по ранее неизученным бурятским говорам, значительная часть которых собрана лично автором монографии в условиях полевых диалектологических экспедиций. В процессе анализа постоянно привлекаются также факты из старописьменного монгольского языка, из древнетюркского и тунгусо-маньчжурских, главным образом эвенкийского, языков. Импонирующей особенностью исследования И. Д. Бураева является и то, что все свои изыскания он осуществляет на широком алтаистическом фоне.

Выполняя свои размышления в этом перспективном направлении, И. Д. Бураев пришел к очень важному для монголоведения выводу о решающем влиянии элементов эвенкийского и в какой-то мере тюркского субстратов на развитие звукового строя бурятского языка, о том, что в истории эволюции бурятского языка действовали процессы, появление которых было вызвано изменением родового состава носителей древнего бурятского языка, и что бурятский язык образовался как самостоятельный в семье монгольских языков именно в регионе Прибайкалья в результате скрещивания древних мон-

чольских диалектов с языком байкальских эвенков и частично тюркскими языками, при котором последние оказались поглощенными, оставив свои следы в виде некоторых элементов субстрата, составляющих наряду с другими фонетическими особенностями специфику звукового строя бурятского языка.

Большой заслугой И. Д. Буряева в данном случае является то, что он фактически впервые в монголоведении, опираясь не только на лингвистические, но и на археологические, исторические, фольклорные материалы, обстоятельно показал глубокие и разносторонние связи предков современных бурят с эвенками и убедительно доказал большое влияние эвенкийского субстрата на развитие звукового строя бурятского языка.

Структурно монография состоит из предисловия, введения, трех глав, заключения и примечаний к главам.

В предисловии определены цель и задачи работы, дана краткая характеристика предмета и источников исследования. Во введении рассмотрены общие внутренние и внешние закономерности развития языка, повлиявшие конкретно на эволюцию бурятской фонетики, общая теория субстрата, связанная здесь с историческими, археологическими, фольклорными, топонимическими, этнонимическими и другими данными, подтверждающими давность тесных контактов предков нынешних бурят с эвенками и тюрками в регионе Прибайкалья. Тут же, характеризуя диалектные материалы как один из основных источников сравнительного анализа фонетического строя бурятского языка, И. Д. Буряев обосновывает и дает новую классификацию бурятских говоров, предлагая вместо традиционного их деления на три наречия — западнобурятское, восточнобурятское и южнобурятское — сгруппировать все бурятские говоры (а их насчитывается 14) в четыре наречия: хоринское, эхиритбулагатское, аларо-тункинское и цонголо-сартульское. Нам кажется, это наиболее обоснованная точка зрения, так как она подтверждается достоверными фактами и экспериментальными материалами, добытыми как самим автором, так и всей диалектологической группой Отдела языковедения Бурятского института общественных наук СО АН СССР в течение десятков лет.

Первая глава «Становление бурятского консонантизма» состоит из двух разделов. Первый из них начинается с характеристики восстанавливаемой традиционной алтаистикой системы консонантизма, состоящей из 18 фонем: *р, *в, *т, *д, *к, *г, *н, *м, *л, *ш, *х, *ч, *ц, *з, *ж, *ы, *э, *и, *у, *о, *а, *я. Ссылаясь на существующие якобы среди алтаистов раз-

ногласия в определении первичных качеств аффрикат *с и *š, палатализованного *л, И. Д. Буряев отдает предпочтительное мнению, что вместо них были представлены среднеязычные фонемы

*ç *% " J' • Кроме того, он поддерживает вывод, что в алтайской системе консонантизма были не корреляции мягких V и z' твердых I и г, а противопоставление глухих шумных твердых f и г обычным твердым I и г. В s и z развивались впоследствии именно глухие шумные { и г.

Уточнения И. Д. Буряева вне всякого сомнения заслуживают внимания. Но если второе из них достаточно подробно аргументировано с приведением различных точек зрения и подкреплено примерами, то первое звучит не совсем убедительно, ибо кроме утверждения, что палатализация как фонологический признак в алтайских языках появляется очень поздно и что более предпочтительным является предположение о том, что вместо аффрикат имели место среднеязычные неаффрицированные звуки % и Ъ, никаких доводов не приведено, хотя это довольно существенная поправка к составу алтайского консонантизма, носящая принципиальный характер.

Далее в этом же разделе с алтайским консонантизмом сопоставляется древнемонгольский консонантизм, который, по мнению автора, состоит из 15 фонем, а не из 19, как трактует традиционная монголистика. Приведенное И. Д. Буряевым с точки зрения фонологической теории обоснование в зависимости от позиционно-комбинаторных условий употребления заднеязычных k, g и увулярных

Q , Q , а также смычных b, g и щелевых w, y звучит довольно убедительно, и этот его вывод следует признать. Таким образом, древнемонгольский консонантизм состоял, по всей вероятности, из фонем *р, *b, *m, *т, *d, *н, *к, *г, *ш, *х, *ч, *ц, *з, *ж, *ы, *э, *и, *у, *о, *а, *я. Из " " системы выпадают явные аллофоны *ç, *% , *w , *y .

Здесь же приводится состав восстанавливаемого автором консонантизма протобурятского языка, состоящий из 17 фонем: *р, *b, *m, *т, *d, *н, *к, *г, *ш, *х, *ч, *ц, *з, *ж, *ы, *э, *и, *у, *о, *а, *я. В разделе, кроме того, подробно рассмотрены наиболее типичные оппозиции согласных фонем современного бурятского литературного языка, сформировавшегося на хоринском наречии. Этих фонем насчитывается уже 27: р, р', б, б'; м, м'; т, т'; д, д'; н, н', л, л, r, r', г, г, х, х', s, s, z, z, /, r), h.

Во втором разделе на широком сравнительном фоне языков и диалектов с историческими экскурсами дается подробная характеристика каждой фонемы, ее эволюция и употребление в языке. Здесь же, кроме того, приводится лингвистическое обоснование влияния эвенкийского субстрата на развитие в бурятском языке *s в *h*, далее *c в *s*, что затем повлекло перестройку системы согласных фонем бурятского языка, выразившуюся в спонантизации *к в х, *СВS, *j в z, *S в z.

Вторая глава «Становление бурятского вокализма» построена по аналогичной схеме и тоже состоит из двух разделов. В первом разделе тоже сначала приводится алтайская система гласных фонем, состоящая из восьми кратких: *o, *o', *u, *i, *e, *d, *ü, *i. Далее автором доказывается правомерность выделения в алтайском языке кроме этих гласных еще таких же долгих восьми фонем, что и нашло отражение в его таблице общеалтайских гласных фонем.

Анализ точек зрения и конкретного материала убеждает, что в древнемонгольском языке не было долгих гласных, а *£ и *i не представляли собой самостоятельных фонем, будучи лишь позиционными вариантами одной фонемы *i. Поэтому в работе система древнемонгольского вокализма содержит семь фонем: *a, *o, *u, *e, *b, *ü, *i, что хорошо согласуется с фонологической теорией и с монголистической традицией. Эволюция этой системы привела к 19 прабурятским гласным фонем: a, o, u, e, o, ü, £, a; o; u; e; o; ü; £; ai, oi, ui, ei, Hi, которые в основном сохранились в современном бурятском языке, и лишь дифтонги ei, ai, oi изменили свое качество: ei произносится как долгий e; ai — как дифтонг ж^т либо как долгий монофтонг ж; oi — как o£, иногда как оз. Все долгие гласные вторичного происхождения.

Во втором разделе анализируется на широком сравнительном материале эволюция каждой гласной фонемы, объясняется происхождение долгих гласных в современном бурятском языке. Особое внимание уделено нейтральному гласному i, оказавшему значительное влияние на историческое развитие не только гласных, но и согласных фонем всех монгольских языков, в том числе и бурятского.

В третьей главе «Фонетические процессы и явления» дается анализ тех процессов и явлений в области консонантизма и вокализма, которые существенным образом отразились на становлении состава и системы фонем современного бурятского языка. В главе рассмотрены сингармонизм, спонантизация согласных, дополнительные артикуляции фонем (палата-

лизация, лабиализация, назализация, фарингализация), позиционное употребление, сочетаемость фонем и связанное с этим слогаделение, а также типы слогов и корней. В этой связи заслуживает внимания то, что такое малозначенное в монголоведении явление, как сочетаемость фонем, тесно связанное с исторически сложившейся артикуляционной закономерностью бурятского языка и пронизывающей всю его структуру, автор монографии тщательно изучил на большом лексическом и текстовом материале с привлечением ЭВМ, что позволило ему получить объективные данные по делимитативной, или разграничительной, функции фонем и установить в конечном счете разграничительные сигналы слогов, морфем и слов.

При этом следует особо отметить, что такое скрупулезное изучение типов корней бурятского языка позволило И. Д. Бураеву прийти к крайне важному для алтаистики выводу о том, что для бурятского языка характерны двусложные типы корней слов, в отличие от тюркских, для которых типичны односложные.

В довольно обширном заключении подводятся итоги всей работы. Мы полностью разделяем основной вывод монографии, гласящий: «Комплексное исследование результатов действия внутривидовых и внешних факторов на развитие фонетического строя бурятского языка на широком фоне взаимодействия его с другими родственными и неродственными языками показало, что становление бурятского языка как одного из самостоятельных монгольских языков связано с околбайкальским регионом, что в целом он (бурятский язык.— Р. В., III. Л.) сохранил основные черты вокализма и консонантизма, восходящие к периоду первоначального единства монгольских языков» (с. 167—168). Наряду с этим автором монографии убедительно доказан и другой, не менее важный вывод о том, что развитие основных черт бурятской фонетики (таких, например, как интонационная специфика, появление *h* на месте *s*, отсутствие вследствие этого аффрикат и т. п.) связано главным образом с воздействием эвенкийского субстрата. Все выводы монографии подкреплены достаточно убедительным материалом и анализом и поэтому звучат аргументированно.

Во то же время в этой безусловно интересной работе, представляющей собой заметный вклад в бурятское языковедение, имеются некоторые упущения.

1. Автор не уделил должного внимания более поздним языковым контактам и соответствующим заимствованиям, благодаря которым в современном бурятском языке появляются новые фонемы. Так,

многие исследователи не без основания пишут о появлении новых фонем *в, к, ф*, об изменении закономерностей сочетаемости согласных, позиционного употребления гласных и согласных звуков и т.д.

2. Утверждение о влиянии тюркского субстрата на развитие «переденных» гласных на месте твердых гласных в эхиритских говорах бурятского языка, не подкрепленное лингвистическими фактами, звучит малоубедительно и с ним трудно согласиться (см. с. 113).

3. В работе недостаточно использован калмыцкий материал, особенно по калмыцким диалектам, данные по ойратскому и баргутскому языкам. Этот материал в ряде случаев сделал бы выводы более убедительными.

Однако отмеченные упущения носят частный характер и ничуть не умаляют явных достоинств работы и ее общей высокой оценки. Автор монографии, посвятивший многие годы исследованию вопросов фонетики монгольских языков, особенно бурятского, поднял на этот раз глубинные пласты из наиболее трудной области бурятской фонетики. Работа, кроме того, что вносит много нового в современное сравнительно-историческое монголоведение, побуждает к дальнейшим изысканиям по многим аспектам исторической фонетики не только монгольских, но и других алтайских языков.

Рассадин В. И., Шагдаров Л. Д.

Шуков В. П., Сидоренко М. И., Шкляр В. Т. Словарь фразеологических синонимов русского языка / Под ред. Жукова В. П. М.: Русский язык, 1987. 441 с.

Издательство «Русский язык» в 1987 г. выпустило сразу два новых фразеологических словаря — «Словарь фразеологических синонимов русского языка» В. П. Жукова, М. И. Сидоренко, В. Т. Шклярова и «Опыт этимологического словаря русской фразеологии» Н. М. Шанского, В. И. Зимина, А. В. Филиппова. Объектом нашего рассмотрения является первый из указанных словарей.

Достоинство его заключается прежде всего в том, что впервые в лексикографической практике собраны воедино синонимические ряды фразеологических единиц. «Фразеологический словарь русского языка» под ред. А. И. Молоткова, первое издание которого вышло в 1967 г. (М.), давал лишь отдельные ссылки на наличие у тех или иных оборотов фразеологических синонимов. Рецензируемый же словарь содержит около 730 синонимических рядов, расположенных по алфавиту опорных фразеологизмов.

Словарю предпослана статья, в которой излагаются теоретические взгляды авторов на фразеологическую синонимию и словарь фразеологических синонимов.

Под фразеологическими синонимами авторы понимают «...фразеологизмы с близким значением, обозначающие одно и то же понятие, как правило, соотносительные с одной и той же частью речи, обладающие частично совпадающей ИЛИ (реже) одинаковой лексико-фразеологической сочетаемостью, но отличающиеся друг от друга оттенками значения, стилистической окраской, а иногда тем одновременно» (с. 4).

Каждая словарная статья тщательно разработана. Авторы приводят варианты фразеологизмов, входящих в синонимиче-

ский ряд; дают ему грамматическую характеристику, в частности, указывают на то, в какой синтаксической функции выступают фразеологизмы, с какими членами предложения они вступают в связь; показывают семантические и стилистические различия между членами синонимического ряда; помещают иллюстрации. В конце словарной статьи обычно приводят фразеологически соотносительные синонимические ряды фразеологизмов или же фразеологические синонимические ряды с противоположным значением. Кроме того, нередко предлагается сопоставить синонимический ряд фразеологизмов с лексическим синонимическим рядом из «Словаря синонимов русского языка» (Л., 1976; ниже — СС). В качестве примера приведем следующую словарную статью: «БАБУШКИНЫ (БАБЬИ) СКАЗКИ (ед. не употр.; разг., неодобр.), НЕБЫЛИЦА В ЛИЦАХ (устар., разг., шутил.-ирон.), РАЗВЕСИСТАЯ КЛЮКВА (мн. не употр.; шутил.-ирон.). Явно неправдоподобные, не соответствующие действительности сведения, известия. Развесистая клюква — неправдоподобное сообщение, обнаруживающее полное незнание с предметом; выдумка, небылица.

Раньше считалось: раз у малыша пошли зубки, будет обязательно болеть живот. — Но современная наука заявляет: это ерунда, бабушкины сказки, зубки зубами, а живот не имеет к этому отношения. Н. Соколова, Какого цвета разлука. С Б а б ь и с к а з к и (прост.). — Я, впрочем, не придаю всем этим бабьим сказкам важности. Достоевский, Братья Карамазовы. — А верно, что над пленными большевики издеваются? — Б а б ь и с к а з к и / Офицерские вы-

Цумки. Н. Островский. Рожденные бурей. — *Что она, книжка?*) Она **небылица** в лицах\ Достоевский, Бедные люди. М Небылицы в лицах. — *Чинно и смироно бродят они следом за барышнями и рассказывают друг другу небылицы в лицах.* Салтыков-Шедрин, Пошехонская старина. — *А скажи-ка ты мне по чистой правде да по совести — сам ты эти небылицы в лицах выдумал или слышал от какого-нибудь бахвала?* Мельников-Печерский, На горах. — *Ну, что он, этот дурак, болтаем!* чего он плетет **небылицы** в лицах! Гладков, Энергия. *Грешники и Патриарший пруд*, Это почтнее „развесистой клюквы“, В. Гиляровский, Москва и москвичи.

Ср. Бред сивой кобылы, турусы на колесах, сапоги всмятку; андроны едут; черт в ступе. | Выдумка, вымысел, измышление, фантазия (СС, 86). | Небылица, сказка, басня, побасенка, побаска, небыльщица (СС, 269)*.

В рецензируемом словаре широко представлены стилистические пометы. При этом учитывается характеристика фразеологизмов с точки зрения стилистической высоты и сниженности: нейтральные, высокие, стилистически сниженные (разговорные и просторечные), наличие у фразеологизмов эмоционально-экспрессивной окраски: грубые, грубо-просторечные, грубо-фамильярные, иронические, неодобрительные, официально-вежливые, пренебрежительные, фамильярные, шуточные, шуточно-иронические. В словаре отмечается актуальность употребления фразеологизмов в современном русском литературном языке: активно употребляющиеся в современном русском литературном языке, устаревшие, устаревшие. Нейтральные и активно употребляющиеся фразеологизмы в современном русском языке помет не содержат.

Авторы по мере возможности стараются показать семантические различия между фразеологизмами, входящими в синонимический ряд, которые часто обусловлены исходным представлением, содержащимся в образной семантической структуре фразеологической единицы. Например, значение некоторых фразеологизмов синонимического ряда с семантикой «нанести побои кому-л., сильно избить» уточняется следующим образом: *дать волю рукам* (кулакам) — нанести побои; *настаивать фонари* (фонарей) кому — наделая на лице синяков от побоев; *дать (здать) таску* кому — избить, обычно таская за волосы; *в зроб заколотить* кого — избить смертным боем; *начистить морду* (зубы) кому — нанести удары по лицу (с. 133).

Приводя иллюстративные примеры, авторы словаря указывают оттенки значения, особенности употребления, если та-

ковые имеются. Так, в словарной статье с синонимическим рядом *ад крошечный, вавилонское столпотворение, садом и гоморра, мамево побоеще, сумасшедший дом* в значении «крайний беспорядок, полная неразбериха в чём-л., невыносимый шум, суматоха» после примеров употребления фразеологической единицы *ад крошечный* указывается оттенок значения, который может иметь данный оборот — «невыносимо тяжелое, мучительное состояние» (с. 27). При разработке словарной статьи о фразеологических синонимах *во всей (своей) красе, во всем блеске* со значением «во всем великолепии, совершенстве, во всей полноте проявления» указывается на возможность приобретения фразеологизмом *во всей красе* оттенка значения «в неприглядном виде», имеющего иронический характер (с. 75). Здесь же обращается внимание на использование данных фразеологических единиц не только в функции обстоятельства, но и в функции сказуемого при употреблении их при подложкаем со значением отвлеченного предмета.

Отметим некоторые недочеты, имеющие место в данном словаре.

На наш взгляд, наиболее уязвимым местом и в теоретическом, и в практическом плане является разработка вопроса о соотносительности фразеологизмов с той или иной частью речи, хотя это весьма существенно, так как синонимами признаются фразеологизмы, соотносительные с одной и той же частью речи. В теоретической части авторы словаря ограничиваются указанием на возможность выделения глагольных, наречных, субстантивных, определительных, междометных и других оборотов (с. 4). При этом авторы указывают, что фразеологизмы типа *рука не дрогнет* (чья, у кого), *гайка слаба* (у кого) затруднительно соотносить с какой-либо частью речи на том основании, что они образованы по схеме предложения. Тем не менее материалы словаря свидетельствуют о том, что многие обороты, построенные по схеме предложения, авторы соотносят с теми или иными частями речи вопреки собственному теоретическому положению. Особенно много таких фразеологизмов среди междометных выражений (*Будь я (трижды) проклят!* Пусть у меня рука отсохнет! Вотподи ж ты! Черт бы побрал...). Структура оборота, конечно, оказывает определенное влияние на соотносительность с частями речи, но не является доминирующим обстоятельством; сравните структуру следующих фразеологизмов, которые входят в группу адъективных ФЕ: *мухи не обидит, не лыком шит, пальники обложешь, задним умом крепок, без царя в голове, кровь с молоком* и т. Д. Мы считаем, что авторы проявили не-

которую непоследовательность, помещая в самостоятельные синонимические ряды фразеологизмы *выдал виды, прошел (сквозь) огонь, воду и медные трубы*, с одной стороны, и фразеологизмы *стреляный воробей, стреляная птица, тертый калач* — с другой, на том основании, что они расходятся в лексико-грамматическом, категориальном отношении (с. 11), и объединяя в синонимический ряд такие отличающиеся друг от друга в категориальном отношении фразеологические единицы, как *глазом не моргнет, рука не дрогнет* (чья, у кого). Необходимо заметить, что в словаре довольно часто в качестве синонимов помещаются фразеологизмы, соотносимые с разными частями речи: *сорви-голова, забубенная голова (головушка), буяная голова (головушка), отплетая голова и на ходу подметки рвет; от горшка два (три) вершина, от земли не видать (не видно), под стол нешком ходит ж аршин с шапкой; воды (водой) не замутит, мухи (комара) не обидит, тише воды и ниже травы и божья коровка; душа нараспашку (кто у кого), весь (вся) наружу и рубаха-парень; мозги набекрень (у кого), не все дома (у кого), заклепки/заклепок не хватает (не достаёт) (у кого) и из-за угла мешком прибитый (хваченный, ударенный), из-за угла мешком прибит (хвачен, ударен), пыльным мешком стукнутый, богом убитый (убит)* и т. д.

В синонимических рядах фразеологизмов нередко не учитывается многозначность последних. Она даже не оговаривается. В результате эти ряды представляются несколько искусственными. Так, в ряду синонимов *брать (одерживать) верх, класть на (обеу лопатки со значением «добиваться решительного преимущества в сражении, борьбе, состязании, споре и т. п.»* употреблен фразеологизм *разделять под орех* (с. 41). Его функционирование в речевой практике говорит о том, что данному фразеологизму присуще не только приведенное выше, но и иное значение, а именно: «сильно ругать, распекать, разносить; беспощадно критиковать за что-либо». Во «Фразеологическом словаре русского языка» под ред. А. И. Молоткова это значение отмечается как основное, под номером один (см. изд. 3-е, М., 1978, с. 379). Об этом же говорят и иллюстративные примеры: «—А ты, управляющий, слепой верблюд. Должно быть, и на плоту не бываешь? Вон та рябая *под орех* нас *разделяешь*» (Ф. Гладков, Вольница). Следовательно, при построении синонимического ряда нужно было бы указать, что фразеологизм *разделять под орех* входит в данный ряд во втором, не основном своем значении: «одерживать полную победу в драке, сражении». Данный фра-

зеологизм имеет, между прочим, и третье начение, резко отличное от предшествующих; «делать основательно, хорошо»: «—А мы без тебя тут... все дела *под орех* *разделали*. Продали шерсть Череплахины и так, как дай бог всякому» (А. П. Чехов, Степь) (см. там же, с. 380). И это лишний раз подчеркивает необходимость обновления фразеологизма с точки зрения включения его в тот или иной синонимический ряд в определенном значении.

Думаем, что при синонимизации многозначных фразеологических единиц нужно исходить прежде всего из их главных, «первых» значений. Опираясь именно на эти значения фразеологизмов, при конструировании синонимических рядов можно достичь максимальной точности и логической ясности и в объеме единиц каждого ряда, и в отношениях между собою всех его элементов.

Сказанное выше можно было бы отнести к таким синонимическим рядам, как *влиять хвостом, ходить на задних лапках... ж гнуть спину; точить балаяс, болты болтать... и чесать языком; ни на волос, ни на грош... ж ни божье мой* и др. (см. с. 62, 257, 379), где семантика фразеологических единиц (прежде всего в своих «первых», основных значениях) *гнуть спину, чесать языком, ни божье мой* контрастирует с общим значением синонимического ряда.

Отграничивая фразеологические синонимы от вариантов одной и той же фразеологической единицы, авторы словаря наряду с другими факторами отмечают необходимость учитывать внутреннюю форму фразеологизмов. «Если при замене одного компонента другим меняется внутренняя форма (ср. *сесть в калошу и сесть в лужу*), то в подобных случаях возникают фразеологические синонимы, а не варианты одной и той же фразеологической единицы; напротив, если замена компонентов не нарушает семантического единства фразеологизмов и в то же время не приводит к изменению образного представления (внутренней формы), то в таких случаях налицо вариатность фразеологизма (разрядка наша.— П. Р., К. Л.) [ср.: *брать за горло кого и брать за глотку кого* естественно объединяются в синонимический вариант *брать за горло (за глот*у) кого*] (с. 7).

Это замечание вполне справедливо, тождественность семантики вариантов фразеологизма предполагает единство внутренней формы. Однако на практике, составляя словарные статьи фразеологических синонимов, авторы словаря нередко включают в синонимические ряды и фразеологические варианты, что противоречит их собственному пониманию отличия фразеологических синонимов от вариантов фразеоло-

логической единицы. Так, в «синонимическом» ряду *задавать хранищцо, задавать хранища*, на наш взгляд, объединены варианты одной и той же фразеологической единицы. Не случайно по этой причине они лишены каких-либо семантических и стилистических различительных оттенков. Им присуще семантическое тождество «очень крепко спать, с храпом» (см. с. 161).

Варианты фразеологической единицы базируются на тождестве ее грамматической структуры, что тоже связано с «одинаковостью» их внутренней формы. Единство грамматической модели обуславливает или, во всяком случае, поддерживает тождество > внутренней формы фразеологических вариантов. Поэтому, например, фразеологизмы *ходить по струнке* и *ходить по ниточке* с тождственным значением «трепетать, дрожать перед кем-либо» (см. с. 289) целесообразно квалифицировать не как синонимы, а как фразеологические варианты. У них не только идентично актуальное значение. В сущности, у них одна и та же образная основа, или внутренняя форма, обуславливающая тождество грамматической структуры данных устойчивых словосочетаний.

То же самое можно сказать и о некоторых других синонимических рядах, содержащихся в рецензируемом словаре, где рассматриваемые фразеологизмы являются не синонимами, а фразеологическими вариантами. Таково, например, объединение фразеологических единиц: *в самом соку, в самой поре, в самом прыску* (с. 87), у которых наличие и грамматическая одноструктурность, и одинаковость внутренней формы.

При адекватности семантики сопоставляемых фразеологических единиц важным отграничителем синонимии от вариантности может служить то обстоятельство, что каждая из сравниваемых фразеологических единиц может сама по себе иметь «собственные» варианты, например: *кончить жизнь (век)* и *оставить жизнь «мир»* в значении умереть, скончаться (нет фразеологических единиц *оставить век* или *кончить мир*). То же самое можно сказать о фразеологических единицах *гнуть в три погубели* и *гнуть в три дуги* в значении «принуждая, притесняя, держать кого-либо в полном повиновении; угнетать». Вторая фразеологическая единица имеет свой вариант *гнуть в дугу*, тогда как первая такого варианта не имеет (нет фразеологической единицы *гнуть в погубель*).

Не выходя за пределы вариантности многие фразеологические единицы с различными залоговыми формами своих глагольных компонентов: *попасть (попасться) в руки* — «оказаться в чем-либо распоряжении»; с различными видо-времен-

ными формами глагольных компонентов: *брать (взять) на буксир кого-либо* — «помогать отстающему»; с различиями в управлении именными компонентами со стороны глагольного компонента: *бросать камень (камни) в кого-либо* — «осуждать, обвинять кого-либо»; с различиями в управлении зависимых слов со стороны варьирующихся компонентов: *глаза б мои не смотрели на кого-;* *что-либо* — «совсем не хочется видеть кого-, что-либо, настолько это противно, неприятно».

Короче говоря, теоретическое кредо составителей словаря в понимании природы и синонимии фразеологических единиц и тесно связанной с нею вариантности последних могло бы быть расширено и углублено еще целым рядом дифференциальных признаков. Мы уже не говорим о том, что в русском языке существуют и промежуточные, переходные явления. Трудно, например, обнаружить различие между синонимичностью и вариантностью в таких случаях, как *во весь дух* или *во весь опор*, *бить по башмаком* и *бить под каблуком*, *валить дурака* и *валить ванку* и т. п.

Следует признать неудачным термин синонимический вариант (с. 7), которым пользуются авторы словаря, ибо в силу своей электичности он только может запутать читателя при разграничении фразеологических синонимов и вариантов.

Облегчает пользование словарем наличие двух приложений, первое из которых содержит перечень всех фразеологизмов, вошедших в словарь, второе — перечень синонимических рядов. Правда, желательно было бы в первом приложении указывать страницы, на которых помещаются фразеологические единицы, входящие в тот или иной синонимический ряд, ибо, не зная опорного оборота синонимического ряда, трудно найти тот синонимический ряд, в котором должен располагаться данный фразеологизм.

Синонимические ряды, содержащиеся в словаре, конечно, не исчерпывают всего синонимического богатства во фразеологическом составе русского языка. Бросается в глаза отсутствие в словаре таких «популярных» синонимических рядов, как *зеи не видно* — *хоть глаз выколи*; *бить челом* — *протряпуть руку*; *идти на поводу* — *лягаться под чужью дудку*; *заливаться слезами* — *пустить слезу*; *танцевать от печки* — *начинать с азов* и других.

И все же число синонимических рядов, подвергшихся лексикографической обработке в рецензируемом словаре, впечатляет. Словарию нельзя отказать в достаточной тщательности разработки словарных статей. В нем собран богатейший фактический материал, отличающийся све-

жестью и оригинальностью иллюстративных примеров.

Отмеченные выше положительные стороны данного словаря позволяют признать

его значительным достижением советской фразеологии.

Попов Р. Н., Кругликова Л. Е.

Пантер Л. А. Системный анализ речевой интонации. М.: Высшая школа, 1988, 122 с.

Рецензируемая книга написана в уже ставшей традиционной для серии «Библиотека филолога» манере, сочетающей в себе черты учебного пособия, с одной стороны, и педагогически ориентированной исследовательской монографии, основанной на результатах оригинальных размышлений автора, с другой. Пособие адресовано студентам институтов и факультетов иностранных языков, аспирантам, преподавателям и слушателям ФПК, занимающимся экспериментальным изучением речевой интонации. В работе рассматриваются вопросы применения идей и методов системного подхода к анализу просодических характеристик речи.

Современные фонетические исследования уже давно вышли за узко дисциплинарные рамки. Внутриуровневое изучение компонентов просодического уровня дополнилось изучением проблем корреляции просодии с другими языковыми уровнями и экстралингвистическими факторами. Однако отсутствие в фонетических исследованиях универсальных методов обработки экспериментального материала и стандартной технической базы делает результаты различных исследований зачастую несопоставимыми. Поиску таких методов и посвящена данная монография.

В настоящее время системологические принципы широко используются в самых различных областях научного знания, в том числе и в лингвистике [1, 2]. Однако системный подход к изучению просодических характеристик речи разработан явно недостаточно и не нашел должного освещения в существующих учебных пособиях по речевой интонации. Несомненным достоинством работы является то, что системность как основополагающий принцип научного исследования не просто декларируется в угоду методологической моде и не только рассматривается в общетеоретическом плане, но и конкретизируется с учетом особенностей просодического уровня языка. Последнее находит свое отражение в предлагаемых методах измерения просодической информации с помощью ЭВМ.

В композиционном плане рецензируемое пособие состоит из предисловия, трех глав и заключения. В конце каждой главы приводится список литературы, непосредственно использованной в тек-

те. В предисловии дается краткая характеристика работы и определяется круг рассматриваемых проблем.

В первой главе обсуждаются основные исходные позиции и главные методологические посылы теории систем, определяющие становление системной ориентации в специально-научных областях знания. Автор показал, что интенсивное развитие системного подхода на протяжении последних десятилетий нашло свое конкретное выражение в области языкознания в формировании так называемой системной лингвистики, в рамках которой и следует рассматривать проблемы интонологии. Автор анализирует истоки и современное состояние системного подхода, формулирует принципы системного анализа просодических характеристик речи [3].

Во второй главе рассматриваются методы исследования речевой интонации и обработки экспериментальных данных, базирующихся на принципах системности, изложенных в первой главе [4]. Автор анализирует основные положения научной метрологии и вводит ряд новых нетрадиционных понятий в фонетический эксперимент.

Интегрированная обработка измерительной речевой информации, получаемой при анализе просодических характеристик, позволяет осуществить построение обобщенных моделей речевой интонации, отображающих ее целостный характер. В этой связи описываются следующие приемы измерений: а) проверка статистических гипотез по «хи-квадрат» критерию; б) алгоритмический метод измерения речевой интонации; в) кластерный анализ.

Следует подчеркнуть, что эти методы предполагают использование электронно-вычислительной техники, внедрение которой в практику лингвистических исследований, безусловно, является в настоящее время актуальной задачей. Автоматизированная (компьютерная) обработка экспериментальных данных, описываемая в работе, не только избавляет экспериментатора от необходимости производить громоздкие вычисления при большой статистической выборке, но также упрощает решение ряда творческих задач. Автор выделяет особый раздел экспериментальной фонетики — интонометрию. Основной задачей этой дисциплины явля-

ется планирование и обработка результатов измерительных экспериментов методами математической статистики с построением на этой основе соответствующих моделей речевой интонации.

Указанные методы могут быть использованы для решения ряда интонологических проблем, в частности, они позволяют описывать интонационную систему языка в терминах фонологических оппозиций. Особый интерес представляет метод кластеризации, открывающий в этом отношении широкие возможности. Так, автор, базируясь на результатах кластерного анализа интонационных структур английского и русского языков, выдвигает концепцию интонационной зональности, позволяющей выделить и отметить элементы языка. Учитывая, что границы между интонационными зонами, коррелирующими с соответствующими интонациями, • всегда размыты и в известной мере условны, подход к выделению указанных зон, по мнению автора, должен базироваться на теории нечеткости.

Третья глава представляет особый интерес. В этой главе затрагиваются вопросы типологии универсалий и фоностилистики. Указанные проблемы в книге обсуждаются на гипотетическом, теоретическом уровне. Эксперименты автора предлагаемый математический аппарат на этот материал не распространяются. И это не случайно. Сейчас становится все более очевидным, что после примерно двадцатилетних исследований теория фоностилей осталась теорией «на кончике пера». С одной стороны, это происходит потому, что в процессе анализа фоностилей не удавалось и не удастся ограничиться рамками только просодической системы, т. е. сама концепция системности требовала расширения: неизменно возникают проблемы другого рода, связанные со смыслом текста и иерархической циклической динамикой его передачи. С другой стороны, в этих исследованиях все большую значимость приобретает проблема экспликации содержательных категорий текста взаимодополняющими средствами языка различных уровней.

Это еще один подход к системности. Весьма важны и концепции статистической структуры просодического пространства в виде бинарных оппозиций или нечетких множеств. Эти концепции просматриваются и в математическом аппарате данной работы. Они вполне отвечают задачам автора при анализе просодии, большей частью только на уровне частоты основного тона (используется материал внетекстовой фразы в различных коммуникативных и синтаксических типах). Подобный измерительный аппарат необходим. Он опробован, отработан, имеет прямой выход в практику экспериментально-фонетических исследований и позволяет в какой-то мере повысить уровень фонетического эксперимента.

Книга Л. А. Кантера еще раз убедительно свидетельствует о том, что разработка методики фонетического исследования, включающей математической, аналитико-измерительный аппарат, нашла свое дальнейшее развитие. Что же касается исследований текста, адекватно отражающих комбинаторику элементов языка в пространстве и времени, то вряд ли эти вопросы могут быть решены лингвистами, специализирующимися только в области фонетики. Необходимо комплексное исследование во взаимодействии с математиками и специалистами в области компьютерной семантики, компьютерного синтаксиса, моделирования лингвистических объектов и т. д.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Потанова Р. К.* Слоговая фонетика германских языков. М., 1986.
2. *Potanova R. K.* Grundlehre der theoretischen Phonetik des Deutschen. Moskau, 1988.
3. *Блохина Л. П., Потанова Р. К.* Просодические характеристики речи. М., 1970.
4. *Блохина Л. П., Потанова Р. К.* Методика анализа просодических характеристик речи. М., 1977.

Потанова Р. К., Крюкова О. Я.

Технический редактор *Белева Н. Н.*

Слано в набор 28.02-90 Подписано к печати 19.04.90 Формат бумаги 70X100/и
Высокая печать Усл. печ. л. 13,0 Усл. кр.-отт. 74,0 тыс. Уч.-изд. л. 14,8 Бум. л. 5,0
Тираж 5620 экз. Заказ 4205

Адрес редакции: 121019 Москва, ГЧ9, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка,
телефон 203-00-78

2-я типография издательства «Наука», 121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6